

Санкт-Петербургский государственный университет
Филологический факультет

XLI Международная филологическая конференция

26–31 марта 2012 года

Избранные труды

Санкт-Петербург
2013

Организационный комитет:

Председатель — д. ф. н., профессор, академик РАО, декан филологического факультета СПбГУ
Людмила Алексеевна Вербицкая.

Зам. председателя — д. ф. н., профессор, профессор кафедры русского языка СПбГУ Сергей
Игоревич Богданов, д. ф. н., профессор, профессор кафедры междисциплинарных исследований в области
языков и литературы СПбГУ Вадим Борисович Касевич.

Члены организационного комитета:

Акимова Галина Николаевна — профессор кафедры русского языка СПбГУ, д. ф. н., профессор; Жаров
Борис Сергеевич — доцент скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ, к. ф. н., доцент; Зелен-
щиков Александр Васильевич — профессор кафедры английской филологии и лингвокультурологии
СПбГУ, д. ф. н., профессор; Карпов Александр Анатольевич — профессор кафедры истории русской
литературы СПбГУ, д. ф. н., профессор; Марусенко Михаил Александрович — профессор кафедры
романской филологии СПбГУ, д. ф. н., профессор; Роберт Ходель — профессор Института славистики
Гамбургского университета, PhD, профессор; Скрелин Павел Анатольевич — профессор кафедры
фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ, д. ф. н., профессор; Филиппов Кон-
стантин Анатольевич — профессор кафедры немецкой филологии СПбГУ, д. ф. н., профессор; Харри
Вальтер — профессор Института славистики Эрнст-Моритц-Арндт Университет г. Грайфсвальда, PhD, профес-
сор; Шадрин Виктор Иванович — профессор кафедры английской филологии и перевода СПбГУ, д. ф.
н., профессор; Черниговская Татьяна Владимировна — профессор кафедры общего языкознания
СПбГУ, д. ф. н., д. биол. н., профессор; Юрков Евгений Ефимович — доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания СПбГУ, к. ф. н., доцент.

Программный комитет:

Председатель — Асиновский Александр Семенович, заместитель декана филологи-
ческого факультета по научной работе, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, д. ф. н.

Члены программного комитета:

Ачкасов Андрей Валентинович — профессор кафедры английской филологии и перевода СПбГУ, д. ф. н.,
профессор; Бондарко Николай Александрович — доцент кафедры немецкой филологии СПбГУ, к. ф. н.,
доцент; Виролайнен Мария Наумовна — профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ,
д. ф. н., профессор; Горбова Елена Викторовна — профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, доцент
кафедры общего языкознания СПбГУ, д. ф. н., доцент; Колпакова Наталия Николаевна — заведующая
кафедрой финно-угорской филологии СПбГУ, д. ф. н., профессор; Попов Михаил Борисович — профессор
кафедры русского языка СПбГУ, д. ф. н., профессор; Светлакова Ольга Альбертовна — доцент кафедры
истории зарубежных литератур СПбГУ, к. ф. н., доцент; Соболев Андрей Николаевич — профессор
кафедры общего языкознания СПбГУ, д. ф. н., профессор; Степанов Андрей Дмитриевич — профессор
кафедры истории русской литературы СПбГУ, д. ф. н., профессор; Химик Василий Васильевич — про-
фессор кафедры русского языка для гуманитарных и естественных факультетов СПбГУ, д. ф. н., профессор;
Шамина Елена Анатольевна — доцент кафедры фонетики и методики преподавания иностранных
языков СПбГУ, к. ф. н., доцент.

XLI Международная филологическая конференция, Санкт-Петер-
бург, 26–31 марта 2012 г.: Избранные труды/Отв. ред. А. С. Асиновский,
С. И. Богданов. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. —
240 с.

ISBN 978-5-8465-

Сборник включает тезисы докладов, сделанных на XLI Международной
филологической конференции СПбГУ 26–31 марта 2012 г.

© Авторы, 2013

© Санкт-Петербургский государственный
университет, 2013

ISBN 978-5-8465-

Перед Вами первый опыт издания избранных материалов
XLI Международной филологической конференции, которая про-
ходила с 26 по 31 марта 2012 года на филологическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета. Конференция
эта имеет более чем полувековую историю, но эти полвека вместили
в себя столь значительные изменения всех сторон нашей жизни, что
уже сам факт сохранения мартовской филологической конференции
заслуживает признательного внимания.

Конференция, избранные материалы которой представлены в этом
сборнике, очень большая и очень разная как по содержанию, так и
по уровню сделанных докладов. В работе конференции участвовала
51 секция, разнообразная научная тематика докладов охватывает
практически все области филологической науки: это и русский язык,
и русская литература, и зарубежная литература, и теория культуры, и
речевые технологии, и исчезающие языки, и многое, многое другое.

Конференция традиционно имела открытый характер. В 2012 г на
секционных и пленарных заседаниях с докладами выступили 672 че-
ловека из СПбГУ из более чем 70 российских и зарубежных вузов и
научных организаций. Среди докладчиков конференции — пред-
ставители самых разных мест России: Москва, Екатеринбург и Рязань,
Владивосток, Нижний Новгород и Новгород Великий, Курск, Якутск и
Череповец, Воронеж Новосибирск и Махачкала, Петрозаводск, Псков,
Кемерово, Брянск, Ярославль, Кострома, Саратов, Ижевск, Уфа, Казань,
Ростов-на-Дону и других. Постоянно расширяется география зарубеж-
ных участников конференции. Это не только представители стран
ближнего зарубежья — Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии,
Казахстана, но и коллеги из европейских университетов (Франции,
Чехии, Польши, Германии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Сло-
вакии, Хорватии), а также университетов Китая и США.

Санкт-Петербург, кроме нашего университета, был представлен
21 вузом и академическими организациями, среди которых Институт
лингвистических исследований РАН и Институт русской литературы
РАН (Пушкинский Дом), Европейский университет в Санкт-Петер-
бурге, Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербургская Православная духовная академия и др. Таким обра-

зом, конференция объединила практически всех активно работающих ученых-филологов Санкт-Петербурга.

Осуществить отбор из имеющейся массы материалов для компактного сборника избранных трудов — задача и в содержательном и в организационном отношении крайне сложная, возможно, и нерешаемая. Программный комитет, вместе с руководителями секций и под эгидой оргкомитета конференции, решился подготовить этот сборник, самым серьезным образом ориентируясь на будущее, будучи уверен, что сейчас мы закладываем традицию издавать по итогам большой конференции настоящие избранные труды большого международного коллектива филологов на периодической основе.

В этот сборник вошло 28 статей, сделанных на основе докладов, прозвучавших на прошедшей мартовской филологической конференции. Из всего разнообразия тем и докладов в сборник вошли статьи, посвященные

1. проблемам русистики, включая тематику, связанную с 200-летним юбилеем основоположника мировой славистики И. И. Срезневского
2. русской литературе
3. зарубежной литературе
4. теории литературы
5. библеистике
6. романогерманской филологии
7. исчезающим языкам
8. теоретической лингвистике
9. прикладной лингвистике
10. переводоведению
11. фольклору
12. фонетике

Равномерное представительство проблемных областей и секций на этом этапе работы нам пока обеспечить не удалось. Но мы уверены, что содержательное представление о существенных аспектах работы Международной филологической конференции 2012 года читатель этого сборника сможет получить. И мы вместе будем иметь живой стимул для формирования периодического издания, обобщающего наиболее значимые результаты широкого круга отечественных и зарубежных коллег-филологов.

Оргкомитет

Г. Н. Акимова,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Грамматика (русско-славянский цикл)»

Еще раз об абзацах

1. Статья названа по внешнему признаку — очень частое употребление абзацев — так выглядит текст повести А. Гаврилова «Вопль впередсмотрящего», опубликованный в 2011 г. в журнале «Новый мир» № 9. Нам приходилось и раньше читать его произведения, например рассказ «Берлинская флейта» в четырехтомном собрании «Проза новой России» (М., 2003). Вполне солидные издания.

Что в обоих случаях прежде всего замечает читатель? Перелистывешь страницы, и кажется, что это что-то вроде стихов — так пунктуационно оформлена большая часть текста. На любой странице этого журнала помещаются 54 строки. В тексте А. Гаврилова наблюдаем от сорока до пятидесяти абзацев на одной странице, а страница 37 состоит целиком из абзацев. Чаще всего абзацы укладываются в одну строчку и состоят из коротких предложений, и даже — из союзов, междометий и вводных слов. См., например:

При некоторой игре воображения, с последующим поворотом оверштаг.

Погода стояла прекрасная.

Ты, наверное, помнишь.

Лучшего и желать нельзя.

И как это раньше не приходило в голову.

Он, кажется, жалеет об упущенных возможностях.

Если подумать.

В конце концов, ему захотелось прервать это тягостное молчание.

Но...

Но — но — но.

Ничего не поделаешь.

В сущности.

При ярком солнечном свете.
На рассвете. [Гаврилов, 2001, с. 41]

Другой пример:

Что тут скажешь? Ничего тут не скажешь.
Солнце село, но лес не замолчал.
Он на разные голоса говорит то, чего я не понимаю,

Впрочем...

Хотелось бы отметить, что ...

Дело в том, что ...

В данном случае ...

Не хотите ли вы сказать, что ...

Да, но ...

Здесь мы имеем дело с ситуацией, когда ...

В квантовой механике, например

Уравнение Шредингера, например ...

Приходилось ли Шредингеру прятаться в кукурузе?

Да, но мы не об этом.

Итак, вы говорите о том, что ...

О чем же они говорят? [Гаврилов, 2001, с. 58]

Встречаются, но очень редко большие абзацы. Самый большой из них — 176 слов — и вполне традиционный.

Абзацы представлены двумя видами: короткие, которые отступают от начала строки на три знака и составляют группу, возглавляемую большим абзацем, который отступает от начала строки на восемь и более знаков. Кроме того, группы малых абзацев, возглавляемые большим абзацем, отделяются друг от друга «вертикальным пробелом» — это термин Н. Л. Шубиной, которая пишет: «Изменение вертикальной пунктуации может преобразовать не только внешнюю структуру текста, но и внутреннюю, принимая идею исследователей, выделяющих различные виды стратегии понимания с опорой на индикаторы смысла. <...> Как правило, редакционная правка „не щадит“ вертикальный пробел (экономия текстового пространства)» [Шубина, 2006, с. 88—89].

Связь текста Гаврилова со стихотворным текстом кажется чисто внешней — по общему взгляду на пунктуационную организацию страницы.

Когда несколько абзацев по количеству строк отделены друг от друга вертикальным пробелом, можно подумать, что это стихи. Но нет строфичности, т. е. одинаковости строк по размеру и ритму, не говоря уже о рифме.

Наиболее длинные соединения абзацев вызваны введением диалогов, иногда они выходят за пределы целой страницы [Гаврилов, 2001, с. 34—36] и составляют до 60—80 (!) реплик. Авторской речи, сопровождающей эту «прямую речь», нет вообще.

Многие абзацы не связаны между собой. Значительно количество абзацев, в которых каждая из строк представляет собой отдельное сообщение, не связанное ни с предшествующим, ни с последующим. См.:

Солнце восходит. «Солнце» — подлежащее, «восходит» — сказуемое.

Кот сидит на подоконнике и смотрит в окно.

Переменная облачность, без осадков.

Известь получают путем обжига известняка при высокой температуре.

Пришел Витя. Мы съели всё какао, за что я был поставлен матерью в угол, на колени,
на мелкий уголь.

И ниже:

Пасмурно, прохладно. Миша хочет купить лыжи. Коля хорошо играет в шахматы.

Орехов в этом году меньше, чем в прошлом.

Камни, песок, вода.

Предложения бывают простые и сложные.

Ионы состоят из катионов и анионов. [Гаврилов, 2001, с. 9]

В этом же номере «Нового мира» помещены и другие литературные произведения, в них, как в старой традиции, от двух до четырех абзацев на каждой странице, хотя и в них также иной раз используется вертикальный пробел.

Вопрос о длине абзаца, а главное — о его сущности ставился неоднократно. В литературе большое внимание уделяется роли и сущности абзаца, его различию со сложным синтаксическим целым (ССЦ). В 1991 г. была защищена диссертация А. Круч о происхождении малого абзаца, но ею рассматривались абзацы значительно большего размера, чем мы видим у Гаврилова [Круч, 1991]. Диссертантка показала, что процесс уменьшения абзаца начался в конце XIX в. и совпал с уменьшением размера предложения и развитием актуализирующей прозы вообще.

2. Теперь рассмотрим, какой перед нами текст. Синтаксис текста с середины XX в. стал очень активно изучаться. Некоторыми авторами текст воспринимается как синтаксически организованная единица, следующая после предложения и ССЦ.

Уже давно высказано мнение, что абзац и ССЦ — единицы разных уровней. ССЦ — это синтаксическая единица, следующая по иерархии после предложения. Абзац же выделяет композиционно-значимые части текста и связан со стилистической и авторской его оформленностью. В литературе неоднократно отмечались и авторские особенности членения текста на абзацы, и акцентные эмоционально-экспрессивные его смыслы.

Важной проблемой для понимания текста остается его название. При обсуждении повести Гаврилова в Интернете (см. сайт «Русский журнал») имеются отзывы на эту повесть. Наряду с критическими замечаниями в них преобладает ее положительная оценка. Например, Игорь Бондарь-Терещенко (октябрь 2011 г.) пишет: «Бред и галлюцинация, абсурд и гротеск. А также емкая форма, глубокий подтекст и, говорят, продолжение чеховских традиций на совершенно новом уровне». Автор другого отзыва пишет, что это «чистейшей пробы футуризм вперемешку с Хармсом, Ремезовым и даже, не побоимся этого слова, Виктором Шкловским». И подобных мнений довольно много. К этому стоит добавить, что Гаврилов печатается в авторитетных периодических изданиях и уже удостоился двух литературных премий: в 2010 г. — премии Андрея Белого и в 2011 г. — премии «Чеховский дар».

Обратимся теперь к сущности текста повести и ее заглавию. По мнению синтаксистов, текст должен обладать тремя критериями: связностью, цельностью и смыслом. После чтения повести Гаврилова остается впечатление, что его текст не отвечает полностью ни одному из перечисленных критериев. Если связность еще представлена в малых однострочных абзацах, в которых употребляются небольшие, обычно простые предложения в настоящем постоянном времени, без осложнений, то уже между этими абзацами чаще всего отсутствует смысловая и синтаксическая связь.

Что касается названия рассматриваемой повести, то оно озадачивает читающего тем, что в нем трудно усмотреть связь с текстом. Взятое из морского лексикона слово «впередсмотрящий» означает члена экипажа морского судна, обязанного увидеть грозящую двигающемуся судну опасность и предупредить об этом капитана. В этом слове заголовка можно усмотреть связь с плохо прослеживаемой фабулой повести, что некто Миша заказал в Стокгольме шхуну, которая погибла при первом выходе в море. Этим можно объяснить и частое употребление морских терминов: «оверштаг», «фордевинд», «рангоут» и др. В заголовке требует объяснения и слово «воплъ». Его можно истолковать как сигнал об опасности. Если такое истолкование верно, то возникает вопрос: какую опасность и где автор видит впереди? Опасность в литературе, жизни страны, социально-политической обстановке в мире вообще? Поскольку нам не удалось найти обсуждения сущности заголовка повести, а он имеет важнейшее значение в любом литературном произведении, то мы хотим попросить тех, кто возьмет на себя труд прочитать эту повесть, подумать над этим вопросом.

3. Итак, к какому типу прозы отнести рассматриваемую повесть? Мне представляется, что это постмодернизм в новой форме — в форме абсурда. Проблема абсурда в различных проявлениях славянской культуры, преимущественно русской, была посвящена конференция,

проведенная под руководством профессора О. Д. Бурениной в университете г. Цюриха в 2001 г. Материалы были опубликованы в Москве в 2004 г. в книге под названием «Абсурд и вокруг». В ней обсуждаются проявления абсурда в языке, культуре, социальном обществе и даже в науке (Марр, Мичурин).

В статье «Реющее тело» О. Д. Буренина утверждает, что в широком смысле абсурд представляет реакцию художественно-эстетического сознания на ситуацию культурно-исторического кризиса [Буренина, 2004, с. 189]. Абсурд, по ее представлению, это путь от символизма и авангарда до постмодернизма, это начало алогического реализма. В свете сказанного, повесть Гаврилова, вероятно, можно отнести к произведениям постмодернизма.

Книгу «Абсурд и вокруг» включает статья М. Виролайнен «Гибель абсурда в XX веке», в которой автор утверждает, что постмодернизм — это нечувствительность к прежним культурным ситуациям, которые когда-то ощущались остро. Эта нечувствительность дала постмодернистскому сознанию возможность иметь «неограниченные ресурсы для беспрепятственного распространения» [Виролайнен, 2004, с. 426].

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что перед нами не только «погибший абсурд» в его разновидности, но и одна из его новых форм.

В заключение следует пояснить, что «постмодернизм — это широкое явление современной культуры, включающее в себя образ жизни, образ мышления, в том числе проявляясь в экономике и политике» [Философия постмодернизма]. Он не выглядит как монолитное явление, его атрибуты и программы актуализируются в широком спектре разнообразных проектов.

Мне представляется верной попытка некоторых социологов посмотреть на постмодернизм с точки зрения теории развития систем, выдвинутой президентом Бельгийской Академии наук, лауреатом Нобелевской премии И. Р. Пригожиным [Пригожин, 1986]. Согласно этой теории, культура как относительно стабильная система переходит в новое такое же состояние через переходную зону (состояние «бифуркации»). В этой зоне система как бы «ищет» это новое состояние. Если система культуры найдет это новое стабильное состояние, то перед ней открывается хорошая перспектива. Если же бифуркация приведет к полной разбалансировке состояния культуры, то тогда... «Спаси, Господи, люди Твоя».

Литература

Буренина, 2004 — Буренина О. Д. Реющее тело // Абсурд и вокруг / Под ред. О. Д. Бурениной. М., 2004. С. 188—240.

Виролайнен, 2004 — Виролайнен М. Н. Гибель абсурда в XX веке // Абсурд и вокруг / Под ред. О. Д. Бурениной. М., 2004. С. 415—427.

Гаврилов, 2001 — Гаврилов А. Вопль впередсмотрящего // Новый мир. 2001. № 9. С. 8—65.

Круч, 1991 — Круч А. Г. Малый абзац как композиционно-стилистическая единица текста (на материале стиля «короткой строки» и «новой прозы» В. П. Катаева). СПб., 1996.

Пригожин, 1986 — Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.

Шубина, 2006 — Шубина Н. Л. Пунктуация современного русского языка. М.: Академия, 2006.

Философия постмодернизма — [<http://yhdgbfhjng.ru/filosofiya/filosofiya20.html>]

К. В. Бабаев,

канд. филол. наук, Институт востоковедения РАН (Москва)

Пленарный доклад,
направление «Общее языкознание»

Об определении и типологии супплетивизма

Супплетивизм (обычно понимаемый как нерегулярный тип словоизменения лексемы с помощью иного корня) является одним из наиболее интересных языковых явлений в словоизменительных системах языка, находящимся в определенном смысле на стыке лексики и грамматики. Его широкая распространенность в языках самых различных типов, регионов мира, языковых семей обусловила довольно ранний интерес к супплетивизму со стороны научного языкознания.

Будучи специалистом по сравнительно-историческому языкознанию, я заинтересовался супплетивизмом в рамках общей лингвистической типологии при сравнении и реконструкции местоименных парадигм в языках мира. При анализе различных диахронических процессов в парадигмах личных показателей стало понятно, что отношения между членами парадигмы, их изменения в диахронической перспективе типологически весьма схожи. Однако описаны такие процессы в литературе весьма слабо, как отсутствует в целом и качественное описание типологии происхождения и развития супплетивизма в языках мира. Потребность в использовании материала по супплетивным отношениям между членами парадигмы, таким образом, привела к желанию исследовать супплетивизм в теоретическом плане.

Само явление супплетивизма своему открытию обязано именно сравнительному языкознанию. Оно было впервые охарактеризовано в работах раннего индоевропейского языкознания в первой половине XIX в. при сравнительном анализе и реконструкции праязыка индоевропейской семьи. Уже первые индоевропейцы, такие как Ф. Бопп,

уделяли существенное внимание сравнению супплетивных глаголов в различных языках семьи, считая соответствия таких парадигм одним из наиболее весомых доказательств языкового родства. Впоследствии явление супплетивизма охотно брали на вооружение компаративисты, работающие в сфере семитологии, изучения других языковых семей Евразии.

При этом собственно типологией и теорией супплетивизма ученые занялись значительно позже. Первая работа, полностью посвященная данному явлению в языке, издана в 1899 г. в Германии [Osthoff, 1899]. Позже супплетивизма касались в своих исследованиях представители нескольких школ языкознания, в том числе школы американского структурализма [Bloomfield, 1926]. Во второй половине XX в., однако, интерес к теории супплетивизма заметно угасает. Это было связано с тем, что наиболее популярные направления зарубежной лингвистики затруднялись определить место супплетивизма в языковых отношениях. Так, представители теории генеративной грамматики Н. Хомского полагали, что явление супплетивизма является чисто лексическим, и практически не упоминали его в своих исследованиях. *«И в ранних, и в поздних моделях генеративной морфологии супплетивизм либо игнорируются, либо в лучшем случае приписывают лексике, подразумевая, что никаких дальнейших объяснений и не требуется»* [Veselinova, 2006, p. 20].

В то же время представители теории «естественной грамматики» (Natural Grammar) считали, что супплетивизм является неестественным явлением для языка и может быть интересен только как временное «неудобство», которое в процессе развития все равно будет элиминировано из системы [Hippisley & al., 2004].

Наиболее пристальное внимание к проблеме супплетивизма проявлено в работах И. А. Мельчука [Mel'čuk, 1976; 1994; 2000], где рассматривается и логическая структура явления, и причины зарождения супплетивизма в языке, и некоторые вопросы типологической классификации явления. Мельчуку же принадлежит и одно из первых довольно точных определений супплетивизма: вопрос дефиниции явления и сегодня стоит весьма остро.

В современном языкознании явлению супплетивизма в языке в типологической перспективе посвящены работы группы ученых Университета Суррея (Великобритания). Членам группы удалось собрать наиболее объемную на сегодняшний день базу данных по явлению супплетивизма в 30 языках, принадлежащих к различным семьям, регионам мира и грамматическим типам. Первые итоги анализа базы данных опубликованы в ряде работ и научных докладов [Hippisley & al., 2004; Brown & al., 2004; Chumakina, 2004; Corbett, 2004 и др.].

Явление супплетивизма также рассматривалось в ряде работ, материал которых ограничивался отдельными языками или группами языков: среди них можно выделить монографии [Конецкая, 1973],

посвященную супплетивизму в германских языках, и [Aski, 1995], где рассматриваются супплетивные глаголы в латыни и романских языках. В 2006 г. вышла первая монография, посвященная детальному обзору супплетивных явлений в глаголе на кросс-лингвистическом материале [Veselinova, 2006].

Тем не менее можно констатировать, что явление супплетивизма рассмотрено и изучено пока крайне недостаточно. Нам удалось установить лишь около 80—90 работ (см. частичную библиографию в работе [Chumakina, 2004]), посвященных данному аспекту языка, из них всего три монографии — все они указаны в предыдущем абзаце. Безусловно, работа по исследованию столь интересного явления — как в синхронной, так и в диахронической перспективе — должна быть продолжена.

Границы явления супплетивизма в языке остаются нечеткими, и пока они не установлены всеобъемлющим определением, говорить о типологии явления, конечно, бессмысленно. А. А. Реформатский полагал, что при супплетивизме «в одной и той же функции выступают две разные корневые морфемы, входящие в одну парадигму». Однако здесь кроется очень важный вопрос о том, что считать различными корневыми морфемами. Известен пример супплетивной парадигмы латинского глагола *ferre* ‘нести’: форма перфекта *tulī* ‘я нес’ и форма супина *latum* ‘несение’ этимологически происходят от одного и того же корня **tul-*, откуда и форма **tlatum* с последующим упрощением инициального кластера.

И. А. Мельчуку принадлежит иное определение супплетивизма [Mel'čuk, 1994, p. 358]: «Для того чтобы считать знаки X и Y супплетивными, их семантическая корреляция должна быть максимально регулярной, а формальная корреляция — максимально нерегулярной». Под формальной корреляцией, конечно, имеется в виду фонетическая. Именно «фонетическая дистанция» устанавливается как критерий определения супплетивизма в ряде работ [Dressler, 1985]. Сразу несколько исследователей еще со времен Л. Блумфилда в качестве основного критерия классификации супплетивных явлений в языке выдвигают их разделение на «сильные» и «слабые» [Bloomfield, 1926; Veselinova, 2006]. «Сильными» супплетивными называют формы, образованные от этимологически различных корней, что, конечно, и подразумевает их формальное несходство. В качестве примера «сильного» супплетивизма можно привести временные формы английского глагола *go* ‘иду’ — *went* ‘шёл’, примером «слабого» супплетивизма являются формы разных чисел англ. *goose* ‘гусь’ — мн. ч. *geese* и прочие. Вопрос лишь в том, где, согласно этому критерию и определению Мельчука, лежит граница регулярности / нерегулярности фонетических форм. Формальная несхожесть двух словоформ словоизменительной парадигмы не может устанавливаться «на глазок», критерии здесь

необходимы четкие. К примеру, для языковеда-слависта ирландская пара *bean* ‘женщина’ — мн. ч. *mna* является примером «сильного» супплетивизма, в то время как кельтолог видит здесь вполне прозрачное фонетическое явление.

Этимологический критерий, безусловно, выглядит наиболее четким. Однако термины «сильный» и «слабый» к нему не подходят, они выглядят чересчур размыто и разными учеными понимались по-разному. Значительно логичнее было бы ввести в научный обиход термины «гетерогенные» и «гомогенные» супплетивные пары.

При этом важно понимать, что применение этимологического критерия при определении супплетивизма, на чем настаивает ряд ученых [Rudes, 1980], выглядит оправданным при анализе хорошо изученных языков вроде латыни, однако для тысяч малоисследованных языков мира этот критерий не будет работать до тех пор, пока их этимология не будет исследована. Сегодня для множества языков Африки или Австралии, о которых в нашем распоряжении имеется лишь небольшой грамматический очерк, зачастую нельзя с уверенностью сказать, восходят ли две супплетивные формы одной парадигмы к одному корню.

При анализе супплетивизма многие ученые задавались вопросом о том, ограничивается ли данное явление сферой словоизменения. Как в этом случае относиться к распространенным явлениям деривационного супплетивизма? Последнее касается словообразовательных моделей образования отглагольных существительных типа франц. *tomber* ‘падать’ — *chute* ‘падение’, наречий от прилагательных типа англ. *good* ‘хороший’ — *well* ‘хорошо’. Взаимоотношения между парами количественных и порядковых числительных во многих языках мира также являются супплетивными. Обычно это проявляется прежде всего в парах *один* — *первый* и *два* — *второй*, однако может распространяться на весь ряд числительных: например, в корейском языке количественные формы являются исконными, а порядковые образованы от китайских заимствований.

Полагаю, что разделение супплетивизма на словоизменительный и словообразовательный также может служить одним из основных классификационных признаков типологии, так как оба явления имеют единую природу. При этом особую важность приобретает определение собственно терминов «словообразование» (*derivation*) и «словоизменение» (*inflection*) — если в русском языке, флективном по своему грамматическому строю, различие может установлено весьма четко, то в мировом общем языкознании об определениях данных терминов продолжают ожесточенные споры, особенно применительно к языкам иного строя грамматики [Spencer & Zwicky, 1998].

Должен быть установлен и ряд других критериев для типологии супплетивизма, основанных на классификации анализируемого материала.

Безусловно, наиболее естественным выглядит распределение явлений супплетивизма по различным частям речи и во вторую очередь — их грамматическим категориям. Известно, что наиболее часто цитируемые примеры супплетивизма представляют сферы имени существительного и глагола: например, араб. *jamal* 'верблюд' — мн. ч. 'ibl, франц. *allons* 'идем' — *vais* 'иду'. Однако не менее частыми, хотя и менее изученными являются супплетивные формы в составе парадигм личных местоимений (лат. *ego* 'я' — *mihi* 'мне'), при образовании степеней сравнения прилагательных (нем. *gut* — *besser* — *best*) и наречий (словен. *zelo* 'очень' — *bolj* 'более'). Супплетивные формы встречаются при образовании форм указательных местоимений (фин. *tämä* 'этот', мн. ч. *nämä*), а также глагольных связей, если в языке они выделяются в отдельный класс лексем (ирландская связка *is* — прошедшее время *ba*). Основным вопросом, стоящим на повестке дня в этой связи, является вопрос о том, все ли классы словоизменяемых лексем подвержены явлению супплетивизма.

Тот же вопрос встает и при анализе грамматических категорий, демонстрирующих примеры супплетивных пар. Ниже перечислены лишь некоторые наиболее распространенные из таких категорий:

- число (болг. *човек* 'человек' — *хора* 'люди');
- лицо / число (англ. формы глагола *be* 'быть' в настоящем времени: *am* — *are* — *is*);
- время (франц. *vais* 'иду' — *irai* 'пойду');
- аспект (поль. *brać* 'брать' — *wziąć* 'взять');
- модальность (ирл. *tagaim* 'прихожу' — *tar* 'приходи');
- степень сравнения (гот. *leitils* 'маленький' — *minniza* 'меньше');
- полярность (кор. *itta* 'быть' — *apta* 'не быть');
- притяжательность (мбодомо *mi* 'я', *boŋ* 'мой');
- падеж (формы арчинского имени 'отец': абсолютный падеж *abt'u*, эргативный падеж *umtu*) [Кибрик, 1977].

При этом, конечно, супплетивизм, характерный для грамматической категории, может проявляться во всех частях речи, обладающих данной категорией.

Приведенный список отнюдь не исчерпывает грамматических категорий, присущих различным частям речи. Общий, уже звучавший выше вопрос об универсальности супплетивизма может получить ответ только в случае, если на широком языковом материале можно будет найти и проанализировать примеры данного явления при образовании значений и других категорий: например, определенности или именного класса существительного, κлючивности местоимения.

Важным является критерий степени автономности морфем, подверженных супплетивизму. В большинстве исследований, посвященных

анализу супплетивности, речь идет о корнях полнзначных лексем. Л. Блумфилд [Bloomfield, 1926] первым обратил внимание на любопытные факты супплетивизма словоформ не в корне, а в аффиксе — на таких примерах, как англ. *child* 'ребенок' — мн. ч. *children*. Здесь суффикс плюралиса *-ren* является для английского языка единичным и образует супплетивную пару не с корнем, конечно, а с нулевым аффиксом единственного числа. Однако, если рассматривать пары словоизменяемых аффиксов как особую категорию супплетивных явлений, стоит включить в анализ, например, падежные окончания индоевропейских языков (например, готский показатель датива ед. ч. *-a*, мн. ч. *-im*) или связанные личные показатели глагола (рус. дела-ю и дела-ем, разделяющие значение 1-го лица, но различные по категории числа). Подобные явления характерны для большого количества самых разных языков мира. В языках Африки с системой именной классификации маркеры именных классов имеют категорию числа: например, суахили *tu-* (маркер именного класса лиц) — мн. ч. *ba-*. Таким образом, типология супплетивизма должна включать и критерий автономности морфемы.

Одним из наиболее актуальных вопросов является развитие супплетивизма в диахроническом аспекте, поиск закономерностей такого развития. Исследование этих вопросов позволит не только понять, универсален ли супплетивизм, присущ ли данное явление всем языкам мира или хотя бы подавляющему их большинству, но и поможет исследовать другой важный вопрос: вопрос статистической частотности различных семантических групп лексем. Известно, что наиболее частотными супплетивными парами являются такие, как имена существительные *человек* — *люди*, *ребенок* — *дети*, глаголы со значениями *идти*, *приходить*, *быть*, степени сравнения прилагательных *хороший*, *плохой*. В качестве причины выделения определенных лексем обычно указывают на их высокую роль в языке, частоту и употребительность при регулярном общении. Однако верна ли эта корреляция? И если так, почему статистически весьма частотный в любом языке глагол «есть» вовсе не столь подвержен супплетивности? Эти и другие вопросы нуждаются в ответе, основанном на фундаментальном анализе языкового материала.

В зарубежной научной литературе бытует взгляд на супплетивизм как на нерегулярное явление, от которого язык по мере сил пытается избавиться. Период существования явления в языке делят на три этапа: «на первой стадии имеется полная регулярная парадигма... на третьем этапе происходит устранение» [Чумакина & al., 2004]. Представляется, что этот взгляд не всегда соответствует действительности: языков с «выравненным», устраненным супплетивизмом нам встретилось крайне мало, а примеры в указанной статье (вроде рус. *глаз* — *очи*) выглядят семантически некорректными. Более справед-

ливым представляется взгляд на супплетивизм как на «нерегулярную регулярность», присутствующую в огромном большинстве языков мира. Однако эта точка зрения должна быть подтверждена комплексным исследованием явления на материале представительной выборки как минимум сотни языков мира, чего пока еще в научной литературе сделано не было.

Подобное исследование, безусловно, представляется целесообразным как в свете типологического, так и в свете сравнительно-исторического языкознания.

Литература

- Кибрик, 1977 — Кибрик А. Е. Опыт структурного описания арчинского языка. Ч. 2: Таксономическая грамматика. М.: МГУ, 1977.
- Конечкая, 1973 — Конечкая В. П. Супплетивизм в германских языках. М.: Наука, 1973.
- Чумакина & al., 2004 — Чумакина М. Э., А. Hippisley, G. Corbett. Исторические изменения в русской лексике: случай чередующегося супплетивизма. 2004. Рукопись.
- Aski, 1995 — Aski J. Verbal suppletion: an analysis of Italian, French and Spanish to go. // *Linguistics* 33. 1995. P. 403–432.
- Bloomfield, 1926 — Bloomfield L. A set of postulates for the science of language. *Language* 2. 1926. P. 153–164.
- Brown & al., 2004 — Brown D., M. Chumakina G. G. Corbett and Andrew Hippisley. 2004. The Surrey Suppletion Database. [<http://www.smg.surrey.ac.uk/>]
- Чумакина, 2004 — Чумакина М. An annotated bibliography of suppletion. 2004. [http://www.surrey.ac.uk/LIS/SMG/Suppletion_BIB/WebBibliography.htm]
- Corbett, 2004 — Corbett G. Suppletion in personal pronouns: theory versus practice, and the place of reproducibility in typology // *Linguistic Typology*, 8.3. 2004.
- Dressler, 1985 — Dressler W. U. Suppletion in word formation. // *Historical semantics — historical word-formation*, ed. by J. Fisiak, Berlin: Mouton de Gruyter. 1985. P. 97–112.
- Hippisley & al., 2004 — Hippisley A., M. Chumakina, G. G. Corbett & D. Brown. Suppletion: frequency, categories and distribution of stems. “*Studies in Language*” 28. 2004. P. 387–418.
- Mel’čuk, 1976 — Mel’čuk, I. On suppletion. // *Linguistics* 17/ 1976. P. 45–90.
- Mel’čuk, 1994 — Mel’čuk, I. Suppletion: toward a logical analysis of the concept // *Studies in Language* 18:2. 1994. P. 339–410.
- Mel’čuk, 2000 — Mel’čuk, I. Suppletion // Booij, Geert; Lehmann, Christian; and Mugdan, Joachim (eds), *Morphologie / Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung / An International Handbook on Inflection and Word-Formation*, 1. Teilband. Berlin — NY: de Gruyter. 2000. P. 510–524.
- Osthoff, 1899 — Osthoff H. *Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen*. Heidelberg, Kommissionsverlag von Alfred Wolff. 1899.
- Rudes, 1980 — Rudes B. A. On the nature of verbal suppletion // *Linguistics*, 18. 1980. P. 655–676.
- Spencer & Zwicky, 1998 — Spencer A. & Zwicky A. M. (eds.). *The handbook of morphology*. Blackwell handbooks in linguistics. 1998.
- Veselinova, 2006 — Veselinova L. Suppletion in verb paradigms: bits and pieces of a puzzle. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamins. 2006.

О. В. Васильева,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Историческая лексикология и лексикография»

О наречиях в словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII вв. (стилистический, словообразовательный, исторический аспекты)

Как известно, наречия формируются в языке достаточно поздно. В связи с этим интересно проследить, какие наречия представлены в текстах XVI—XVII вв. — периода сложения современного русского языка.

Источник материала данной статьи — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII вв.1, составляемый в Межкафедральном словарном кабинете имени проф. Б. А. Ларина коллективом преподавателей и сотрудников филологического факультета СПбГУ (МСК). Словарь обиходного русского языка Московской Руси реализует идею Б. А. Ларина о словаре русского средневековья. Русский язык XVI—XVII вв. — самого конца донационального периода — привлекал к себе пристальное внимание ученого на всем протяжении его научной деятельности. Языковая ситуация Московской Руси этого времени характеризовалась наличием двух типов единого литературно-письменного языка, значительно различавшихся между собою в лексике, грамматике и стилистике: церковно-книжного и народно-литературного. Первый был продолжением старославянского языка — древнего литературного языка славян, языка церковных книг, второй сложился в Киевской Руси на основе восточнославянской устной традиции поэтического творчества, осуществления судопроизводства, торговых сделок, дипломатических отношений. Ларинская концепция Словаря обиходного русского языка Московской Руси состояла в следующем. Необходимо не только выявить в текстах и подробно описать лексику и фразеологию общерусской разговорной речи, формировавшейся в XVI—XVII вв., но и постоянно учитывать при этом взаимовлияние книжного церковнославянского языка и живой разговорной речи, а также жанровое разнообразие памятников письменности, созданных на народно-разговорной основе. Еще в Проекте Древнерусского словаря 1936 г. Б. А. Ларин писал: «Только в XVII веке на основе диалектов купечества, посадских людей, мелкого служилого дворянства и крестьянства создаются новые типы литературного языка, новые роды письменности. Обследование и разъяснение лек-

¹ Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII вв. Вып. 1—4. СПб., 2004—2011. (Вып. 5 — в печати.)

сики именно этого периода даст историческое освещение основному составу словаря современного русского языка»¹. С середины 1990-х гг. под руководством О. С. Мжельской в МСК начинается работа сначала над проектом Словаря Московской Руси, а потом и над самим Словарем.

В первых пяти выпусках Словаря на буквы А—Д встретилось 511 наречий. (Общее количество слов в этих выпусках — около семи с половиной тысяч.)

Из 511 наречий только 27 оказались книжно-церковными (*абие, богоугодне, велегласно, вегда, внезапно, внеуду, внятельно, вселюбезно, всеусердно, всклонно, всуе, выспрь, вяще, гордостно, горе, грехотворно* и др.). Совершенно очевидно, что эта стилистически маркированная группа наречий не имела широкого распространения в языке за рамками церковной книжности и в последующий период была утрачена. В материалах Словаря эти наречия зафиксированы в таких памятниках, как «Послания Ивана Грозного», «Повесть о Савве Грудцыне», «Сказание о куре», «Сказание Авраамия Палицына», сочинения Аввакума, «Домострой». В подавляющем большинстве случаев книжно-церковные наречия встречаются в произведениях протопопа Аввакума — человека, который мастерски владел пером и использовал церковно-книжную лексику в текстах отнюдь не церковных. Сочинение Палицына написано по всем канонам церковной книжности, тогда как Иван Грозный, как и Аввакум, использовал разностилевые элементы в своих сочинениях. Не является случайным употребление церковно-книжных наречий в таких литературных произведениях XVII в., как «Сказание о куре» и «Повесть о Савве Грудцыне», стилистике которых вовсе не чужды элементы традиционной (т. е. церковной) книжности. То же самое можно сказать и о выдающемся памятнике XVI столетия — «Домострое». Вместе с тем, хоть и несколько реже, церковно-книжные наречия встречаются и в памятниках деловой и бытовой письменности, в частных письмах людей. Так, например, наречие *всеусердно*, несомненно церковно-книжного происхождения, о чем свидетельствует его сложная основа, встречается в тексте Аввакума (*Молитесь о нас всеусердно*), в Грамотках и Источниках народно-разговорного языка — в традиционных формулах писем (*Душевна спасения желаю преподобию твоему всеусердно, Всеусердно ныне просим*), а также в «Сказании о куре» и в «Повести о Савве Грудцыне», в сочетании *всеусердно рад (рада)*.

Еще 33 наречия на буквы А—Д маркированы пометой *дел.* (деловое). Это такие единицы, как *безволокидно, безданно, безоброчно, безразвитно, бескабально, беспенно, вдернь, впрок, встречно* и др. Все эти лексемы являются неотъемлемой составляющей деловых текстов

XVI—XVII вв. (например, наречие *безоброчно* встретилось в 17 документах, *беспенно* — также в 17 документах, *беспереводно* — в 13, *бескабально* — в 10, *безъявочно* — в 7, другие наречия имеют меньшую частотность). Из них в русском языке сохранились только 3 единицы, которые при этом утратили свою деловую окрашенность: *бесповоротно, вправду и впрок*. При этом наречия *вправду и впрок* и в языке XVII в. употреблялись не только в деловом значении. Проанализируем основную корпус стилистически не маркированных наречий в составленных выпусках Словаря по ряду параметров.

Первый параметр — сохранность. В современном русском литературном языке осталось чуть меньше половины тех наречий, которые употреблялись в текстах XVII в. На буквы А—Д это около 180 единиц, такие как *безлюдно, безмолвно, безмятежно, безопасно, безумно, бережно, бесспорно, благополучно, близко, боком, больно, братски, быстро, вбок, вдаль, вдвоем, вдоволь, вежливо, везде, верно, верхом, весело, весьма, вечером, вечно, взаимно, влево, вместе, знаем, вниз, внутри, вовсе, впервые, вплавь, вполне, впору, впрок, впрямь, враз, всегда, вскоре, вчера, где, гладко, глупо, гневно, гордо, громко, давно, далеко, даром* и многие другие. Эти наречия формировались в разные эпохи, есть тут и праславянские (*вдруг, где*¹), и собственно русские образования. В то же время около 240 наречий на буквы А—Д, зафиксированные в текстах — источниках Словаря, к сегодняшнему дню вышли из употребления. Причины их устаревания самые разные, как лингвистические, так и экстралингвистические. С одной стороны, определенная часть лексики связана с реалиями своего времени, уже давно оставшимися в прошлом, что повлекло за собой исчезновение таких наречий, как *беззакладно, безмытно, безобводно, безоброчно, безопально, безотводно, безразвитно, безъявочно, беспенно, беспятинно, вдертную*. С другой стороны, материал показывает, что для языка XVII в. была характерна высокая степень вариативности, в результате чего в последующие эпохи один из вариантов сохранился в русском литературном языке, тогда как другие остались в прошлом. Так, наряду с наречием *влево* в текстах XVII в. употреблялся его полный эквивалент *влеве*, параллельно с наречием *вновь* — *внове* и *вново*, в похожих источниках встречаются наречия *верхом* и *верхами, вечером* и *вечер, весной, весне* и *веснись, впряд, впряде, впряди* при имевшемся *впрядь*. В одном из источников Словаря встретилась форма *вобче*, которая несомненно коррелирует с современной литературной *вообще* как русизм. В целом вариативность производных наречий достаточно высока. Зачастую встречается по три-четыре образования, тождественных по семантике, но фонетически различных: *врозне, врозни, врозно, врознь; воблизи, воблизу, вблизе, вблизости, вблизь; вопреди, впереди, впереду, впереди;*

¹ Ларин Б. А. Проект Древнерусского словаря (Вводная заметка) // Б. А. Ларин. Филологическое наследие. СПб., 2003. С. 595.

¹ См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1964—1973.

вровне, вровно; врозне, врозни, врозно, врознь; всегда, всегда, всегда, вселды; втае, втай, втаях.

Большинство наречий, зафиксированных в Словаре, несомненно, относились к узуальным единицам, даже если в картотеке они встречаются один раз, однако среди них попадаются иногда и окказиональные. Так, например, наречие *девятомесечно* явно принадлежит перу Аввакума, в произведении которого и встретилось¹: «В членах, еже есть в составех, Христос, Бог наш, в зачатию совершен обретесе, а плоть его пресвятая по обычаю *девятомесечно* исполняшеся; и родися младенец, а не совершен муж, яко 30 лет» [Авв. Кн. бесед, с. 136, 1675 г.].

Кроме того, часть наречий XVII в., не вошедших в современный русский литературный язык, существует в русских народных говорах. Это такие единицы, как *баско, захват, вдругоряд, вкруг, вместеях, волжно, вполности, впроход, впрям, вряд, всяко, вчерась, горазд, давеча, далече, взаем, взашей, впервой, вприбавку*² и ряд других.

Говоря о сохранности единиц, отмеченных в источниках XVII в., в современных русских говорах, следует отметить и такую их особенность, как диалектное фонетическое оформление. Так, в Словаре зафиксировано наречие *вже* (уже), встретившееся в четырех источниках (в числе прочих у Ивана Грозного), написание которого отражает фонетическую близость согласного *в* и гласного *у*, хорошо знакомую русским диалектам.

Второй параметр, по которому характеризовались наречия XVI—XVII вв., — структурный. Посмотрим, от чего и с помощью чего были образованы наречия, употреблявшиеся в источниках указанного периода.

Как и в современном русском языке, в языке XVI—XVII вв. количество производных наречий существенно превосходило количество непроизводных. На 500 единиц встретилось только 16 условно непроизводных наречий (т. е. образованных еще в праславянском языке и не имеющих мотивировки), часть из которых является церковно-книжным наследием (*абие, амо, аще*), а другая часть — вариантами одного и того же наречия (*всегда, всегда, всегда, вселды*), точно так же, как единицы *всюду* и *всюды*. Помимо названных в источниках встретились еще 7 условно простых наречий: *везде, вже, вне, внегда, вон, вчера, где*³.

¹ Слово отсутствует в следующих словарях: Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 2. М., 1989; Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 4. М., 1977; Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л., 1991.

² См. Словарь русских народных говоров, вып. 1. М.; Л., 1965. Вып. 43. СПб., 2010.

³ «В особую группу выделяются древнейшие по образованию наречия, этимологически связанные с местоимениями, но в современном языке выступающие как непроизводные: *где, здесь, там, всюду, иногда* и др.» // Грамматика русского языка. Том 1. М., 1953. С. 606.

Остальные наречия XVI—XVII вв. на буквы А—Д, встретившиеся в источниках Словаря, — производные. Как и в современном русском языке, самая многочисленная группа — это наречия на *-о*, производные от имен прилагательных. Их около 150: *аккуратно, безмолвно, бесхитростно, благополучно, бледно, близко, богато, болезненно, быстро, вежливо, величаво, вечно, взаимно, вольно, гибко, глубоко, гордо, грозно, далеко* и многие другие.

Менее распространена модель образования наречий от имен прилагательных с суффиксом *-и* (таких наречий на первые буквы алфавита встретилось всего 6): *ангельски, басурмански, братски, воровски, всячески, гречески*.

Зато продуктивны модели образования наречий от имен существительных в разных падежах. Самая распространенная — творительный падеж: *бегом, блином, боем, бунтом, валом, верхом, ветром, вихрем, воровством, временем, выбором, годом, грабежом, даром, делом; бочкой, бурей, весной, водою, выручкой, вышиною, горою, грядою, дверенкою; бочками, ведрами, веревками, вилами, вьюками, горами* и т. п. (Всего 27 единиц на *-ом*, 16 — на *-ою*, 8 — на *-ами*.) И точно так же, как в современном языке, в текстах XVI—XVII вв. мы видим в одних случаях уже сформировавшиеся наречия, а в других — не более чем адвербиализированную форму. С одной стороны: «Купи *валом* (оптом, *kaufe es in Summa*)» [Тронх. разг., с. 228, к. XVII в.]; «Какъ Московские послы бывают у государя ихъ, и ихъ принимаютъ въ коретахъ, а не *верхами*» [Котошихин, с. 50, 1667 г.]; «А ловятъ тое ловлю егорьевские крестьяне *весною* да *осенью*» [Пск. писц. кн. I, с. 94, 1587 г.]; а с другой стороны: «В межах та варница с Ивановой варницею Сергеевою задами вместе а *боком* противу Нечаевы варницы Шубина заречные а с другую сторону *боком* од Дмитриевы варницы Осифова» [Сл. Перм. I, с. 47, 1616 г.]; «Да из козны продано вино *ведромы* и четвертми... на двенатцат рублев» [Южн. тамож. кн., с. 249, 1652 г.]; «Меньше что *бочкой* не продаю» [Разг. Хеймера, 12 об., к. XVII в.] и др.

Редки случаи адвербиализации других падежных форм имени существительного: в винительном падеже (*век, верх, верхи, вечер, встречу*) и в местном падеже (*весне*): «А детей боярских служилых, которые *век* не служивали, в холопех не бывати, опричь кому государь отставит от службы» [Судебник 1589 г., с. 432]; «Князи, и дворяне... и гости ехали *верхи* перед кочами и около кочь по сторонам» [Ст. сп. Микулина, с. 161, 1601 г.]; «А на Кузьмину де Гать пришло *вечор* с Хопра воров человек с 500» [РД II-1, с. 480, 1670 г.]; «Да какъ гряды копати *весне*, а навозъ класти» [Дм., с. 116, XVI в.].

Вместе с тем в текстах XVI—XVII вв. наречия довольно часто образуются от предложно-падежных сочетаний. Это могут быть сочетания имени существительного с предлогом (*вблизе, вдали, взапуски, вместе, вначале, внизу, внутри, вправде, врозни, вряд, вскопе, вскорости, въяве, вбок, вброд, вглубь, вдаль, вконец, вкруг, внаймы, вскладку, вслух, вспять*

и др. — всего 125 образований в первых пяти выпусках Словаря) или имени прилагательного с предлогом (*вборзе, вдругие, вкоротке, вкрасне, вкруте, вmale, внапрасне, вполне, впросто, вровне, врыже, вскрыте, по-всполюшному, втрезве, вцело, вчерне* и др. — около 40 образований в первых пяти выпусках Словаря).

Остальные модели образования наречий представлены в материалах Словаря немногочисленными примерами. Предлог + наречие: *беспереоброчно, вовсенародно, возвестно, вподлинно, всквозь, втогда*. Предлог + числительное: *вдвое, вдвоем, вдесятеро, воедино, вперво, вполтора, впятеро, втретье, вчетверо, вшестеро*. Предлог + местоимение: *вовсе, восвоя, восвояси*. Предлог + прилагательное + существительное: *вдугоряд, вполпьяна, вполсыта*. Предлог + числительное + прилагательное: *втридороги*. Местоимение + наречие: *вседушевно, всеконечно, вселюбезно, всемерно, всенощно, всесовершенно, всесуточно, всеусердно, всечасно*. Местоимение + существительное: *всечас*.

Таким образом, материал показывает, что в языке XVI—XVII вв., по данным текстов — источников Словаря обиходного русского языка Московской Руси, были представлены наречия, образованные по разным моделям, как сохранившимся, так и утраченным в современном русском языке, однако преобладали все же наречия, произведенные по моделям, которые до сих пор являются наиболее типичными для наречий — от имен прилагательных с суффиксом -о, от разных предложно-падежных сочетаний существительных и прилагательных, а также от имен существительных в творительном падеже. В целом словообразование наречий в XVI—XVII вв. было более богатым по моделям, чем это представлено в современном русском языке.

Литература

Авв. Кн. Бесед — *Аввакум*. Книга бесед // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под. ред. Н. К. Гудзия. М., 1960.

Тронх. разг. — Тронхеймский разговорник. The trondheim russian-german MS vocabulary / Ed. by S. S. Lunden. Oslo; Bergen; Trömso, 1972.

Котошихин — *Котошихин Г.* О России в царствование Алексея Михайловича. 2-е изд. СПб., 1859.

Пск. писц. кн. I — Псковские писцовые книги, книга 1. Псков и его пригороды. Кн. 1 // Сборник Московского архива министерства юстиции. Т. 5. М., 1913.

Сл. Перм. I — *Полякова Е. Н.* Словарь лексики пермских памятников XVI — начала XVIII века: В 2 т. Пермь, 2010. Т. 1.

Южн. тамож. кн. — Памятники южновеликорусского наречия: Таможенные книги / Изд. подг. С. И. Котков, Н. С. Коткова. М., 1982.

Разг. Хеймера — Разговорник Хеймера. Günther Erika. Das niederdeutsch-russische Sprachbuch von Johannes von Heemer aus dem Jahre 1696. Frankfurt am Main, 2002.

Судебник 1589 г. — Судебник царя Феодора Иоанновича 1589 г. // Памятники русского права Вып. 4. М., 1956.

Ст. сп. Микулина — Статейный список Г. И. Микулина // Путешествия русских послов XVI—XVII вв. М.; Л., 1954.

РД II-1 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сб. документов. Т. 2. Ч. 1. М., 1957.

Дм. — Домострой / Изд. подг. В. В. Колесов и В. В. Рождественская. СПб., 1994.

С. В. Власов,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «История языка (романо-германский цикл)»

Отбор слов и проблема языковой нормы в различных изданиях словаря Пьера Ришле (1680—1769) и в первых изданиях словаря Французской академии (1694—1798)

Словарь Пьера Ришле или, как его называли в России, где он пользовался особой популярностью во времена Третьяковского и Ломоносова, знаменитый «Ришелетов Лексикон» — это первый одноязычный толковый словарь французского языка, впервые опубликованный нелегально в Женеве в 1680 г. [Richelet, 1679—1680], за 10 лет до посмертной публикации в Голландии «Всеобщего словаря» Антуана Фуретьера [Furetière, 1690] и за 14 лет до первого издания «Словаря Французской Академии» [Dictionnaire de l'Académie Française, 1694].

Эти три первых больших толковых словаря французского языка характеризуются разными принципами отбора и экзemplификации лексики, включенной в состав словника, несмотря на то что все они связаны с академическим проектом создания толкового словаря французского языка, монополию на издание которого на всей территории королевства имела Французская академия. В самой Франции словарь Ришле будет опубликован легально в Лионе и Руане только в 1719 г. [Richelet, 1719], уже после смерти Ришле в 1698 г. и после выхода в свет в 1718 г. второго издания словаря Французской академии [Nouveau Dictionnaire de l'Académie Française, 1718]. В отличие от словаря Французской академии, в словаре Ришле представлены, как известно, гораздо полнее новые слова и новые значения старых слов, а также наиболее известные технические термины.

В своем небольшом этюде мы затронем только вопрос, который до сих пор привлекал мало внимания исследователей¹: насколько соблюдались (или, скорее, нарушались) в различных изданиях словаря

¹ Из последних работ см. целый ряд статей в специальном выпуске журнала L'Information Grammaticale, посвященном словарю Ришле [L'Information Grammaticale, 2007], и монографию Ж. Петрекина [Petrequin, 2009], в которой анализируется главным образом лишь первое издание словаря Ришле.

Ришле в сравнении с первыми изданиями словаря Французской академии принципы языкового пуризма в отношении грубо-просторечной и архаической лексики.

Но сначала несколько слов о проекте Академического словаря, с которым был так или иначе связан и проект словаря Ришле.

По первоначальному плану академика Жана Шаплена словарь Французской академии должен был быть составлен по образцу итальянского словаря академии делла Круска (1612) как словарь языка уже покойных лучших французских писателей не только начала XVII в. (Франсуа Малерб, Теофиль де Вьо, кардинал Дю Перрон, Матюрен Ренье, Оноре д'Юрфе, Жан Берто, Франсуа де Саль и др.), но и писателей XVI в. (от Монтеня и Ронсара вплоть до Клемана Маро и Мелена де Сен-Желе, поэтов первой половины XVI в.) [François, 1912, p. 150].

Под влиянием доктрины языковой нормы (*bon usage*) академика Клода Фавра де Вожа, руководившего на начальном этапе работами по составлению словаря, в основу словаря Французской академии была положена современная разговорная речь французского двора и самих писателей-академиков, без какого-либо цитирования литературных произведений. Из академического словаря декларативно исключались, как правило, слова слишком обветшалые, уже вышедшие из употребления, и слова слишком новые, еще не признанные узусом, а также слова вульгарные и непристойные (так ли это было на самом деле или не так, требует специального исследования), диалектизмы и специфические термины наук и ремесел.

С подобными принципами составления словаря были согласны не все академики. Так, академик Антуан Фюретьер стал добиваться привилегии на издание своего словаря энциклопедического типа, который включал бы в себя все французские слова, как современные, так и старые, а также термины всех наук и искусств. Обвиненный академиками в плагиате, Фюретьер был изгнан из Академии и, подорвав свое здоровье тяжелой работой по составлению словаря и борьбой с Французской академией, умер в 1688 г., так и не дождавшись выхода в свет своего любимого детища. Некоторых других академиков, сторонников отражения в словарях только общеупотребительного языка, не устраивал отказ Академии составить словарь живого французского языка на основе цитат из лучших современных французских писателей.

Обычно считается, что словарь П. Ришле отражает взгляды группы пуристов во главе с отцом Домиником Бууром и Оливье Патрю, известным адвокатом и членом Французской академии, прославившимся своими судебными речами. Об этом мы узнаем из письма от 4 апреля 1677 г. Оливье Патрю своему другу поэту Франсуа де Мокруа. В этом письме Патрю сообщает Мокруа о том, что их старые приятели Кассандр и Ришле решили составить словарь на основе

цитат «из наших хороших авторов» и предлагают им предоставить цитаты из их собственных произведений. Патрю, в свою очередь, предлагает сделать то же самое Рапену и Бууру. Кроме того, пишет Патрю в своем письме, «Кассандр взял на себя малоупотребительные слова, касающиеся растений, животных, анатомии и фармацевтики, а Ришле собирается делать выписки из всего д'Абланкура» (знаменитого переводчика античных авторов. — С. В.). В том же письме Патрю обращается к Мокруа с просьбой взять на себя выписки из всего Г. де Бальзака [Pellisson et d'Olivet, 1858, p. 50—51].

Как мы видим, в отличие от словаря Французской академии, составители которого вообще отказались от авторских цитат, ссылаясь на свой собственный авторитет как образцовых писателей, в первых изданиях словаря Ришле сохраняется отчасти верность первоначальному плану Словаря Французской академии, задуманному Шапленом как словарь цитат, но при этом в качестве «хороших авторов» оставлены только сами составители словаря и целый ряд других современных писателей.

Мнение о том, что словарь Ришле является самым правильным по языку, было высказано еще в XVII в. Андре Рено, который тем не менее не преминул подвергнуть словарь Ришле критике за его слепое следование авторитету д'Абланкура и Патрю в цитировании таких неологизмов д'Абланкура, как *déferer* (в значении *déconcerter*) и *temporisation* (вместо *délai*), и таких устаревших слов из сочинений Патрю, как *ord* (*sale*), *instituer* (вместо *instruire*), *notifier* (вместо *déclarer*). А. Рено отметил также и сатирическую направленность словаря Ришле, его желание высмеять церковнослужителей (аббатов, монахов, каноников) и жителей некоторых провинций (например, жителей Нормандии и Дофинуа) [Renaud 1697, p. 541—545].

Но более всего досталось Ришле в конце XVII в. от анонимного автора «Рыночного словаря, или Извлечения из Словаря Французской Академии», по мнению которого, Ришле «имел наглость напечатать грубые похабные слова, которые не употребляют в своей речи даже хорошо обученные лакеи» (*[il] a eu le front d'imprimer des ordures grossieres, que les laquais bien appris ne dissent point*) [Dictionnaire des Halles, 1696, f. E1 r].

Действительно, первое издание словаря Ришле отличалось вольностью не только в характеристике церковнослужителей и жителей отдельных французских провинций, но и в отношении так называемой обценной лексики, не включенной в полном объеме ни в словарь Фюретьера, ни в словарь Французской академии на том основании, что эта лексика оскорбляет «стыдливость» (см. Предисловие к 1-му изданию Словаря Французской академии), хотя представления о «стыдливости» во Франции XVII—XVIII вв. не отличались особой строгостью.

Речь идет, в частности, о словах, обозначающих в просторечии мужские и женские гениталии и отсутствовавших еще в первой половине XX в. во французских словарях общеупотребительного языка, о словах, известных всем французам, но неизвестных часто иностранцам, изучающим французский язык. Более того, к некоторым из этих слов, например к слову *vit*, самому распространенному в то время просторечному обозначению «мужского достоинства», в словаре Ришле давалось пространное бурлескное определение следующего содержания: «*Vit s.m.* Слово, которое происходит из греческого или, согласно некоторым, из латыни и которое никогда не употребляется порядочным человеком не в завуалированной форме (*sans enveloppe*). Это часть [тела], производящая императоров и королей. Это часть [тела] мужчины, производящая блудниц и рогоносцев. В латинском языке ее называют *mentula*, *verpa*, *veretrum*. В итальянском *cazzo*, а в испанском *carajo*» [Richelet, 1679–1680, t. 2, p. 537]. Действительно, определение obscene слова дается в завуалированной форме с учеными экскурсами в латынь и другие романские языки, с тем чтобы не оскорбить «стыдливость» и в то же самое время указать на несоответствие данного слова языковой норме (*bon usage*), но тем не менее само слово приводится в словаре, а не стыдливо замалчивается, как в других словарях. Некоторые obscene слова или obscene значения слов даются Ришле без определений через перевод на латинский язык. Например: *Con, s.m.* *Cunus. Décharger. Terme libre. Immitere semen in vas debitum* [Richelet 1679–1680, t. 1, p. 159, 214]. В последующих изданиях словаря Ришле некоторые из этих obscene слов совсем исчезают (например, слово *con*), но не все (например, слово *vit* сохраняется вплоть до издания 1769 г.).

Из изданий, опубликованных во Франции, особенно отличается своей вольностью издание словаря Ришле 1719 г. В предисловии к этому изданию словаря Ришле даже дается оправдание сохранения в словаре так называемых вольных слов: «Желая удовлетворить деликатность некоторых лиц, хотели бы удалить из словаря все слова, которые кажутся несколько вольными. Но, хотя щепетильные читатели жаловались на то, что у Ришле встречаются некоторые из выражений, которые, как кажется, оскорбляют приличие и благопристойность (*qui paraissent choquer l'honnêteté et la bienséance*), то это ложная деликатность; нужно помещать всё в словарь, который предназначен для всех и который должен служить пониманию французских текстов любого содержания» [Richelet, 1719, f. II v].

Таким образом, отбор нормативной и ненормативной лексики осуществляется не путем исключения из словаря соответствующих слов, знать которые должен не только каждый француз, но и каждый иностранец, не желающий попасть впросак, сталкиваясь с подобными словами, а путем соответствующих определений, указывающих на ненормативный характер данной лексики. При этом следует сказать,

что в отношении грубых слов, обозначающих некоторые примитивные физиологические отправления, или просто связанных с телесным «низом», или обозначающих места разврата и развратных женщин, авторы первого издания словаря Французской академии не менее, а иногда еще более толерантны, чем Фюретьер и Ришле.

Часто встречающееся утверждение о том, что языковой пуризм в первых французских толковых словарях был связан с устранением из словаря «низких» и «грубых» слов, основано, по нашему мнению, или на излишней доверчивости к языковым декларациям, которые содержатся в Предисловии к 1-му изданию словаря Французской академии, или просто на плохом знании самих словарей¹.

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие лексикографическую практику в отношении «низких» и «грубых» слов не только П. Ришле, но и Французской академии. Так, несмотря на декларации предисловия, в 1-м издании Словаря Французской академии без всяких предупредительных помет даются глаголы *chier*², *peter*, *pisser*; существительные *cul*³, *merde*⁴, *cacade (faire une cacade)*, *bordel*⁵, *putain*⁶.

Что касается архаизмов, то первое издание словаря Ришле ориентировалось только на современную языковую норму, в отличие от словаря Фюретьера, и в этом вопросе мало чем отличалось от первого издания словаря Французской академии, в котором устаревших слов было даже больше, чем у Ришле, несмотря на все декларации, содержащиеся в предисловии к 1-му изданию академического лексикона, об устранении из него устаревших слов. Например, в 1-м издании словаря Ришле отсутствуют такие архаизмы, как *ains*, *aucunefois*, *léans*, *moult*, *prouesse* и т. д. Все эти архаизмы включены не только в словарь Фюретьера, но и в 1-е издание академического лексикона.

¹ В своем глубоком исследовании словаря Ришле Ж. Петрекен [Petrequin, 2009] вносит существенные коррективы в традиционные представления о языковом пуризме П. Ришле, но рассматривает только первое издание словаря и не касается obscene лексики.

² Помета «низкое» [слово] добавлена лишь в 5-м издании 1798 г.! [Dictionnaire de l'Académie Française, 1798, t. 1, 239].

³ С огромным количеством весьма вульгарных с современной точки зрения примеров, только часть из которых была выпущена в позднейших изданиях.

⁴ Указание на то, что «приличные люди (*les honnêtes gens*) избегают употреблять это слово в разговоре», дается только начиная с 3-го издания 1740 г., но при этом добавляются отсутствовавшие ранее примеры на употребление этого неприличного слова в различных пословицах и поговорках, вроде *Plus on remue la merde, plus elle put* или *il y a de la merde au baton* [Dictionnaire de l'Académie Française, 1740. Т. 2, p. 111].

⁵ Замечание о том, что это слово «не употребляется в приличном обществе — *ne se dit point en bonne compagnie*» — появляется только в 4-м издании 1762 г. [Dictionnaire de l'Académie Française, 1762. Т. 1, p. 193].

⁶ Только во 2-м издании 1718 г. появляется указание на то, что это бранное (*terme d'injure*) и неприличное слово (*terme malhoneste*) [Nouveau Dictionnaire de l'Académie Française, 1718. Т. 2, p. 394].

Однако интересной особенностью еще прижизненных последующих изданий словаря Ришле является добавление в словник, вслед за словарями Фюретьера и Французской академии, устаревших слов, отсутствовавших в первом издании. Так, в контрафактном кельнском издании 1694 г., воспроизводящем женевское издание 1693 г., появляется такой архаизм, как *ains*, с пометой: «союз, означающий *mais* (русск. «но»), и в этом смысле вышедший из употребления. *Ains au contaire*. Это выражение еще употребляется, но только в шутку (*en riant seulement*)» [Richelet, 1694, t. 1, p. 41].

Появление архаизма *ains*, сохраняющегося во всех последующих изданиях словаря Ришле вплоть до 1769 г., можно объяснить тем, что оно входило в состав еще употребительного в то время фразеологизма, но включение в словарь архаизма *aucunefois*, также воспроизводимого во всех последующих изданиях словаря с пометой «это слово устарело, вместо него используется слово *quelquefois*» [Richelet, 1694, t. 1, p. 105], объясняется, вероятно, не только тем, что это слово встречается в стихах поэта и академика Ракана, родившегося еще в XVI в. [Richelet, 1694, t. 1, p. 105], но и постепенной сменой установки с регистрации актуальной языковой нормы на универсальность словника в подражание словарю Фюретьера. Смена принципов лексического отбора подтверждается и тем, что в женевском издании 1710 г. в списке авторов, цитируемых в словаре, появляется имя Франсуа Рабле, умершего в 1553 г. [Richelet, 1710, t. 1, p. 11].

Целый ряд архаизмов был введен в посмертные издания словаря Ришле, начиная с лионского издания 1728 г., Пьером Обером (Pierre Aubert), который включил в словарь даже старофранцузское слово *ber*, не понимая, что это прямой падеж слова *baron*, оставшегося в языке в форме косвенного падежа, и полагая, что это не формы одного и того же слова, а синонимы [Richelet, 1769, t. 1, p. 234]. Как и в случае вульгаризмов, архаизмы не удаляются из словаря, а сопровождаются пометами, определяющими их отношение к языковой норме.

Весьма показательны также изменения самого названия словаря Ришле. Так, начиная с амстердамского издания 1709 г., словарь Ришле назывался «Nouveau dictionnaire français, contenant généralement tous les mots, anciens et modernes, de la langue française», с 1719-го — «Nouveau dictionnaire français, contenant généralement tous les mots, anciens et modernes, et plusieurs remarques sur la langue française», а с лионского издания 1728 г. (наряду со старым титулом руанского издания 1729—1730 гг.) и вплоть до парижского издания 1769 г. словарь Ришле носил название «Dictionnaire de la langue Française, ancienne et moderne» («Словарь старого и нового французского языка»). Таким образом, сами новые названия словаря Ришле указывают на наличие в нем не только современной, но и старой лексики, сближаясь с названием словаря Фюретьера [Furetière, 1690—1727] и отличаясь от последнего только отсутствием указания на терминологию (всех) наук и искусств,

хотя и в отношении технических терминов словарь Фюретьера становится образцом и для посмертных изданий словаря Ришле.

Как мы видим, словарь Ришле занимает особую нишу между словарем Французской академии и словарем Фюретьера, сближаясь постепенно с последним в универсальном характере словника. Не случайно словарь Фюретьера, наиболее отвечающий запросам образованного общества XVIII в., будет в дальнейшем положен в основу так называемого Тревуского словаря [Dictionnaire Universel François et Latin, 1704—1771], на смену которому придет его новый конкурент — «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера [Diderot et d'Alembert, 1751—1772].

Литература

- Dictionnaire de l'Académie Française, 1694 — Dictionnaire de l'Académie Française, Dedié au Roy. T. 1—2. Paris, 1694.
- Nouveau Dictionnaire de l'Académie Française 1718 — Dictionnaire (Nouveau) de l'Académie Française. Dedié au Roy. Paris, 1718 (2-e édition).
- Dictionnaire de l'Académie Française, 1740 — Dictionnaire de l'Académie Française. Troisième édition. T. 2. Paris, 1740.
- Dictionnaire de l'Académie Française, 1762 — Dictionnaire de l'Académie Française. Quatrième édition. T. 1. Paris, 1762.
- Dictionnaire de l'Académie Française, 1798 — Dictionnaire de l'Académie Française [...]. Cinquième édition. T. 1. Paris, 1798. P. 239.
- Dictionnaire des Halles, 1696 — Dictionnaire (Le) des Halles, ou Extrait du Dictionnaire de l'Académie Française. Bruxelles, 1696.
- Dictionnaire Universel François et Latin, 1704—1771 — Dictionnaire Universel François et Latin. Trévoux, 1704. (Последнее издание — Paris, 1771).
- Diderot et d'Alembert, 1751 — 1772 — Diderot D., Alembert J. Le Rond d'. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Vol. 1—17. Paris (et Neuchâtel), 1751—1765.
- François, 1912 — François A. Le Dictionnaire de l'Académie française et les diverses formules du purisme, du XVII-e au XIX-e siècle // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. LXVI. Jahrg. Band CXXVIII. Braunschweig, 1912.
- Furetière, 1690 — Furetière A. Dictionnaire Universel, contenant généralement tous les Mots Français tant vieux que modernes, et les Termes de toutes les Sciences et des Arts [...]. La Haye — Rotterdam, 1690.
- Furetière, 1727 — Furetière A. Dictionnaire Universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. La Haye, 1727.
- L'Information Grammaticale, 2007 — Information Grammaticale (L'), № 114, juin 2007.
- Nouveau Dictionnaire de l'Académie Française, 1718 — Nouveau Dictionnaire de l'Académie Française. Dedié au Roy. Paris, 1718.
- Pellisson et d'Olivet, 1858 — Pellisson P. et Olivet P.-J. Thoulrier, abbé d'. Histoire de l'Académie française. T. 2. Paris, 1858.
- Petrequin, 2009 — Petrequin G. Le Dictionnaire français de P. Richelet (Genève 1679/1680). Etude de métaléxicographie historique. Louvain-Paris, 2009.
- Renaud, 1697 — Renaud A. Maniere de parler la langue française selon ses differens styles. Lyon, 1697.

Richelet, 1679—1680 — *Richelet P.* Dictionnaire François, contenant les mots et les choses [...]. T. 1—2. Genève, 1679—1680.

Richelet, 1694 — *Richelet P.* Nouveau Dictionnaire François [...] T. 1. Cologne, 1694.

Richelet, 1710 — *Richelet P.* Nouveau Dictionnaire François [...] T. 1. Genève, 1710.

Richelet, 1719 — *Richelet P.* Nouveau Dictionnaire François contenant généralement tous les mots anciens et modernes, et plusieurs remarques sur la langue française. T. 1—2. Rouen, 1719. Lyon, 1719.

Richelet, 1769 — *Richelet P.* Dictionnaire de la langue française, ancienne et moderne. T. 1. Paris, 1769.

А. Г. Гродецкая,

канд. филол. наук, Институт русской литературы (Россия)

Секция «История зарубежных литератур.

Литературные и исторические судьбы руссоизма.

К 300-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо»

Героиня в конце романа: Руссо, Гончаров, Чернышевский

«Это всё Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим», — произносит в третьей части романа Илья Ильич Обломов, утомленный исполнением роли страстного влюбленного в коротком летнем романе с Ольгой Ильинской [Гончаров, 1998, с. 338]. И далее следует характерное гончаровское окрашенное иронией несобственно-авторское¹ повествование: «Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и всё доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержания, и текло бы тихо, день за днем, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва ползущих явлениях семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать ее широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал ее Штольц» [Гончаров, 1998, с. 338].

Позволю себе напомнить то, что специалистам по творчеству Руссо хорошо известно: мотив заражения оспой «во имя любви» восходит к третьей части «Новой Элоизы» (письмо XIV), где Сен-Пре посещает больную оспой Юлию, стремясь «разделить с ней недуг»,

¹ По наблюдениям В. М. Марковича, у Гончарова в сфере несобственно-авторской речи (сочетающей различные формы речи несобственно-прямой, внутренней и замещенной) «разноречивые интенции, которыми „населено“ двугласное слово, не разделены и ни с одной из них не отождествляется полностью авторская или читательская позиция. При этом очень значительна роль повествовательной иронии, которая ни одной из различаемых здесь смысловых инстанций не позволяет остаться равной себе, обрести непоколебимую твердость (а тем самым — и право на безусловную читательскую солидарность)» [Маркович, 1982, с. 96].

от которого он «не мог ее исцелить» [Руссо, 1961, с. 279]. У постели Юлии Сен-Пре заражается оспой. Эту сцену воссоздает одна из гравюр к роману с авторским названием «L'innaculacion de l'amour» («Заражение во имя любви», или буквально: «Прививка любви») [Руссо, 1961, с. 697, 762].

В романе Гончарова мотив *любви — прививки оспы*, входящий в мотивный комплекс *любви-болезни, любви-аномалии* как нарушения истинной «нормы любви», до последнего времени не был воспринят в качестве очевидной реминисценции «Новой Элоизы». Комментируя процитированные выше строки в издании «Обломова» в «Литературных памятниках», Л. С. Гейро сослалась на текст «Анны Карениной», где тот же мотив *прививки оспы* явился, по ее предположению, толстовским заимствованием у Гончарова¹. В качестве прецедентного мотива² он же (и также без указания комментаторов на источник) присутствует и в романе Чернышевского³.

Стоит отметить попутно, что в гончаровских текстах сильный прецедентный мотив, к какому бы источнику он ни восходил (мифологическому, фольклорному, литературному), как правило, единожды возникнув, многократно варьируется, меняя тональность от лирической до иронической и пародической⁴. В данном случае мотив *любви-болезни* повторяется в 1-й главе четвертой части, когда Илья Ильич обретает покой на Выборгской стороне у Агафьи Пшеницыной: «Он каждый день всё более и более дружил с хозяйкой: о любви и в ум ему не приходило, то есть о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогался, когда вспоминал о ней. Он сближался с Агафьей Матвеевной — как будто подвигался к огню, от которого становится всё теплее и теплее, но которого любить нельзя» [Гончаров, 1998, с. 383].

Любопытно, что и чувство Агафьи к Обломову, которому посвящены в четвертой части романа несколько проникновенных страниц

¹ Ср.: «Возможно, что этот оригинальный образ запомнился Л. Н. Толстому...» [Гейро, 1987, с. 674]. Имеется в виду беседа гостей в салоне Бетси Тверской: «Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо пройти. — Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу» («Анна Каренина», ч. 2, гл. 7).

² Широку трактовку прецедентности см. [Михновец, 2006].

³ С девушками в мастерской Веры Павловны время от времени случаются «обыкновенные истории»: «Это то же, что в старину была оспа, пока не выучились предотвращать ее. Теперь кто пострадает от оспы, так уже виноват сам, а гораздо больше его близкие; а прежде было не то: некого было винить, кроме гадкого поветрия или гадкого города, села, да разве еще того человека, который, страдая оспой, прикоснулся к другому, а не заперся в карантин, пока выздоровеет. Так теперь с этими историями: когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно, только еще не хотят принимать его, все равно как долго, очень долго не хотели принимать и средства против оспы» [Чернышевский, 1975, с. 138].

⁴ См. об этом в содержательной статье [Рипинская, 2004].

(особенно любимых современными исследователями), включается в ряд тех же мотивов-метафор, только ее *любви-болезни* поставлен облегченный диагноз: «Это как-то легло на нее само собой, и она подошла точно под тучу, не птясь назад и не забегая вперед, а полюбила Обломова просто, как будто *простудилась* и схватила *неизлечимую лихорадку*» [Гончаров, 1998, с. 380] (курсив в цитатах здесь и ниже мой. — А. Г.).

Мотив любви-болезни с многочисленными вариациями (оспа, корь, горячка, лихорадка) — один из устойчивых в прозе Гончарова¹, вообще отличающейся постоянством художественных приемов и средств. Он, как правило, выполняет функцию снижения, травестирирования канонического для романтиков образа высокой болезни, безумства страсти, составляющего часть романтического мифа, в формировании которого предромантику Руссо принадлежала значительная роль.

Итак, в переживаемом чувстве герой узнает симптомы романтической *болезни*, что подается Гончаровым с иронией, обнаруживающей, кроме того, и детскость сознания Ильи Ильича, который в нарушившем его покой чувстве стремится найти виноватого. Упоминание «прививки любви» сигнализирует о том, что романная коллизия так или иначе проецируется на «Новую Элоизу».

Речь ниже пойдет главным образом о 8-й главе четвертой части «Обломова» (в специальной литературе получившей название «крымской»), рисующей семейную идиллию Ольги и Андрея Штольцев в их коттедже в Крыму. В романе Чернышевского для нас актуальна только полемическая реакция на «Обломова» (практически не исследованная²), однако реакция, зависящая от узнаваемой и соотносимой с «Новой Элоизой» сюжетной ситуации.

Роман Руссо как один из претекстов гончаровского романа рассматривался неоднократно, при этом «руссоистский текст» в тексте гончаровском обычно трактуется очень широко — от общности и преемственности этико-философской проблематики (как соотношение «обломка» и целого, проблема личностной дробности/целостности) до «руссоистских» прообразов в идиллической топике Обломовки, см.: [Мельник, 1982; Мельник, 1985, с. 31—34; Мельник, 1995; Отрадин, 1994, с. 123—133; Краснощечкова, 1997, с. 260—284 и др.].

Есть, на наш взгляд, основания для осторожного сближения двух этапов сердечного опыта главной героини Гончарова с опытом героини Руссо [ср.: Отрадин 1994, с. 127—133]. Первый опыт Ольги — любовь-страсть, второй — любовь-гармония и идеально счастливый брак, к которому вполне приложимо определение «до-

¹ Болезнью представляется и Марку Волохову в «Обрыве» любовь Райского к Вере: «...я вижу любовь: она, как корь, еще не высыпала наружу, но скоро высыпет...» [Гончаров, 2004, с. 391].

² Только подступы к теме намечены в работах: [Егоров, 1958; Теплинский, 1989, с. 68—69; Гродецкая, 2011].

верие прекрасных душ». Гончаров не допускает свою героиню в ее первом любовном опыте до грехопадения, но к самой его границе подводит. В сюжете «страсти» Обломова и Ольги важнейшую роль играет его музыкальная составляющая — пение Ольгой арии *Casta diva* из оперы Беллини «Норма», благодаря чему переживания героев возвышаются до романтических образцов. «У Гончарова *Casta diva* становится символом любви-страсти, стихийного всепобеждающего чувства, высокой духовности, единения влюбленных. Прозвучавшая в исполнении Ольги ария *Casta diva* помогла „родственным душам“ — ей и Илье Ильичу — сразу узнать друг друга» [Отрадин, 1994, с. 118]. Мысль о высшем предопределении имплицитно присутствует в этом сюжете: фамилия Ольги — Ильинская, ей по закону «избирательного сродства» как будто была уготована роль избранницы Ильи Ильича.

Немало оснований и для сопоставления Штольца с господином де Вольмаром. Степень авторской иронии, постоянно звучащей в первой и второй частях романа и сопутствующей по преимуществу центральному персонажу и его двойникам-обломовцам, в последних частях заметно снижается — ни Штолец, ни Ольга объектом иронии не становятся ни разу. Подобно Вольмару, Штолец в финале романа выступает в роли учителя, мудрого друга-наставника Ольги: «Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко... как теперь, нянчась с этой неумолкающей, вулканической работой духа своей подруги!» [Гончаров, 1998, с. 454]. Супружеская роль Штольца, как и Вольмара, предполагает мудрое понимание и прощение первого сердечного опыта его подруги, чувство вины за который долгое время не оставляет Ольгу. В созидании супругами Штольцами «разумного существования», в гармонии сердца и разума, чувственно-страстного и возвышенно-духовного начал, которые реализует их счастливый союз, очевидно влияние просветительских идей.

Что еще в «крымской» главе определяется руссоистским кодом? Изображение жизни Штольцев в Крыму сочетает, как и в романе Руссо, элементы идиллии и утопии¹. Идиллическая топика в обоих романах маркирована. Кларан в «Новой Элоизе» — «чудесный, уединенный уголок», «райский уголок», в «Обломове» — «тихий уголок на морском берегу». Обитателям «очаровательного жилища» в Кларане чужда роскошь: «...здесь нет великолепия лишь потому, что им пренебрегают <...> оно состоит не в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, в согласованности его частей и единстве замысла устроителя» [Руссо, 1961, с. 474—475]. Ср. у Гончарова: «Скромн и невелик был

¹ См.: [Лукьянец, 1999, с. 65]; о разных аспектах восприятия утопии Кларана (консервативная, хилиастическая утопия и др.) см.: [Занадворова, 1993, с. 46—47, 133].

их дом. Внутреннее устройство его имело так же свой стиль, как наружная архитектура, как всё убранство носило печать мысли и личного вкуса хозяев. <...> Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнорядицу мебели... везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы» [Гончаров, 1998, с. 446—447]. Идиллика в обоих текстах явлена как во временных (циклическое, длящееся время), так и в пространственных (конкретность, локальность «уголка») координатах.

Понятно, что репрезентация идеальной действительности Кларана у Руссо полнее, подробнее, многообразнее, чем у Гончарова, жизни в Кларане посвящена целиком пятая часть «Новой Элоизы». Это те полнота и разносторонность, которые «придают миру счастливых человеческих отношений основательность» [Лукьянец, 1999, с. 36]. Счастливые отношения и счастливый быт не только супругов, но детей и родителей (семейные связи, по Руссо, служат отражением природного начала), гармонические отношения друзей, соседей, прислуги вписаны в совершенно гармоничный мир счастливых поселян: «Кларан — это государство в миниатюре, изображенное в соответствии с идеалами автора» [Занадворова, 1993, с. 47]. Поскольку повествование ведется в письмах, то все подробное многообразие отношений героев с природно-социальным миром, отношений «деятельной доброты», не только изображается, причем с разных, хотя и созвучных, точек зрения, в письмах-трактатах развернута и этико-философская программа этих отношений.

С особой миссией героини Руссо — мудрой матери, следующей в воспитании детей идеям природно-социальной гармонии, ассоциируются в тексте «крымской» главы «грезы» Штольца: «Вдали ему опять улыбался новый образ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери-няньки..., а что-то другое, почти небывалое... Ему грезилась мать — создательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения» [Гончаров, 1998, с. 455].

Но именно в ситуации семейно-природной идиллии Кларана героиню Руссо настигают «тайная тоска», «скука», «томление», чувство «отвращения к благополучию». «Переживания Юлии настолько сложны, — замечает Т. Л. Занадворова, — что читателю нередко трудно различить, где истина, а где заблуждения» [Занадворова, 1993, с. 58]. «Жить без борения человеку не свойственно, такая жизнь все равно что смерть, — признается Юлия в VIII письме шестой части. — Тот, кто, не будучи богом, обладал бы всемогуществом, оказался бы несчастнейшим созданием — он лишился бы удовольствия желать, а легче перенести всякое иное лишение.

Вот и я со времени моего замужества и со дня возвращения вашего испытываю отчасти то же самое. Все вокруг должно меня радовать, а радоваться не могу. Тайная тоска закралась в душу, такая в ней пу-

стота и сердце все щемит, — словом, то же, что вы говорили о себе. Привязанности моей ко всем дорогим мне существам недостаточно, чтобы она целиком захватила меня, — еще остается у меня бесполезная сила, и я не знаю, куда девать ее. Непонятное горе, — сознаюсь в этом, но я действительно страдаю, друг мой, я слишком счастлива, счастье наскучило мне.

Знаете ли вы какое-нибудь средство против отвращения к благополучию? Это чувство, столь безрассудное и совсем невольное, во многом отняло цену у жизни, меж тем как прежде я ею так дорожила. Я не могу себе представить, найдутся ли в жизни такие радости, коих у меня нет и кои дали бы мне удовлетворение. Быть может, другая женщина на моем месте была бы более чувствительна, чем я? <...> Может быть, она была бы лучше защищена от скуки и более крепкие нити привязывали бы ее к миру? И все же меня терзает тревога: сердце не знает, чего ему недостает, и смутные желания томят его.

Не находя на земле радости себе, душа моя жадно взыскует ее в ином мире; возносясь к источнику всех чувств и самого бытия, она освобождается от своего томления, от тоски своей, она возрождается, оживает, обретает новые силы и познает там новую жизнь; она получает новое существование, чуждое плотских страстей, или, вернее, она уже не во мне, она вся растворяется в том беспредельном существе, которое она созерцает, освободившись на мгновение от пут своих, а когда снова чувствует их на себе, утешается мыслью, что изведала состояние блаженства и исполнилась надежды на недалекое и вечное вступление в него» [Руссо, 1961, с. 614—615].

Сравним с этой душевной исповедью Юлии состояние героини Гончарова в обстановке крымской идиллии: «Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она ни старалась сбить с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет да подкрадется сначала греза счастья... затем... смущение, боязнь, *томление, какая-то глухая грусть*, послышатся какие-то смутные, туманные вопросы в беспокойной голове.

Ольга чутко прислушивалась, пыталась себя, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа, а только просит и ищет чего-то, даже будто — страшно сказать — *тоскует*, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед... <...> Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ, но какой? <...>

— Что же это? — с отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась *скупна*, равнодушна ко всему в прекрасный, задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа...» [Гончаров, 1998, с. 456—457].

Мудрым утешителем Ольги в ее душевных тревогах выступает Штольц: «Нет, твоя грусть, томление — если это только то, что я думаю, — скорее признак силы... Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне... <...> Это расплата за прометеев огонь! Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы: они — переполненный избыток, роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний; они не рождаются среди жизни обыденной: там не до того, где горе и нужда. <...> Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего, и с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь... <...> Мы не титаны с тобой, — продолжал он, обнимая ее, — мы не пойдём, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и...»

— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить всё больше, больше?... — спрашивала она.

— Что ж? примем ее как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... <...> Он не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками» [Гончаров, 1998, с. 460–462].

Переживаниям гончаровской героини в финале романа В. А. Недзвецкий посвятил статью «Тоска Ольги Ильинской в „крымской“ главе романа „Обломов“: интерпретации и реальность» [Недзвецкий, 2008]. Попыток интерпретации тоски-томления главной героини романа как в критике, так и в исследовательской литературе было предпринято немало, их, собственно, и приводит в своей статье В. А. Недзвецкий. Первую интерпретацию, как известно, предложил Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?», появившейся в № 5 «Современника» за 1859 г., т. е. спустя месяц после публикации романа. «Автор не раскрыл пред нами, — писал о героине романа критик, — ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. <...> Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него» [«Обломов» в критике, с. 67–68]. Фактически повторил мысль Добролюбова Д. Н. Овсяннико-Куликовский, писавший о стремлении Ольги «к разумной деятельности и плодотворной общественной работе»: «Спокойная, тихая, счастливая жизнь пугает ее, как призрак обломовщины, как болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человека» [«Обломов» в критике, с. 264]. Той же причиной объяснял

«томление» героини Гончарова и Р. В. Иванов-Разумник: «Ольга сама не понимает, что это с нею творится, а Гончаров, конечно, не позволяет ей догадаться, что хандра ее есть неизбежная реакция живого человека против мертвящей суши этического мещанства...» [«Обломов» в критике, с. 270]. Среди интерпретаций, учтенных В. А. Недзвецким, заслуживает внимания мнение Вс. Сечкарева, высказанное в его изданной в 1974 г. англоязычной монографии о Гончарове. Он видит в состоянии героини проявление «экзистенциальной скуки, которая охватывает человека в тот момент, когда он достиг абсолютного удовлетворения, пустоты, которую чувствует современный интеллект, которому доступны все материальные блага, но который не способен найти ответ на коренные вопросы и мучим очевидной бессмысленностью жизни» [цит. по: Недзвецкий, 2008, с. 79].

Убедившись в неполноте или же неточности большинства предложенных интерпретаций «тоски» гончаровской героини, В. А. Недзвецкий предложил собственную, основанную на анализе литературно-философских и мифологических прообразов «мятежной» ситуации, которая благодаря словам Штольца («Мы не титаны с тобой...») обрела «литературность», ориентацию на опыт героев Байрона и Гете и миф о Прометее. Однако не упомянутое В. А. Недзвецким имя Руссо должно, безусловно, предшествовать именам бурных гениев. Тоска, томление, скука гончаровской героини исключительно близка состоянию героини Руссо в конце романа, и именно и именно «Новая Элоиза» открывает путь к самой убедительной, на наш взгляд, из всех возможных интерпретаций.

Почему наконец заслуживает сопоставления с «Обломовым» роман Чернышевского? Рецензии на роман Гончарова Чернышевский так и не написал, хотя известно, что такое намерение у него было, см.: [Егоров, 1958, с. 321; Гродецкая, 2011, с. 148]. Из его немногочисленных высказываний о Гончарове, как правило, цитируют единственное, сводящееся к тому, что Гончаров «не понимал смысла картин, которые изображал» [Чернышевский, 1948, с. 872]¹. Не обнаруживаются ли в «Что делать?» пояснения к «картинам» Гончарова, им не понятым? Допуская известное упрощение, можно сказать, что Чернышевский воспроизводит фабульную схему «Обломова»: Вера Павловна Розальская-Лопухова-Кирсанова, полюбив одного из двух друзей (и выйдя за него замуж), позднее соединяет свою жизнь со вторым. Однако и Лопухов, явившись из Англии преуспевающим Бьюмонтом, находит счастье с Катей Полозовой. В итоге в романе счастливы обе супружеские пары, как счастливы (в ином, разумеется, осмыслении) две супружеские пары в «Обломове». Навязчивость картин семейного счастья в «Что делать?», помимо счастливой утопии

¹ О контексте этого высказывания см. [Гродецкая, 2011].

«Четвертого сна», побудила Страхова назвать свою критическую статью о романе, который «учит, как быть счастливым», — «Счастливые люди» [Чернышевский, 2008, с. 555—576]¹.

Поразительно приближенным к ситуации в «Обломове» и едва ли случайно дублирующим загадочное «томление» Ольги Ильинской в конце романа представляется возникающее в безоблачно-счастливом втором браке Веры Павловны непонятное ей поначалу и необъяснимое «недовольство»: «Не очень часто вспоминает Вера Павловна прошлое своей нынешней любви; да, в настоящем так много жизни, что остается мало времени для воспоминаний. Но когда вспоминает она прошлое, то иногда — сначала, точно, только иногда, а потом все постояннее — при каждом воспоминании она чувствует недовольство, сначала слабое, мимолетное, неопределенное, — кем? чем? — вот уж ей становится видно, кем: она недовольна собою, за что же? <...> И какой странный характер стал замечен в этом чувстве, когда стал выясняться его характер: будто это не она, Вера Павловна Кирсанова, лично чувствует недовольство, а будто в ней отражается недовольство тысяч и миллионов; и будто не лично собою она недовольна, а будто недовольны в ней собою эти тысячи и миллионы. Кто ж эти тысячи и миллионы? за что они недовольны собою? Если бы она по-прежнему жила больше одна, думала одна, вероятно не так скоро прояснилось бы это; но ведь теперь она постоянно с мужем, они все думают вместе, и мысль о нем примешана ко всем ее мыслям. Это много помогло ей разгадать свое чувство. Прямо он сам нисколько не мог разъяснить эту загадку: пока чувство было темно для нее, для него оно было еще темнее; ему трудно было даже понять, как это возможно иметь недовольство, нисколько не омрачающее личного довольства, нисколько не относящееся ни к чему личному. Это было для него странностью, во сто раз более темною, чем для нее» [Чернышевский, 1975, с. 256].

В полемике, надо полагать, с Гончаровым, чьей героине ее странное состояние разъясняет Штольц, Чернышевский предлагает собственный рецепт, призванный излечить Веру Павловну от недуга. Если смысл «картины» у Гончарова остался «не понят», то у Чернышевского он конкретен и ясен. Помимо швейных мастерских, Вера Павловна начинает вслед за мужем заниматься медициной и, преуспев в этом, от «недовольства» легко излечивается. Замечателен по-своему и, возможно, введен Чернышевским в текст романа как аллюзия на сцену из гончаровского романа (где Штольц вместе с Ольгой размышляет о том, что они «не титаны») диалог Веры Павловны с Кирсановым, в котором ведущая партия в разъяснении «тайны жизни» принадлежит

¹ Ср.: «Роман, конечно, написан сказочно, написан для прославления своих героев...»; «...устройство семейных отношений у г. Чернышевского причудливо до забавного и смешного» [Чернышевский, 2008, с. 574, 596].

не учителю-мужчине, но женщине: «Рахметовы — это другая порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь. А нам, Саша, недоступно это. *Мы не орлы*, как он. Нам необходима только личная жизнь. Мастерская — разве это моя личная жизнь? Это дело — не мое дело, чужое. Я занимаюсь им не для себя, а для других; пожалуй, и для моих убеждений. Но разве человеку, — такому, как мы, не орлу, — разве ему до других, когда ему самому очень тяжело? Разве его занимают его убеждения, когда его мучат его чувства? Нет, нужно личное дело, необходимое дело, от которого зависела бы собственная жизнь, такое дело, которое лично для меня, для моего образа жизни, для моих средств к жизни, для всего моего положения в жизни, для всей моей судьбы было бы важнее всех моих увлечений страстью, только такое дело может служить опорой в борьбе со страстью; только оно не вытесняется из жизни страстью, а само заглушает страсть, только оно дает силу и отдых. Я хочу такого дела» [Чернышевский, 1975, с. 289].

Резонирующие с финалом «Новой Элоизы» сюжетные ситуации у Гончарова и Чернышевского свидетельствуют о той огромной ценности, которую имел для обоих писателей психологизм Руссо.

Литература

Гейро, 1987 — Гейро Л. С. Примечания // Гончаров И. А. Обломов: Роман в четырех частях / Изд. подготовила Л. С. Гейро. Л., 1987. С. 647—692. (Сер. «Лит. памятники»).

Гончаров, 1998 — Гончаров И. А. Обломов: Роман в четырех частях // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1998. Т. 4.

Гончаров, 2004 — Гончаров И. А. Обрыв: Роман в пяти частях // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 7.

Гродецкая, 2011 — Гродецкая А. Г. О рецензии на «Обломова», не написанной Чернышевским // Обломов: константы и переменные: Сб. науч. статей. СПб., 2011. С. 148—153.

Егоров, 1958 — Егоров Б. Ф. Кого пародировал Н. Г. Чернышевский в рецензии на книгу Н. Готорна? // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 321—322.

Занадворова, 1993 — Занадворова Т. Л. Жан-Жак Руссо: Художественный метод, традиции. Екатеринбург, 1993.

Краснощекова, 1997 — Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.

Лукьянец, 1999 — Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века: (автор, герой, сюжет). СПб., 1999.

Маркович, 1982 — Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века: (30—50-е годы). Л., 1982.

Мельник, 1982 — Мельник В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» // Русская литература. 1982. № 3. С. 81—99.

Мельник, 1985 — Мельник В. И. Реализм Гончарова. Владивосток, 1985.

Мельник, 1995 — Мельник В. И., Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995.

Михновец, 2006 — *Михновец Н. Г.* Прецедентные произведения и прецедентные темы в диалогах культур и времен. Место и роль прецедентных явлений в творчестве Ф. М. Достоевского: Монография. СПб., 2006.

Недзвецкий, 2008 — *Недзвецкий В. А.* Тоска Ольги Ильинской в «крымской» главе романа «Обломов»: интерпретации и реальность // И. А. Гончаров: Материалы Междунар. науч. конф. Ульяновск, 2008. С. 73—86.

«Обломов» в критике — Роман И. А. Гончарова в русской критике: Сб. статей / Сост., авт. вступ. ст. и комментариев М. В. Отрадин. Л., 1991.

Отрадин, 1994 — *Отрадин М. В.* Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.

Руссо 1961 — *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 2.

Теплинский, 1989 — *Теплинский М. В.* Литературные реминисценции в романе «Что делать?» // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1989. Вып. 11. С. 67—78.

Чернышевский, 1948 — *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 13.

Чернышевский, 1975 — *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975 (Серия «Лит. памятники»).

Чернышевский, 2008 — Н. Г. Чернышевский: *Pro et contra: Личность и творчество* Н. Г. Чернышевского в оценке русских писателей, критиков: Антология. СПб., 2008.

Рипинская, 2004 — *Рипинская Е.* Русский реалистический роман: мотив и сюжет (И. А. Гончаров. «Обрыв»: опыт анализа риторической организации романа) [http://www-old.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/NUM_11/HTML/page027.html]

В. Е. Добровольская,

канд. филол. наук, Государственный республиканский центр русского фольклора МК РФ, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Россия)

Секция «Фольклор новейшего времени, постфольклор и проблемы традиции»

Розы и конфеты или колье и меха: запреты и предписания, связанные с подарками (прошлое и настоящее традиции)

В нашей работе рассматриваются правила дарения подарков и изменения этих правил на протяжении XX—XXI вв. в городской культуре. В работе используются записи, сделанные в последние 25 лет, от жителей Москвы, Смоленска и ряда городов Московской, Ивановской и Ярославской областей 1910—1990-х г. р. Наши информанты — это в основном представители рабочего класса и служащие (врачи, учителя, инженеры), а также студенты и преподаватели вузов.

В жизни человека существует ряд ситуаций, во время которых принято делать подарки или принимать их. В данной статье мы рас-

смотрим только одну ситуацию дарения, а именно подарки, которые делает мужчина, ухаживая за женщиной.

На протяжении XX в. можно выделить два периода, различающиеся по типу подарков девушкам: это 20—80-е гг. и период, началом которого стала перестройка и который длится до настоящего времени.

Рассказывая о правилах дарения в первый из названных периодов, наши респонденты с уверенностью говорят о том, что «если за девушкой кто ухаживать начинает, то он обязательно подарочки ей дарить должен, хоть пустячок какой, а должен» (КПД, 1921). Отсутствие подарков в период ухаживания может свидетельствовать о бедности или жадности ухажера, но иногда отсутствие подарков свидетельствует об отсутствии чувств к девушке: «Вот у нас случай был. За дочкой вот сосед парень ходить начал, ходить ходит, а вот ни единой фитюльки ей не подарил. А время было послевоенное и все как-то бедно жили и думали сначала, что он просто нуждается очень, все-таки студент, потом стали думать, что жадный. А потом его увидели с другой, а потом — с третьей. И стало понятно, что он Зойку-то и не любил. Это уж верная примета — если мужик подарка не носит, значит, он тебя не любит» (ЕАП, 1931). Считается также, что если мужчина не дарит подарки, то он думает только о сексуальных контактах с девушкой: «Это уж вот примета верная, если парень за девчонкой ходит, а подарков не носит, вот хоть каких, значит, он с ней переспать хочет и боле ничего» (АПС, 1935). Если мужчина одаривает девушку подарками сверх меры, то это свидетельствует о том же: «Ой, бывает парень девчонку подарками закидал, прям вся одарена — это значит он с ней переспать хочет, вроде как он ее покупает» (ВСС, 1918).

Как писала в своем романе «Унесенные ветром» М. Митчелл, приличная девушка может принять от мужчины в подарок «...только конфеты и цветы... книгу стихов, или альбом, или маленький флакончик туалетной воды... перчатки... носовые платки...» [Митчелл, 2007, с. 129]. Этот набор предметов, за исключением туалетной воды, перчаток и носовых платков, был «приличным» подарком для русской городской девушки до 80-х гг. XX в.

Перчатки не было принято дарить потому, что они относятся к вещам, для которых важен размер, т. е. в этом видели некий намек на интимность, поскольку размер одежды, обуви, белья должен знать только муж или любовник. Носовые платки в русской традиции связаны с горем и слезами, если их дарят, то за них нужно отдать денежку.

В то же время головные платки были одним из самых ходовых подарков девушке до 70-х гг. XX в.: «Я помню, Миша за мной только ухаживать начал. Мы с ним на пяточке познакомились в парке Горького. И вот только вот он за мной ухаживать начал, ну может первый

месяц. И вот 1 Мая и он мне платочек подарил. Вот ничего не осталось из довоенного, а вот этот платочек я берегла. Сколько он мне этих платочков надарил, но тот я хранила. Я ведь его почему-то и не носила совсем. А платки очень любила. В наше время считалось, что если молодой человек платок подарил, то значит у него серьезные намерения» (ВАИ 1920). Считалось, что платок не должен был быть дорогим по стандартам времени дарения. Так, в 1920—1940-е гг. это мог быть только хлопчатобумажный платок, дарение шелкового платка могло привести к разрыву отношений: «За мной ухаживал один. И подарил мне платок такой шелковый, очень тогда красивые были. Я помню, я так обиделась. За кого он меня принимает. Я ему что, гулящая что ли. И больше мы с ним не встречались. Кто же такой платок дарит дорогой, только если чего хочет и считает, что ты такая» (ОМЕ, 1919). Постепенно ситуация изменилась, и к 1950-м гг. шелковый платок стал уже вполне допустимым подарком.

Несколько иная ситуация связана с туалетной водой. До 60-х гг. XX в. духи и одеколоны советского производства юноша мог подарить девушке. Но это был подарок, связанный с переходом из статуса друга в статус жениха. Причем и в этом случае дарили не любую парфюмерию. Предпочтение отдавалось одеколону, среди которых лидером был «Красный мак». С 1960-х гг. стали дарить духи с так называемыми повседневными запахами типа «Ландыш серебристый», «Белая акация», «Рижская сирень», «Огни маяка» и т. п. Подарить девушке «Злато скифов» или «Красную Москву» было стратегической ошибкой. Почти всегда отношения разрывались и подарок возвращался: «Я с таким парнем рассталась из-за „Красной Москвы“. Он за мной ухаживал и все нормально. За ручку водил, в кино там, в театр. Цветочки, конфеты. И вот уже вроде как предложение делает и подарил мне флакон „Красной Москвы“. А тогда же это что-то необыкновенное было. На самом видном месте ставили. Дорогие. И я так обиделась. “За кого, — думаю, — он меня принимает, за гулящую какую”. Я девушка приличная была, ничего себе не позволяла, а тут — „Красная Москва“. Я этот флакон ему в руки сунула и убежала. Больше с ним не встречались. Кто же „Красную Москву“ девушке дарит» (ЕЧН, 1940).

С 1960-х гг. недопустимым подарком для девушки становятся французские духи, в то время как продукция отечественного производства превращается в «нормальный приличный подарок»: «У меня очень забавно было. У меня же папа ездил и мне на 16 лет первые французские духи подарили, как сейчас помню „Сиким“ («Сикким» (Sikkim). — В. Д.). И потом дарили всегда. Я про советские ничего и не знала. И вот парень за мной ухаживать стал, хороший, но родители у него папа инженер, мама учительница, добрые такие люди. Он мне предложения не делал, но ухаживал, конфетно-букетный период. И он мне на день рождения подарил „Клема“ («Клима» (Climat). — В. Д.), а я приняла. А его мама об этом узнала, и мне было отказано от дома.

Она сказала, что я легкого поведения, раз могу принимать от мужчины такие подарки. Приличная девушка бы никогда не приняла. А мне и в голову не пришло, что это не прилично. У меня же других духов и не было никогда» (ЕНС, 1959).

Книга до 1960-х гг. была подарком друга, но не любимого. Книгу мог подарить одноклассник, но никак не «мальчик с которым ходят»: «Нас во дворе много было, были симпатии конечно, но, в общем, все дружили гуртом. К друг другу на дни рождения ходили и тут лучший подарок книга. Но вот если девочка нравилась, то книгу не дарили, старались что-нибудь особенное, чаще всего конфеты или чашку, ну а там уж что придумаешь. Книга это вроде как ты к ней по-простому относишься, как ко всем» (АДН, 1933). С 1960-х гг. ситуация несколько изменилась, девушке из определенной социальной среды юноша мог подарить книгу, но не любую. Подарком любимой мог стать томик стихов поэтов Серебряного века или поэтов-шестидесятников, а также альбомы по искусству: «Ну, что ты, подарки конечно дарили. Девушки у нас в институте какие были? Чего говорить, Джойса, Кафку и Пруста можно сказать в оригинале читали. Все в этих юбках, все на каблуках целый день, и с выставки на поэтический вечер, ну не Сафронова же ей дарить, я просто даже затрудняюсь представить, куда бы меня с таким подарком послали. Дарили Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулину, альбомы по искусству. Я можно сказать Чурленису своей семейной жизнью обязан. За Ленкой много ухаживало и она выбирала, а я ей из Литвы привез альбом, и она меня выбрала...» (МСА, 1947).

Безусловно, приемлемым подарком могли быть конфеты и букеты. В 1920—1940-е гг. букеты были самые простые и соответствующие сезону. С большой осторожностью нужно было дарить девушке розы и георгины: «Мой муж очень любил георгины, но они ему чуть не стоили отказа от дома. У меня был день рождение (в данном случае так звучит на записи. — В. Д.), а он за мной ухаживал и вот пришел и принес букет георгин, ну штук пять наверное, красных. Но они же огромные и букет был огромный, и прямо скажем, вульгарный. Но богато. Так мой брат его чуть из дома не выгнал, потому что неприлично считалось девушке такой букет дарить, вроде как она доступная очень» (ОВД, 1923). Красные розы также считались не очень удачным подарком: «Все говорили в наше время, что красные розы только жене дарить можно, а девушке нужно розовые, а то ты ее вроде как доступной считаешь. Белые невесте на свадьбу, а розовые — пока ухаживаешь» (ПГВ, 1927).

Конфеты были подарком надежным и проверенным временем. В 1920—1930-е гг. чаще дарили шоколад, позже развесные конфеты «Мишка на Севере», «Трюфели» и т. п. Особой романтикой считалось прийти на свидание с коробкой тянучек: «Когда он за мной ухаживал, бедно все жили. Но девушке на свидание было принято приносить

какой-то подарочек. И вот Коля однажды пришел и принес коробочку тянучек, такие были беленькие, розовенькие и шоколадные. Очень такой нежный подарок. Приличный и в то же время внимание девушке оказал» (ВДС, 1920). Постепенно как подарок стали рассматриваться только конфеты в коробках («Ассорти», «Родные просторы», «Вечерний звон»). Особым шиком считался «Театральный набор» и «Южный орех». Когда в 1970-х гг. появился шоколад «Вдохновенье», именно он стал рассматриваться как лучший подарок девушке — элегантный и приличный, в отличие от конфет в коробках, которые хотя и были приличными подарками, но считались «простецкими, без шика какого-то, вроде как номер отбывает. А если парень «Вдохновенье» подарил, то, значит, он понимает, что ты не Маруся с ткацкой фабрики, а интеллигентная девушка из приличной семьи» (ААА, 1954).

Еще одним подарком является чашка. Особенно устойчивым этот подарок был в 1920—1960-е гг., а затем из разряда подарков юношей девушкам перешел в семейные подарки женщинам семьи: «У нас вот было принято дарить на дни рожденья или на именины чашки, только женщинам. Считался очень хороший подарок. Мы ждали всегда — какую чашку в этом году подарят» (МПО, 1940). В зависимости от того, какую чашку дарили, можно было определить социальный и образовательный статус человека. Изящные изделия Ленинградского фарфорового завода не пользовались популярностью у среднестатистического советского мужчины. Желанными были изделия Дулевского фарфорового завода с огромными розами и обилием позолоты. «В наше время было принято чашки дарить девушкам. И у меня дома можно сказать коллекция собралась чашек. Знаешь, хороший фарфор, но роспись — это что-то. А дед у меня книжный график, отец художник по тканям, мама тоже — они просто рыдали, глядя на эти сокровища. И вдруг, это где-то в середине 60-х было, паренек за мной стал ухаживать и подарил на Новый год чашку — беленькую такую, тонкую-тонкую и в черных таких крапочках-снежинках, Ленинград, а не Дулево. И я сразу поняла, что этот — моя судьба. И его вся семья приняла, потому что правильную чашку подарил. Я же не из деревни, а из старой московской семьи. Так мы и поженились и он мне всегда на годовщину свадьбы элфэзешные чашки дарит» (ЕАМ, 1947).

Совершенно недопустимым подарком было нижнее белье. Подарок такого рода был столь неуместным, что всегда осуждался: «Вот дядя Леша, он был очень близкий друг папы и мамы. Он большой очень начальник был и вот ездил за границу часто. Он в торгпредстве работал, кажется. И вот он привозил нам с сестрой подарки. Сначала кукол там, игрушки. С обувью плохо было — туфельки нам привозил. Маме всегда духи. Потом мы выросли, и он нам вот джинсы привозил, кофточки какие-то. Но мы взрослые коровки были. Он спрашивал довольно часто — что нам привезти. И вот мы

однажды сказали — трусы „Неделька“. Это же такой шик был. Он как-то удивился, а мама нас потом так ругала. В какое положение мы дядю Лешу ставим. Все же подумают, что он с нами спит, раз мы у него белье можем просить. Значит вот неприлично белье просить у мужчины. А если мужчина белье дарит, значит у тебя с ним какие-то отношения, значит, ему с тебя это белье и снимать» (МГО, 1964). Как видно из данного примера, даже близкий друг семьи не должен был дарить девушкам белье, поскольку это рассматривается как указание на определенные сексуальные отношения.

К таким же запретным подаркам относятся ювелирные украшения. Кольцо, цепочку или сережки мужчина мог подарить либо на официальной помолвке в присутствии родителей девушки и своих родственников, когда уже договаривались о свадьбе, либо на самой свадьбе как первый подарок жене.

Таким образом, до начала перестройки с известными оговорками подарком для девушки были цветы, конфеты, духи, головные косынки и чашки. Совершенно недопустимыми подарками считалось нижнее белье и ювелирные украшения. Безусловно, могли быть и другие подарки, но они носят индивидуальный характер.

В настоящее время ситуация кардинально поменялась.

Прежде всего изменилось отношение к набору предметов, которые могут стать подарком. Остались цветы, конфеты и духи, но все остальное ушло в прошлое. С оставшимися предметами также произошли изменения. Цветы дарят теперь круглый год, а букет должен отвечать критерию «богато»: «Ты представляешь, он мне три розочки принес — только три цветка, даже как-то перед девчонками было неудобно. Они мне подружки, а принесли букеты, а он вроде как мой парень, а три розы. Нет, они красивые были, большие — но неужели он их упаковать не мог. Чтоб все видели, что букет, а не абы что» (КА, 1990). Соответственно для богатых букетов не подходят полевые цветы: «Он ромашки принес с колокольчиками — такая сельская жизнь, это даже неприлично как-то. Можно подумать, что у него денег на нормальный букет нет. Как будто я не его любимая девушка, а Марфутка какая-то» (АЕ, 1993). Основу букета любимой девушки составляют розы, лилии, ирисы, герберы и некоторые другие цветы. Но для современного подарка любимой важны не сами цветы, а упаковка букета: «Я сразу поняла, что он меня любит, еще на первом свидании, когда он букет принес. Там были розы такие палевые, лилии, и какие-то листья серебряные, и мелкие такие беленькие цветочки. И вот все это с бантиками и бусинки так красиво с травинок свисали, и бабочки из перьев. И все это в такой серебряной сетке с блестками и бусинами. Очень красиво — видно, что любимой девушке букет» (ДП, 1993).

Что касается конфет, то их ассортимент резко сократился. В подарок девушке принято дарить конфеты ручной работы или близ-

кие к ним. Опять же важно не столько качество конфет (хотя чаще всего это качественный шоколад), а их цена и упаковка: «Если тебе девчонка нравится, то ты ей конфеты должен подарить. Можно конечно и в магазине купить, но тоже не абы какие. Можно „Комильфо“, „Файзеровские“ какие-нибудь, „Линд“, „Старая открытка“ вот сейчас. Они должны быть в коробочке и лежать, а не, знаешь, так насыпаны, как на развес. А лучше всего ручной работы купить, они и дороже и упаковку они красивую делают. Там в виде сердечка с розами или как» (ПР, 1992).

Что касается духов, то тут выбор огромен. В принципе, можно подарить любые духи, но опытные молодые люди уверенно говорят, что «если духи девушке даришь, то посмотри на флакон. Чем навороченей, тем лучше подарок» (МЕ, 1990). На вопрос о запахе говорят: «Запах это не важно, ну как тут попасть. Я вот, например, запах ландышей на девушках люблю, но флакон у них такой невзрачный, у „Диорисима“ («Диориссимо» (Diorissimo). — В. Д.) у этого, поэтому дарю „Шалимар“, у него с кисточкой, по флакону ориентируюсь» (АН, 1989). Удивительно, но девушки тоже считают, что в духах, которые тебе дарят, главным является флакон: «Я сама себе могу купить духи, которые мне по запаху подходят, а он мне пусть красивые дарит, чтоб все видели, что любит и денег на меня не жалеет» (АС, 1991).

Как видно, из примеров, подарок в современных условиях должен своим внешним видом говорить о своей цене и, соответственно, о финансовых возможностях претендента на девичью руку и сердце.

То, что до 1990-х гг. было совершенно недопустимым подарком, сейчас становится главным в подарочном наборе. Белье и ювелирные украшения считаются лучшими подарками. Белье должно отвечать критерию, который в женских устах звучит так: «Оно должно быть шелковым, все в кружевах и бантиках» (ТГ, 1991), а в мужских: «Чтoб снимать было приятно» (КК, 1989). Причина такого выбора объясняется следующим: «Если он мне такое белье подарил, то, значит, он меня такой сексуальной и желанной видит» (ТГ, 1991).

Ювелирные украшения как раз не отличаются ни ценой, ни качеством — они просто должны быть подарком: «Каждой приличной девушке ее молодой человек должен подарить колечко или цепочку, или сережки, а если нет — значит, он ее не любит» (АГ, 1990). Но особые счастливицы получают от поклонника в подарок очень дорогие, эксклюзивные вещи — кольцо, серьги, кольца с дорогими камнями.

Еще одним подарком являются меха. Это желанный подарок для девушки, хотя он еще не вошел в активный обиход. Но в записях последнего времени шубка — это приличный подарок любимой девушке на Новый год или день рождения.

Таким образом, в современных условиях подарок становится предметом демонстрации благополучия, как потенциального жениха, так и самой девушки: «Если он ей такие подарки дарит, то, значит, есть

за что. А и правда есть: она красивая и умная, и на работу хорошую устроилась...» (АС, 1991). С другой стороны, такие подарки рассматриваются как денежные вложения, выгодные как юноше: «Я ей подарки дарю, чтобы она знала, что у нас все серьезно, что это я ей могу купить и она со мной может быть спокойна» (ПР, 1992), так и девушке: «Если он мне такие подарки дарит, то значит он обеспеченный и меня содержать сможет» (АГ, 1990).

И хотя большинство наших респондентов на прямой вопрос о том, можно ли рассматривать подарок как средство покупки сексуального контакта, отвечали отрицательно, в большинстве размышлений о подарках звучала именно тема обмена подарка на сексуальный контакт: «Почему же не прилично, если бы я с ним не спала, тогда наверное сережки эти были бы неприличными, а я с ним сплю, он мне и подарил» (СМ, 1988) или «Чего же неприличного в том, что ты любимой девушке бельишко подарил, ты его потом с нее и снимаешь, и ей приятно и тебе. Ты ей бельишко, она тебе чмоки-чмоки и все такое прочее» (АВ, 1987).

Таким образом, то, с чем так боролись девушки прошлого и чего так боялись юноши, т. е. того, что подарок может рассматриваться как намек на покупку сексуальных контактов, намек на то, что девушка отличается вольными нравами и не соответствует образу «комсомолки, спортсменки и просто красавицы», в настоящее время становится совершенно естественным, подарок становится неким эквивалентом денег, за которые мужчина покупает понравившуюся ему девушку или ее расположение, и уже нельзя сказать, что молодые люди этого не осознают, хотя пока еще открыто не декларируют это.

Литература

Митчелл, 2007 — Митчелл М. Унесенные ветром. М.: АСТ, 2007.

Список исполнителей

- ААА, 1954 — жен., образование высшее, преподаватель ВУЗа, г. Смоленск.
 АВ, 1987 — муж., образование неполное высшее, студент, г. Смоленск.
 АГ, 1990 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Москва.
 АДН, 1943 — муж., образование высшее, инженер, г. Иваново.
 АЕ, 1993 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Москва.
 АН, 1989 — муж., образование неполное высшее, студент, г. Смоленск.
 АПС, 1935 — жен., образование среднее специальное, лаборант, г. Ярославль.
 АС, 1991 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Москва.
 ВАИ, 1920 — жен., образование среднее специальное, продавец, г. Руза.
 ВДС, 1920 — жен., образование среднее специальное, строитель, г. Коломна.
 ВСС, 1918 — жен., образование высшее, врач, г. Можайск.
 ДП, 1993 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Смоленск.
 ЕАМ, 1947 — жен., образование высшее, инженер, г. Москва.
 ЕАП, 1931 — жен., образование среднее, продавец, г. Коломна.

- ЕНС, 1959 — жен., образование высшее, учитель, г. Коломна.
 ЕСН, 1940 — жен., образование высшее, врач, г. Смоленск.
 КА, 1990 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Москва.
 КК, 1989 — муж., образование неполное высшее, студент, г. Иваново.
 КПД, 1921 — жен., образование среднее специальное, бухгалтер, г. Москва.
 МГО, 1964 — жен., образование высшее, преподаватель ВУЗа, г. Москва.
 МЕ, 1990 — муж., образование неполное высшее, студент, г. Коломна.
 МПО, 1940 — жен., образование среднее специальное, ткачиха, г. Иваново.
 МСА, 1942 — муж., образование высшее, преподаватель ВУЗа, г. Смоленск.
 ОВД, 1923 — жен., образование среднее специальное, воспитатель, г. Коломна.
 ОМЕ, 1919 — жен., образование среднее специальное, фельдшер, г. Коломна.
 ПГВ, 1927 — жен., образование среднее специальное, техник-смотритель, г. Иваново.
 ПР, 1992 — муж., образование неполное высшее, студент, г. Москва.
 СМ, 1988 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Ярославль.
 ТГ, 1991 — жен., образование неполное высшее, студентка, г. Иваново.

Б. С. Жаров,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Пленарный доклад, направление «Романо-германский цикл»

Уникальный общескандинавский словарный проект ISLEX — шестязычный электронный словарь исландского языка

Лексикографы не слишком избалованы вниманием официальных инстанций. Приятным исключением на этом фоне представляется пристальный интерес, проявленный правительствами и общественностью Скандинавских стран к одной лексикографической конференции, в рамках которой состоялась презентация переводного многоязычного словаря исландского языка.

Каждый год начиная с 1996 г. в Исландии 16 ноября отмечается День исландского языка. Множество разнообразных мероприятий помогают исландцам проявить любовь к родному языку, который не был утрачен в тяжелых климатических, политических и экономических условиях жизни на протяжении веков, помог им сохранить культуру и самобытность, а в XX в. вновь обрести политическую независимость.

16 ноября 2011 г. в столице страны Рейкьявике в «Доме Скандинавии» — оригинальном произведении архитектуры, созданном

по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто, открытом в 1968 г. рядом с корпусами Университета Исландии, — состоялась научная конференция в присутствии высокопоставленных гостей, которая обозначила начало официального функционирования электронного словаря, получившего название *ISLEX*. Автору этих строк довелось присутствовать на конференции и на презентации словаря.

Во время официальной церемонии выступали министр образования и культуры Исландии Катрин Якобсдоухтир, генеральный секретарь Совета министров Северных стран Халлдоур Аустримссон, посол Королевства Дании в Исландии Сёрен Хаслун, посол Королевства Норвегии Даг Вемё Хольер, а также лексикографы, участвовавшие в работе над словарем.

Посол Королевства Швеции Андерс Юнггрен весьма удивил присутствующих, выйдя к трибуне с огромной пачкой бумаг. Читать он их не стал, сказал, что это небольшая часть архива шведского посольства в Исландии, в котором содержится история создания словаря, насчитывающая три десятка лет. Первоначальная идея возникла в 1984 г., тогда в проекте был только исландско-шведский «традиционный» бумажный словарь, который предполагалось издать к 50-летию Исландской Республики в 1994 г. Но технические и финансовые проблемы не позволили сделать этого.

В решении вопросов участвовали министры и даже премьер-министры Скандинавских стран. Андерс Юнггрен рассказал, что он принимал участие в переговорах премьер-министра Швеции Йорана Перссона и премьер-министра Исландии Халлдоура Аурманнссона в Стокгольме в 2004 г. Список запланированных для обсуждения вопросов был велик: сложная ситуация в Ираке и Афганистане, многое другое и в самом конце вопрос об исландско-шведском словаре. Фактически же именно этот вопрос оказался и самым первым, и самым важным. Ему было посвящено 30 минут из 40. Единодушие премьеров было поразительным, обсуждалось только, будет словарь бумажным и электронным или же только электронным.

Вскоре к решению общих проблем подключились правительства и общественные организации других стран Скандинавии, и в 2005 г. началась реальная работа над многоязычным словарем при одновременном осознании того, что время бумажных словарей полностью ушло. Было четко зафиксировано, что словарь будет только электронным. Нашлись необходимые для такой весьма трудоемкой лексикографической и технически сложной работы значительные средства. Важным обстоятельством, подтолкнувшим правительства Скандинавских стран к участию в создании словаря, было общее стремление к укреплению контактов этих стран с тем, чтобы они совместно могли упрочить свое положение в меняющемся мире и в

обозримом будущем выступить единой политической и экономической силой с населением в 25 миллионов человек.

Коллектив из 30 лексикологов и переводчиков четырех государств весьма плодотворно работает семь лет и будет продолжать работу в ближайшие годы. Главным редактором является Тоурдис Ульварсдоухтир (Þórdís Úlfarsdóttir), руководителем авторского коллектива — Халлдоура Йоунсдоухтир (Halldóra Jónunsdóttir).

Ответственным за исландскую часть словаря и координирующим центром все время был Институт исландского языка Аурни Магнуссона (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) Университета Исландии в Рейкьявике. (Следует подчеркнуть, что для исландцев приемлема только такая формулировка, потому что в городе существует другое, сравнительно небольшое учебное заведение под названием «Университет Рейкьявика».) Институт, занимающийся разнообразными исследованиями в области изучения и распространения исландского языка и литературы, лексикографии, культуры речи, этнологии, хранящий и изучающий средневековые манускрипты, носит имя выдающегося исландского ученого Аурни Магнуссона (Árni Magnússon, 1663—1730), который первым стал целенаправленно собирать манускрипты, содержащие литературные памятники, ныне составляющие гордость исландского народа. На презентации словаря выступила Гудрун Нордаль (Guðrún Nordal), директор Института Аурни Магнуссона.

Партнерами, создававшими переводную часть, стали научные центры Скандинавских стран, имеющие большой опыт работы в лексикографической области. В Дании это «Общество датского языка и литературы» (Det Danske Sprog-og Litteraturselskab), в Швеции — главное лексикографическое учреждение страны — «Институт шведского языка» (Institutionen för svenska språket) Гётеборгского университета.

Особо следует сказать про Норвегию, где существует две равноправных варианта, фактически два языка: букмол (старое название: риксмол) и новонорвежский, или нюношк (ранее: лансмол). Эквиваленты исландских слов на этих языках создавались в Институте лингвистики, литературы и эстетики (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier) Бергенского университета.

Во время презентации присутствующие узнали, что решены все финансовые и технические вопросы для того, чтобы к концу 2012 г. в словаре появилась и пятая переводная часть — фарерская. Как известно, фарерский язык — самый маленький изо всех германских языков. 50 000 человек живут на островах в Атлантике, около 25 000 фарерцев есть в Дании, порядка 5000 в других странах мира. Работа фарерских лексикографов Языкового центра в Торсхавне (Fróðskaparsetur Føroya í Tórshavn) стала возможной только благодаря значи-

тельной финансовой поддержке проекта со стороны международных организаций, в первую очередь Совета министров Северных стран. В некоторых словарных статьях уже сейчас присутствуют фарерские эквиваленты.

Словарь *ISLEX* неминуемо должен был стать электронным. Исландский язык принадлежит к числу малых, в Исландии проживает всего 330 000 человек. Понятно, что издавать много словарей, тем более переиздавать их часто при небольшом количестве потенциальных пользователей затруднительно. Между тем словарный запас меняется, обновление словарей должно происходить постоянно. Желательно также вносить поправки сразу же, как только обнаружены неточности, а не много лет спустя.

Вот только один пример. Первый в мире Исландско-русский словарь был составлен нашим выдающимся лексикографом В. П. Берковым, для которого он стал «пробой пера» [Берков, 1962]. Как известно, позже В. П. Берков в полном одиночестве создал огромный Русско-норвежский словарь, вышедший несколькими изданиями, ряд других словарей и опубликовал книги и статьи по лексикографии. Он же был редактором и в очень большой степени соавтором Русско-исландского словаря [Haraldsson, 1996].

Исландско-русский словарь вышел в московском издательстве в 1962 г. и до сих пор не переиздавался. Между тем нужда в таком словаре, безусловно, есть, что видно хотя бы из того, что он был выложен в интернете несколько раз разными людьми. К слову сказать, полвека назад московское Издательство иностранных и национальных словарей выпускало большое количество словарей, рассчитанных на очень широкую аудиторию, и поэтому могло позволить себе печатать и явно убыточные словари, к которым при тогдашних низких ценах на книги, несомненно, относился исландско-русский.

Недавно в Дании одно крупное издательство, ранее выпускавшее весьма качественные словари и справочники, полностью ликвидировало отдел, готовивший их, так как признало, что «за интернетом не угнаться». Теперь всем ясно, что решением проблем является электронный словарь, который может расширяться, обновляться и совершенствоваться в любое время по мере необходимости. Электронный словарь — живой организм, который чутко реагирует на изменения в окружающей среде.

Словарь *ISLEX* с ноября 2011 г. выложен в интернете и доступен для любых пользователей на соответствующих сайтах. Исландский сайт (www.islex.hi.is) имеет материалы, рассказывающие о создании словаря. Эквиваленты на датском языке (www.islex.da), шведском (www.islex.se) и двух вариантах норвежского (www.islex.no) представлены на соответствующих сайтах. Фарерский язык в полном объеме, как сказано, появится позже.

Наличие нескольких сайтов не означает, что существует жесткая необходимость выходить непременно на один нужный пользователю сайт. Дело в том, что в окошке всегда присутствуют специальные значки — флажки соответствующих стран (у Норвегии два флажка, один из которых имеет уточнение в виде буквы B — от «букмол», другой N — от «новонорвежский»), и всегда можно подключить другой, нужный в данный момент пользователю язык.

Многоязычные словари в принципе хорошо известны, но, как правило, посвящены узкой тематике, обычно невелики и при этом всегда не очень надежны, так как являются искусственным соединением лексических единиц, созданных в разное время и взятых из разных источников, построенных на разных принципах. Словарь ISLEX, создаваемый одновременно несколькими авторитетными лексикографическими коллективами, принадлежит к многоязычным словарям другого типа.

Объем словаря был изначально установлен в 50 000 исландских лексем. Это не очень много, но и немало. В упомянутом Исландско-русском словаре В. П. Беркова 35 000 лексем. Составители ISLEX не стремились любым способом раздуть объем. Как сказал один из докладчиков, наличие 50 000 слов вполне достаточно для большинства сфер жизни, ну а если кому-то захочется переводить исландские стихи, то этому человеку придется обратиться к другим существующим словарям.

Искомое исландское слово пользователь вводит в словарь в специальную форму в рамочке. Имеется в его распоряжении вспомогательное средство, облегчающее работу. Дело в том, что в исландском языке есть десять букв, отсутствующих в стандартном латинском алфавите: две буквы обозначают согласные звуки (ð þ), две — гласные (æ ö) и еще шесть сопровождаются значком, который на ранних этапах развития языка передавал долготу соответствующего гласного, но теперь, как правило, передает нечто другое: дифтонг или другой звук (á é í ó ú ý). Рядом с формой для введения искомого слов приведены эти десять букв, и путем нажатия на букву всегда можно отобразить любую из них в нужном слове. Есть еще три буквы других скандинавских языков (ä ø å) для введения слов на датском, шведском и норвежском языках при обратном переводе.

Впрочем, можно при включении необходимой функции вводить искомое слово в написании буквами обычного латинского алфавита, что бывает полезным, если исландское слово обнаружено в источнике на другом языке. Это с исландскими словами бывает нечасто, если не считать особых случаев, как, например, тогда, когда половина земного шара наблюдала за разбушевавшимся исландским вулканом Эйафьятлайокюдль (Eyafjallajökull).

При введении слова внизу под формой сразу же появляется список из примерно 30 слов, близких по алфавиту к искомому с указанием

части речи и минимальным количеством грамматических помет, что облегчает в необходимых случаях поиск однокоренных слов. В исландской части статьи на первом месте находится, естественно, лемма. Среди слов есть сравнительно небольшое количество собственных имен, принцип отбора которых для включения в словарь не совсем понятен.

Используя богатые возможности электронного словаря, исландские составители сопровождают лемму в некоторых случаях изображением (kónguló 'паук', Himalæja-fjöll 'Гималаи'), в других — анимацией (fiðrildi 'бабочка' — на иллюстрации бабочка машет крыльями). Предполагается подключение произношения исландских слов.

Большое преимущество электронного словаря проявляется в системе подачи грамматических помет. Склонение существительных и прилагательных и спряжение глаголов дается полностью. Исландская грамматика является самой сложной из всех грамматик германских языков. Во многих словах присутствуют сложные фоновоморфологические чередования, унаследованные от древнеисландского периода. Есть четыре падежа, два числа и три грамматических рода существительных, сильное и слабое склонение, и вместе со всеми исключениями число типов изменения приближается к сотне. Глаголы есть сильные, слабые, претерито-презентные и неправильные, причем сильных глаголов в исландском языке вдвое больше, чем в любом другом германском языке, глагол спрягается по лицам и числам, используется полная парадигма флективного сослагательного наклонения. Грамматический раздел в бумажном исландском двуязычном словаре, как правило, намного превышает соответствующие разделы других германских словарей. Поэтому большим облегчением для пользователя является наличие полной парадигмы изменения слова, данной в словаре. Пользователю стоит учесть, что по исландской традиции порядок следования падежей такой: именительный, винительный, родительный, дательный.

В словарной статье далее следует довольно хорошо разработанная система подачи значений слов с примерами словоупотребления, а также идиоматические обороты. Каждый раз они сопровождаются переводом на соответствующий язык.

К числу несомненных положительных черт словаря *ISLEX* необходимо отнести то, что при желании можно включить все переводные эквиваленты сразу, что вместе с наличествующим уже исландским дает уникальную возможность сопоставительного изучения лексики, фразеологии, а также в известных пределах грамматики — на данный момент пяти скандинавских языков, когда же словарь будет дополнен значительным количеством фарерских эквивалентов, то у лингвистов появится возможность легко познакомиться со всеми существующими скандинавскими языками.

Но и это еще не все. Ведется работа по расширению возможностей словаря, в частности возможности использования его как обратного. Для датского языка она уже частично выполнена. Можно ввести датское слово, и появляется исландский эквивалент со всеми значениями и примерами, что позволяет отсюда двигаться дальше и переходить к другим языкам. Для других языков эта работа пока только проводится.

Пользователи имеют приятную возможность обратиться с вопросами и замечаниями к составителям словаря, для чего в каждом из языковых разделов словаря приводится адрес электронной почты.

Словарь *ISLEX* является очень перспективной разработкой и примером для электронных словарей других языков.

Литература

Берков, 1962 — Берков В. П. Исландско-русский словарь = Íslensk-Rússnesk orðabók / В. П. Берков при участии А. Бёдварссона. 35 000 слов. М., 1962. 1032 с. Словарь в полном объеме выложен в интернете.

Haraldsson, 1996 — Helgi Haraldsson. Rússnesk-Íslensk orðabók = Русско-исландский словарь / Хельги Харальдссон, под ред. В. П. Беркова. Reykjavík, 1996. 946 с.

Н. Г. Зайцева,

д-р филол. наук, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (Россия)

Секция «Уралистика»

Вепсская духовность в фокусе корпусной лингвистики и лингвофольклористики (на материале вепских причитаний)

Учеными старейшей российской прибалтийско-финской лингвистической школы, создателями которой по праву следует считать Д. В. Бубриха и Г. М. Керта, в последние годы начаты углубленные изыскания в русле новых лингвистических тенденций: исследования в области семантики грамматики и языка фольклорных текстов, социолингвистические исследования, направленные на повышение жизнеспособности и потенциала младописьменных карельского и вепского языков, новейшие фонетические и ономастические исследования и т. д. В этой связи следует остановиться и на возможностях корпусной лингвистики, которые стали активно привлекаться в научный мир исследований названных языков. В последние три года велась работа по проекту «Вепский корпус», поддержанному в 2009—2011 гг. Отделением историко-филологических наук РАН, а

в 2012 г. Президиумом РАН¹. Цель проектов заключается в создании лингвистического корпуса оригинальных вепских устных и письменных текстов и размещении его в открытом доступе в сети Интернет. Общедоступный характер должен обеспечить всех интересующихся проблемами вепсов новыми достоверными материалами по вепскому языку и вепскому фольклору, чем, возможно, вызвать рост исследовательского интереса и к вепскому народу в целом.

Сайт электронного ресурса «Корпус вепского языка» размещен в сети Интернет в 2010 г. с поисковым механизмом по текстам и электронному словарю. Данный сайт постоянно пополняется различными диалектными и младописьменными материалами. К концу 2011 г. корпус содержал 720 текстов на 190 000 словоупотреблений, а также электронный словарь на 2397 лемм и 7395 словоформ².

В рамках данных научных программ был разработан «Фольклорный подкорпус вепского языка», в который вошли 50 текстов вепских обрядовых причитаний, извлеченных из Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН. Подкорпус выполнен в параллельном режиме, т. е. в нем размещены «запараллеленные» тексты на вепском и русском языках с поисковой системой, позволяющей отбирать материал по жанровому типу (свадебное, похоронное) и диалектной принадлежности (северновепский, средневепский, южновепский) записанного текста. В подкорпусе причитаний также действует поисковая система Корпуса вепского языка, где предусмотрен поиск по текстам и словоформам.

Данному результату предшествовала кропотливая работа, во время которой все вепские материалы Фонограммархива Института ЯЛИ КарНЦ РАН были выделены в отдельный блок, проведена их идентификация, а также найдены средства на перенос материалов с магнитофонных пленок на электронные носители, что значительно облегчает теперь поиск в Фонограммархиве института жанров и материалов на вепском языке.

¹ Программа Отделения историко-филологических наук РАН (направление V: «Лингвистические аспекты исследования текста»). В 2011 г. в русле Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» (направление III «Создание и развитие корпусных ресурсов по языкам народов России») был поддержан проект «Корпус вепских народных причитаний». В 2012 г. получил поддержку названной программы проект «Корпус вепского языка: пополнение и развитие электронного ресурса». Руководитель проектов — д-р филол. наук Н. Г. Зайцева.

² Нынешний адрес электронного ресурса «Корпус вепского языка»: vepsian.krc.karelia.ru. Разработка сайта была начата в конце 2009 г. аспирантом СПбГУ А. С. Гребеньковым. В настоящее время наряду с пополнением осуществляется дальнейшее структурирование сайта программистами лаборатории информационных компьютерных технологий Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН.

В дополнение к электронному ресурсу был подготовлен и опубликован в 2012 г. сборник вепских причитаний «*Käte-ške käbedaks kägoihudeks*» («Обернись-ка милой кукушечкой»), куда вошли составной частью и материалы подкорпуса [Зайцева, Жукова, 2012]. К сожалению, далеко не каждое причитание было пропето (всего 25 причитаний в сборнике обладают нотировками)¹; чаще всего информанты соглашались исполнить причитания речитативом в виду эмоциональной сложности жанра.

Представленные в опубликованном сборнике причитания по их жанровой принадлежности поделены на три группы, а внутри групп подача причитаний организована в соответствии с их диалектной принадлежностью. Самое большое количество причитаний представлено материалами средневепского диалекта — 64 причитания; северновепский и южновепский диалекты представлены лишь 19 причитаниями. Причем с. Ладва (средневепский диалект, западные говоры) Подпорожского района Ленинградской области оказалось сокровищницей причетной мудрости: в сборнике содержится 21 причитание из названного пункта. Причитания, представленные в сборнике, записаны от 43 исполнителей; из них лишь три причитания были исполнены мужчинами, что свидетельствует о том, что хранительницами исследуемого жанра фольклора были именно женщины.

Включенная в сборник коллекция причитаний является на сегодняшний день самой представительной публикацией данного жанра вепского фольклора. Что касается иных публикаций причитаний, то их самые ранние записи были сделаны финскими исследователями Э. Н. Сетяля и Ю. Х. Кала в 1888—1889 гг. в экспедициях по вепским деревням и опубликованы в 1951 г. в сборнике «Образцы речи северно- и средневепского диалектов» с переводами на финский язык [Setälä, Kala, 1951]. В названный сборник было включено 12 текстов. Четыре текста причитаний представлены в сборнике финских исследователей А. Совиярви и Р. Пелтола [Sovijärvi, Peltola, 1982]. Материалом для данного издания послужили записи, сделанные в 1940-е гг. на оккупированной территории северновепского Прионежья во время Великой Отечественной войны. Тогда же был собран материал по свадебной обрядности, который финский исследователь Ю. А. Перттола представил в рукописи «Обычаи прионежских вепсов при вступлении в брак», где в описание ритуального действия включено 12 текстов причитаний [Perttola, 1949].

Со второй половины XX в. интерес к прибалтийско-финским народам и их языкам возрос и у отечественных ученых. Сотрудники Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Н. И. Богданов и М. М. Хмяляйнен, затем М. И. Зайцева и М. И. Мул-

¹ Расшифровка нот осуществлена сотрудницей Петрозаводской консерватории им. А. К. Глазунова С. В. Косыревой.

лонен занимались сбором различного рода языковых материалов, в том числе и фольклорных, для лингвистических исследований, см.: [Зайцева, Муллонен, 1989]. Восемь текстов причитаний вошли в книгу краеведа Р. П. Лонины «*Minun rahvhan fol'klor*» («Фольклор моего народа»; Lonin, 2000). Основатель Шелтозерского этнографического музея увлекся вепским устным народнопоэтическим творчеством, активно собирал его образцы с 1956 по 1964 г., в основном у своих земляков, а также у средних вепсов в верховьях реки Ояти.

Вепский фольклор активно собирали эстонские исследователи К. Салве, М. Йоалайд, И. Рюйтел в 70—80-х гг. XX в. Но эти материалы не опубликованы и хранятся в фольклорном архиве Литературного института Эстонии (Тарту), а также в архивах Таллина.

Записи вепских причитаний имеются в фонотеке кабинета фольклора Петрозаводской государственной консерватории; их вместе с другим музыкальным материалом записывала музыковед И. Б. Семакова в 80-е гг. XX в. в средневепских деревнях Ленинградской области.

Основу же электронного фонда вепских причитаний и основу сборника причитаний «Обернись-ка милой кукушечкой» составили записи, хранящиеся в Фонограммархиве Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, где представлена на сегодняшний день наиболее значительная в России коллекция вепских фонозаписей.

Причитания наиболее глубоко раскрывают внутренний мир, философию и уклад жизни вепсов. Так, свадебные причитания направлены:

- 1) на получение благословления родителей на замужество и у живых, и у умерших родителей: *Laskou sina minun armaz čičoihudem, mina läksin' roditel'skijata blaslovenijata, en ved pakičend.. tabazi mindai sur' da läžund-se, äjou pit'k da paha pahuz'-se* «Ласковая ты моя милая сестричка, я вышла замуж без родительского благословления, ведь не попросила, и поймала меня тяжелая болезнь, очень долгое злое зло» [Вахтозеро, ККК, с. 37—38]; *Oi mahuut, sina mahutt, čurate sina nel'l'ha čuraižehe, ozutade grobun laudaine, ozutade, roditel'aïne. Tulin mina sinun tütrine pakimaha blaslovenijad* «Ой земелька ты земелька, расступись ты в четыре сторонки, покажись, гробовая досочка, покажись, родительница. Пришла я, твоя доченька, испросить благословления» [Шелтозеро, ККК, с. 25];
- 2) на оплакивание расставания с теплым и милым родительским домом, где невеста жила: *sel'ktan tatoihuden veslas vestatesudes, veslan viikoihuden sel'ktas vestatesudes* «у светлого батюшки в веселом строеньце, у веселого братика в светлом строеньце» [Кривозеро, ККК, с. 36]; *Sötjan tatoihuden korktas kodžes* «У кормильца-батюшки в высоком домике» [Озера, ККК, с. 50];

- 3) на выражение горьких мыслей о встрече с чужими родственниками, с чужими 'холодными' ласками: nel'l'an mil'l'aižed kactaze kahccal sil'mal, viiden nadoižed kactaze minu hu kaik kerdal «четыре золовушка смотрят в восемь глаз, пять невесток смотрят все одновременно» [Шелтозеро, ККК, с. 29–30]; Verhale vilule randaažele, verhalost vilulost tatkoolest, verhalost, vilulost mamkooolest «В чужую холодную сторонку, к чужому неласковому батюшке, к чужой неласковой матушке» [Сидорово, ККК, с. 106];
- 4) на символический поиск невестой места для оставления любимой вольной волюшки: järvudehe jäta-ške, kändoudase sokolaks sorzeižeks «оставь в озеро, обернется соколом-уточкой» [Сарозеро, ККК, с. 53]; jätab izon da iknaižen alle «оставит под милое окошечко»; jätan vouktale peiveihudele «оставлю светлому солнышку» [Ладва, ККК, 71]; rodimijale roditel'ale setjale mamoihudele oiktan nižaižen alle «родимой родительнице кормилице-матушке под правую грудь» [Ладва, ККК, с. 77].

Поразительны по своему содержанию похоронно-поминальные плачи. Здесь выстроена целая философия относительно перехода человека в мир иной, переданы его мысли и переживания, воплощенные в разнообразной гамме чувств:

- 1) неверие в смерть, в уход в мир иной и желание оживить, разговаривать умершего, неким образом 'разбеседовать': Užeske minä probuin lodeižoitta i pagištoitta ičiin da sizaruden «Погоди-ка, я попробую разговаривать и разбеседовать свою сестричку» [Ладва, ККК, с. 86]; Aveida-ške ičeiz zorkijad sil'meižed-ne i sulada ičiiž sula da suhut-se «Открой-ка свои зоркие глазки, растопи-ка свой милый ротик» [Сарозеро, ККК, с. 144];
- 2) желание посредством плача помочь ушедшему в мир иной и обращение с просьбой о помощи к другим умершим родственникам, например к умершему брату: jasni sokol, vessel viikoihudem, mina poprosižin' i umoližin': pane-ške bibučihe da sohuzihe dubovijad da siibheižed-ne, zakaži-ske sina vesel da veneihut, kasarda-ske rodimi roditel' sotei mamoihut, ehtata-ske sina levedas merudes «ясный сокол, веселый братец, я прошу и умоляю: выложи-ка зыбкие болотца дубовыми да бревнами, закажи-ка ты веселую лодочку, переправь-ка милую родительницу матушку через широкое море» [Ладва, ККК, с. 155]; к умершему отцу: rodimi roditel', kabda-ske sina ičiiž oiktou kädudou, primi-ske ičiiž armhaze da arteližhe-se «родимый родитель, обними-ка ты своей правой рукой [умершую матушку], прими-ка ее в свою милую да артељушку» [Ладва, ККК, с. 155];
- 3) вера в возможность превращения умершего в птичку, в кукушечку: kerazitoi i kogožitoi vast käbedaha kezaižehe, kärrouzitoi libedaks linduižeks, käbedaks kägoihudeks «собралась и сподобилась перед

теплым летечком, обернулась милой пташечкой, красной кукушечкой» [Немжа, ККК, с. 138] и т. д.

Картина мира причитаний, философская и языковая, строится с использованием значительного количества изобразительно-выразительных средств. Типичными стилистическими приемами вепских причитаний являются эпитеты, выраженные прилагательными. С точки зрения лингвистического анализа и их этимологии они не все однородны. С этой точки зрения их можно поделить на три группы:

- 1) эпитеты с ясной семантикой (значение не выходит за пределы их семантического поля): kalliz «дорогой» (kalliz kazvatejeižem «дорогой меня вырастивший», kalliz kanzeine «дорогая семейка»), čoma «хороший, красивый» (čoma čogei «хороший, красивый уголочек»), sula «милый, дорогой» (sula čizoihudem «милая сестрица», sula suhut «милый ротик»), armaz «любимый» (armaz arteline «любимая артељушка»);
- 2) иной семантикой, нежели прямое значение. Например, прилагательное libed стало частью устойчивого атрибутивного сочетания libed linduine, часто встречающегося в вепских плачах: Užeske minä puitein pagištoitta i lodeižoitta ičiin' libedad linduš-se «Погоди-ка, попробую разговаривать и разбеседовать свою милую пташечку» [Мягозеро, ККК, с. 144]. В обыденной речи прилагательное libed обладает прямым значением «скользкий» (например libed te «скользкая дорога»; libed kala «скользкая рыба»). Важной функцией эпитета в фольклорном контексте было соблюдение принципа единого фонетического начала, начального созвучия с существительным: libed linduine. В данном словосочетании эпитет приобрел эмоционально-положительное значение. С течением времени сочетание вышло за рамки фольклорной традиции и стало использоваться в разговорной речи в качестве ласкового обращения к детям. Таким образом, семантическое поле прилагательного расширилось, и оно приобрело два разных значения: 1) скользкий; 2) милый, любимый. В диалектном словаре вепского языка это значение дано за знаком ромба, как фольклорное [Зайцева, Муллонен, 1972], а в «Новом вепско-русском словаре» лексема дана в двух словарных статьях [Zaiceva, Mullonen, 2009]. Таким образом, язык плачей позволил своеобразным способом «вырастить» новое слово.

Интересны этюды, связанные с прилагательным izo (izo ikneine «милое окошечко», izo irdeine «милая, родная улочка»). В финском языке прилагательное iso обладает значением «большой». Фонетическое созвучие прилагательных финского iso и вепского izo налицо, однако авторы этимологического словаря финского языка не включили вепское прилагательное в одно этимологическое гнездо [SKS, 2001, с. 228], хотя это напрашивается: исторически в вепском izo произошло озвончение между двумя гласными звуками (s > z)

[Tunkelo, 1946, p. 236]. В причитаниях слово *izo* является постоянным эпитетом к словам *ikneine* «окошечко» и *irdeine* «улочка»: *En rasi minä pästta ičiin' vouktad voudašt izole ikneižele* «И не смею отпустить свою белую волюшку на милое окошечко» [Кривозеро, ККК, с. 32]. Из контекста следует, что данный эпитет обладает положительной семантикой: родительский, родной, милый, любимый. Вероятно, в вепском языке утратившее свое основное значение прилагательное сохранилось в языке плачей из-за аллитерации, которая диктовала подбор эпитета и закрепила его в устойчивом сочетании *izo ikneine*. Вполне возможно, первоначально словосочетание обладало значением «большое окно»: упоминаемый в плачах родительский дом всегда описывался с преувеличением и идеализацией. А с течением времени у слова появилось иное значение, продиктованное языком плачей. Фольклор помог сохранить прилагательное *izo* для младописьменного вепского языка [Zaiceva, 2010, p. 115].

Сюжеты, связанные с прилагательным *melaz*, более сложны, поскольку оно отсутствует в подобной форме в родственных языках, встречаясь лишь в языке вепских причитаний. Прилагательное не было зафиксировано ранее ни одним словарем вепского языка, а также и образцами вепской диалектной речи; оно не упоминается также и ни одним известным этимологическим словарем. Семантику прилагательного *melaz* можно, на наш взгляд, рассматривать в ряду слов, относящихся к корневой лексеме *mel'* «ум»: *mel'hine* «возлюбленный», *melev* «умный». И, таким образом, судя по контекстам причитаний, значение вепского прилагательного *melaz*: «милый, любимый, хороший». Можно предположить, что прилагательное возникло также из-за необходимости выстроить аллитерацию к существительному *mes*, *mecaine*: *melaz mecaine* «милый лесок», *melhas mecaižes* «в милом лесочке» и т. д.;

3) затемненной семантикой — прилагательные данной группы в речи вепсов не встречаются совсем. Примером в этом случае прежде всего является прилагательное *tuver* (*turv*) «холодный, свежий?» (*tuver touvut* «?холодная, славная зимушка», *tuver tulleihut* «?свежий, холодный ветерок»). Слово *tuver* и его вариант *turvad*, встречающийся в косвенных падежах, где произошла перестановка звуков, относится к специфично-фольклорным словам. Слово было обнаружено в плачах как эпитет к словам: *touvut* «зимушка», *tulleihut* «ветерок»: *I minä tüh-jenin' i hudruin' i täl čomou tuverou touvudou* «И я ослабла и одряхла в эту хорошую холодную (славную?) зимушку» [Ладва, ККК, с. 160]; *I tuver tulleihut-se vedouzi minun vouktan da voudeižen-se* «И свежий ветерок подхватил мою белую да волюшку» [Ладва, ККК, с. 71].

Прилагательное *tuver* вызывает сложности при восприятии его семантики: как определиться, какой была зима — *tuver touvut* — холодная, лютая, каким был ветер — *tuver tulleihut* — свежий, прохладный. Можно лишь предположить, что значение было эмоционально-

положительным: «милая, славная зимушка, ветерок» (ср. в примере *täl čomou tuverou touvudou* у слова *touvuduu* «зимушкой» два определения: прилагательное *čoma* «хороший» с понятной семантикой и *tuver*, которое в этом случае также можно бы понимать положительно). Каким значение было первоначально и к какому этимологическому гнезду восходит прилагательное *tuver*? В известных этимологических словарях подобное слово отсутствует. В карельских причитаниях нам удалось обнаружить прилагательное, звучащее как *tuuveh*, *tuuvis*, не сколько напоминающее вепскую лексему. В толковом словаре языка карельских причитаний А. С. Степановой отмечается, что семантика данного слова не выявлена; оно употребляется в качестве эпитета с эмоционально-положительным значением в составе метафорических замен, например: *tuuvis huväseni* «мой славный хороший (именование отца)» [Степанова, 2004, с. 274]. Пока у нас нет четкого представления о семантике данного слова, и оно не включено в словари младописьменного вепского языка. Можно предположить, что вепское прилагательное связано с финским существительным *turva* «защита, убежище». Правда, в этимологическом словаре финского языка вепского прилагательного *tuver* нет, здесь назван лишь послелог *turbiš* «с помощью, посредством» [KKS, 2000, с. 338]. Вполне возможно, что обнаруженное в плачах прилагательное входит именно в названное этимологическое гнездо, тем самым пополняя его вепским материалом и вепской семантикой.

В проведенном кратком исследовании эпитетов внимание было сосредоточено на двух моментах: 1) на анализе зависимости семантики эпитетов, активно участвующих в поддержании аллитерации, от словесного окружения, от желания исполнителя заставить эпитеты участвовать в создании той или иной выразительной картины плача; 2) на выявлении измененной семантики некоторых адъективных эпитетов и представлении возможных путей развития инновационных семантических изменений. Вепские причитания с их архаичным языком помогут осветить, на наш взгляд, многие проблемы исторической диалектологии, этимологии, семантики, а своим содержанием позволят более глубоко проникнуть в духовную культуру вепского народа.

Диалектная принадлежность фольклорного материала, использованного в статье:

Северновепский диалект: Прионежский район Республики Карелия — с. Рыбрека, Шелтозеро.

Средневепский диалект (восточные говоры): Вытегорский район Вологодской области — с. Вахтозеро, Кривозеро, Шимозеро.

Средневепский диалект (западные говоры): Подпорожский район Ленинградской области — с. Озера, Сарозеро, Ладва, Пелдуши, Немжа, Курба.

Южновепсский диалект: Бокситогорский район Ленинградской области — с. Сидорово.

Литература

Зайцева, Муллонен, 1969 — *Зайцева Н. Г., Муллонен М. И.* Образцы вепсской речи. Л.: Наука, 1969.

Зайцева, Муллонен, 1972 — *Зайцева Н. Г., Муллонен М. И.* Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972.

Зайцева, Жукова, 2012 = ККК — *Зайцева Н. Г., Жукова О. Ю.* Käte-ške käbedaks kägoihudeks («Обернись-ка милой кукушечкой»). Издательство Карельского научного центра РАН. Петрозаводск: 2012.

Степанова, 2004 — *Степанова А. С.* Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, Периодика, 2004.

Lonin, 2000 — *Lonin R. P.* Minun rahvhan fol'klor. Petroskoi, 2000.

Perttola, 1949 — *Perttola J. A.* Piirteitä äänisvepsäläisten avioliiton solmimista-voista. 1949. Рукопись. Хранится в Фольклорном архиве Финского литературного общества (SKS).

Setälä, Kala, 1951 — *Setälä E. N., Kala J. H.* Näytteittä Äänis- ja Keskivepsän murteista. Helsinki, 1951.

Sovijärvi, Peltola, 1982 — *Sovijärvi A., Peltola R.* Äänisvepsän näytteitä. Helsinki, 1982.

Tunkelo, 1946 — *Tunkelo E. A.* Vepsän kielen äännehistoria // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 228. Helsinki, 1946.

SKS — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja, I—III. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 556. Helsinki, 1995—2001.

Zaiceva, Mullonen, 2009 — *Zaiceva N., Mullonen M.* Uz'venä-vepsläine vajehnik / Зайцева Н. Г., Муллонен М. И. Новый вепско-русский словарь; Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. Петрозаводск: Периодика, 2009.

Zaiceva, 2010 — *Zaiceva N.* Uz' vepsä-venälaine vajehnik. Petrozavodsk: Periodika, 2010.

В. П. Захаров,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия),

И. В. Азарова,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Прикладная и математическая лингвистика»

Базовые параметры специальных корпусов текстов¹

1. Введение

Современные лингвистические исследования уже невозможно представить без использования корпусов текстов, в частности, для

¹ Статья подготовлена в рамках работы по темплану НИР СПбГУ (тема исследования «Модель интегрированного программно-лингвистического комплекса для создания специализированных корпусов русского языка»).

русского языка без Национального корпуса русского языка (НКРЯ). В начале работ над Национальным корпусом русского языка принимались решения по ряду существенных вопросов, касающихся проблем репрезентативности и сбалансированности языкового материала корпуса. основополагающими принципами стали самый широкий объем материала в хронологическом и жанровом планах, максимальный круг параметров при морфологической, а затем и семантической аннотации. Обсуждался также вопрос о качестве аннотации и возникающих противоречиях между усредненным качеством разметки при использовании автоматизированных методов разметки с последующей проверкой аннотации и снятием неоднозначности с привлечением широкого круга лиц и высочайшим уровнем требований достоверности, который предъявляют квалифицированные исследователи к лингвистическому материалу.

Несмотря на некоторую спорность решений, принятых на первоначальном этапе, Национальный корпус русского языка предоставил лингвистическому сообществу невиданные возможности поиска необходимого цитатного материала для лексико-семантических исследований [Воейкова, 2009; Гришина, 2007; Добрушина, 2009; Кобрицов, Ляшевская, Рахилина, 2004; Кустова, 2006; Кустова, Ляшевская, Падучева, Рахилина, 2004; Перцов, 2006; Плунгян, 2008; Савчук, 2005, и др.]. Однако выполнение лексико-статистических и лексико-семантических работ для решения ряда лингвистических задач по-прежнему требует как минимум дополнительной корпусной поддержки, что должно компенсировать определенные особенности универсального характера НКРЯ.

Среди таких особенностей можно указать следующие.

- (1) Неустойчивость статистических параметров морфологических категорий. Подсчеты корпусного распределения морфологических категорий на некоторую дату отличаются от аналогичных измерений в другой момент времени. Это отчасти объясняется тем, что в корпусе может меняться количественный состав, что связано, с одной стороны, с помещением в корпус новых данных, а с другой стороны, является следствием чисто технических характеристик программной системы Яндекс, которая предоставляет поддержку для хранения корпуса и удаленного доступа к нему. Это своеобразное «колебание» объема языкового материала затрудняет также вычисление относительных параметров частотности явлений, для которого используют отношение абсолютного числа явлений в корпусе к его объему в миллионах словоупотреблений.
- (2) Отсутствие поддержки случайной выборки из корпуса для поискового запроса приводит к тому, что невозможно оценить параметры частотности лексем, очищенные от влияния тематических

и авторских употреблений [Азарова, Синопальникова, 2004]. Замечено, что распределение частот конкретных лексем в тексте отражает тематическую направленность текста [Sauvageot, 1964]. Такие лексемы являются своеобразными топиализаторами: опираясь на локальные флуктуации частотности слов в тексте, можно определять «темы» для фрагментов текста [Шайкевич, Андрющенко, Ребецкая, 2003]. Однако когда необходимо оценить частотность лексем безотносительно к их тематической нагрузке, сервис НКРЯ не предоставляет таких данных. Создание собственных подкорпусов для поиска на базе НКРЯ также не дает возможности выполнить данную задачу.

(3) Отсутствие специализированного программного и лингвистического инструментария, необходимого для решения специальных задач.

Все это ведет к тому, что наряду с наличием НКРЯ (и других общезыковых корпусов) актуальной остается задача создания специальных корпусов.

Надо отметить, что необходимость адаптации корпуса для конкретной лингвистической задачи была осознана на начальных этапах разработки стратегии Национального корпуса в статьях А. С. Герда и В. П. Захарова [Герд, Захаров, 2004а; 2004б]. Однако до сих пор не было найдено систематического решения данной задачи.

В данной статье мы рассмотрим основные параметры специальных корпусов текста, возможности их варьирования и взаимосвязь с типами лингвистических задач.

2. Специальный корпус

С понятием «специальный корпус» регулярно связывают представление о наборе текстов по некоторой предметной области, т. е. в какой-то степени терминологических. Объединяющим тексты началом является набор характерных маркеров предметной области. Однако наборы этих маркеров (терминов) не описаны для многих предметных областей, и границы этих областей носят не всегда четкий и ясный характер. Таким образом, понятие специального корпуса становится размытым.

Другое значение понятия «специальный корпус» — это корпус, предназначенный для выполнения специальной задачи. С одной стороны, специальный корпус в таком понимании может совпадать с тем, что было описано выше, когда специальной задачей является отбор и анализ терминологических лексем. С другой стороны, специальной задачей может быть исследование текстов определенного жанра, относящихся к некоторому хронологическому периоду, например корпус агиографических текстов XVI—XVII вв. (далее СКАТ) [Герд, Алексеева, Азарова, Захарова, 2004] или корпус разговорной речи «Один рече-

вой день» (далее ОРД) [Степанова, Асиновский, Богданова, Русакова, Шерстинова, 2008].

Еще одним аспектом специальной задачи является особый тип обработки данных в корпусе. Существует стандартный вариант описания данных корпуса: это паспорт текста и морфологическая аннотация слов текста, задающая часть речи, лемму и набор грамматических категорий. Если обратиться к корпусам, приведенным выше, СКАТ и ОРД, то очевидно, что для них однозначно необходима специальная обработка и специальная аннотация, которая будет включать особенности написания слов в древнерусских житиях (выносные буквы,

оца	существительное	jo	м	род	ед
февдора	существительное	о	м	род	ед
и	союз				
мтре	существительное	ег	ж	род	ед
варвары	существительное	а	ж	род	ед
ть	местоимение	местоим. мягкое	м	им	ед
же	частица				
февдѣ	существительное	о	м	им	ед
и	союз				
не	частица				
незнаемъ	причастие	о	м	им	ед; настоящее
сы	причастие	местоим. мягкое	м	им	ед; настоящее
и	союз				
самодеръ живномъ	прилагательное	местоим. твердое	м	дат	ед
всѣмъ	местоимение	разносклоняемое	ж	род	ед
роусти	существительное	ja	ж	род	ед
еже	союз				
и	союз				
пресеитисѣ	инфинитив	возвр.			

Рис. 1. Фрагмент представления данных из корпуса древнерусских агиографических текстов СКАТ (слева приведено отображение листа рукописи с добавлением деления на слова, справа показана грамматическая разметка текста)

титловые покрытия и т. п., см. примеры на рис. 1) или параметры расшифровки устной речи.

Таким образом, три базовых параметра, которые могут взаимодействовать между собой, определяют наше понимание специального корпуса: 1) настройка на определенную исследовательскую задачу; 2) специфический тип обработки и представления данных; 3) спецификация текстов в плане жанра, хронологии, соотношения с предметной областью и пр. Варьирование каждого из этих параметров приведет к огромному многообразию типов и вариантов специальных корпусов текстов. Кроме указанных параметров специальных корпусов нельзя забывать стандартные параметры корпусов: репрезентативность и сбалансированность их текстов, а также методы, очевидно автоматические, которые обеспечивают репрезентативность, с одной стороны, и объективность — с другой. Стандартные параметры специальных корпусов были нами рассмотрены в [Захаров, Азарова, 2012]. Далее мы представим нашу стратегию построения специальных корпусов в аспекте базовых параметров варьирования.

3. Лексико-синтаксический эталон как способ фиксации спецификации текстов

Наиболее четко можно представить идею эталона на примере текстов определенной предметной области. Для формирования эталона необходим первоначальный подбор текстов и список регулярных синтаксических моделей, которые встречаются в структуре терминов. Комплекс программ [Азарова, Гордеев, 2011] позволяет выделить из текстов набор слов — опорных элементов терминов (их часто называют терминоподобными), частота которых в текстах специального корпуса существенно превосходит частоту этих слов в некотором фоновом неспециализированном корпусе. Выделенные терминоподобные на основании коэффициента превышения частоты зонируются на высоко-, средне- и низкочастотные. Словосочетания, соответствующие указанным моделям и включающие выделенные терминоподобные, образуют пространство прототипов терминов — своеобразных гипотез, построенных на базе анализируемых текстов. Прототипы терминов можно разделить на зоны в соответствии с зональной принадлежностью терминоподобных, которые входят в словосочетания. Наибольший интерес представляют среднечастотные прототипы терминов, к ним примыкают и низкочастотные. Высокочастотные прототипы терминов в меньшей степени похожи на термины, чаще всего это сочетания с местоимениями, которые в тексте выполняют функцию анафорической замены, обеспечивая связанность текста (см. фрагмент лексико-синтаксического эталона для корпуса текстов по компьютерной лингвистике в табл. 1).

Таблица 1

Фрагмент лексико-синтаксического эталона для корпуса текстов по компьютерной лингвистике (вместе собраны выделенные словосочетания для слова, которое выступает как главный или зависимый элемент словосочетания)

Низкочастотные словосочетания	
технический (зависимое)	государственный технический университет; техническая возможность; техническая дисциплина; техническая мысль; техническая поддержка; техническая проблема; техническая сторона; техническая точка; технические науки; технический смысл; техническое воплощение; техническое ограничение; техническое сообщество; техническое удобство
элемент (главное)	второстепенный элемент; дополнительный элемент; естественный элемент; каждый элемент; некоторый элемент; необходимый элемент; новый элемент; общий элемент; основной элемент; особый элемент; отдельный элемент; регулярный элемент; самый главный элемент; строевой элемент; такой элемент; химический элемент; элемент вне диагонали; элемент высказывания; элемент застройки; элемент категории; элемент синтаксиса; элемент сюжета; ядерный элемент
Среднечастотные словосочетания	
информационный (зависимое)	другой информационный объект; информационная поддержка; информационная потребность; информационная система; информационная среда; информационная технология; информационная точка; информационное обеспечение; информационное общество; информационное содержание; информационное сообщение; информационный вес; информационный механизм; информационный ресурс; различные информационные технологии; самостоятельный информационный объект; современная информационная технология; университетская информационная система
признак (главное)	внешний признак; внутренний признак; возможный признак; дополнительный признак; каждый признак; косвенный признак; лишний признак; некоторый существенный признак; новый признак; одинаковый признак; отдельный признак; последний признак; признак в системе; признак группы; признак количества; признак наличия; признак общности; признак патента; признак предмета; признак скорости; признак слова; признак типа; признак человека; признаки формируются; профессиональный признак; различные признаки; такой признак; физический признак
Высокочастотные словосочетания	
корпус (зависимое)	введение корпуса; версия корпуса; включение в корпус; внесение в корпус; возможность корпуса; воплощение в корпусе; встретиться в корпусе; выбор корпуса; высказывание корпуса; дать корпус; дерево корпусов; добавление в корпус; дополнение корпуса; доступ к корпусу; задача корпуса; заключение корпуса; запись корпуса; иметь в корпусе; инструкция к корпусу; интеграция в корпус; информация в корпусе; использование в корпусе; использование корпуса; использовать корпус; качество корпуса; количество корпусов; материал корпуса; место в корпусе; название корпуса; назвать корпус; назначение корпуса; накладывать корпус; наличие корпуса; находиться в корпусе; нахождение в корпусе; несколько корпусов; обращение к корпусу; организация корпуса; основа корпуса; особенность корпуса; остаться

в корпусе; открытие корпуса; отражаться в корпусе; ошибка в корпусе; перспектива в корпусе; перспектива корпуса; перспективный для корпуса; подготовка корпуса; показатель в корпусе; пользоваться корпусом; помещенный в корпус; помощь корпуса; понимание корпуса; понятие корпуса; попадать в корпус; порядок корпуса; появление корпуса; представление корпуса; представлять корпус; пресс корпуса; признак корпуса; применение корпуса; пример в корпусе; пример из корпуса; проверка корпуса; проверка на корпусе; проект корпуса; работа над корпусом; работа с корпусом; раздел корпуса; размер корпуса; разместить в корпусе; размещение в корпусе; разработка корпуса; рассматривать корпус; рассмотрение корпуса; расширение корпуса; реализация в корпусе; редактор корпуса; редкий в корпусе; роль корпуса; связь в корпусе; связь корпусов; связь с корпусом; семейство корпусов; слово в корпусе; служить корпусу; совершенствование корпуса; содержать под корпусом; содержащийся в корпусе; создатель корпуса; сообщение о корпусе; соотношение в корпусе; состав корпуса; составление корпуса; специфика корпуса; сравнение с корпусом; среднее на корпусе; ссылка на корпус; стиль корпуса; стихотворение корпуса; существование корпуса; тип корпуса; типология корпусов; уровень в корпусе; фонд корпусов; формирование корпуса; фраза корпуса; функция корпуса; ценность корпуса; часть корпуса; численность корпусов; эксперт по корпусам; элемент корпуса; являться корпусом; ядро корпуса

корпус (главное)

акустический корпус; английский корпус; белорусский корпус; берлинский учебный корпус; британский корпус; британский национальный корпус; газетный корпус; генеральный корпус; данный британский корпус; данный исторический корпус; данный корпус; данный национальный корпус; динамический корпус; другой корпус; западный корпус; звуковой корпус; исследовательский корпус; исторический корпус; каждый такой корпус; какой корпус; компьютерный корпус; корпус в исследовании; корпус в лингвистике; корпус в системе; корпус в словоупотреблении; корпус в создании; корпус в формировании; корпус в целом; корпус в частности; корпус включает; корпус возникает; корпус выделяется; корпус выступает; корпус газет; корпус гарантирует; корпус дает; корпус демонстрирует; корпус диалектов; корпус для предложения; корпус для решения; корпус для формирования; корпус дополняется; корпус допускает; корпус достигался; корпус единиц; корпус животных; корпус имеет; корпус используется; корпус источников; корпус контекстов; корпус материалов; корпус надписей; корпус обеспечения; корпус обладает; корпус образует; корпус обуславливает; корпус объемом; корпус относится; корпус отсутствует; корпус охватывает; корпус оценок; корпус ошибок; корпус параметров; корпус переводов; корпус по источникам; корпус по текстам; корпус по умолчанию; корпус подлежит; корпус позволяет; корпус поиска; корпус показывает; корпус получает; корпус помогает; корпус попадает; корпус построения; корпус появляется; корпус превышает; корпус предоставляет; корпус предполагает; корпус представляет; корпус преобладает; корпус признаков; корпус примеров; корпус приписывается; корпус произведений; корпус с легкостью; корпус с получением; корпус с помощью; корпус с частотой; корпус свидетельствует; корпус сводится; корпус служит; корпус СМИ; корпус совершенствуется; корпус содержит; корпус создается; корпус сопровождается; корпус составляет; корпус состоит; корпус сохраняется; корпус стремится; корпус структур; корпус сюжетов; корпус текстов; корпус топонимов; корпус транскрипций; корпус удовлетворяет; корпус усиливает; корпус учебников; корпус фонем; корпус фонотекстов; корпус форм; корпус ХАНКО; корпус является; крупный корпус; международный корпус; национальный корпус; небольшой корпус; некоторый другой корпус; некоторый корпус; необходимый корпус; новый газетный корпус; новый корпус; общедоступный корпус; общий корпус; объемный корпус; основной корпус; особый корпус; отдельный корпус; печатный корпус; письменный корпус; подобный корпус; полноценный корпус; полный корпус; польский национальный корпус; поэтический корпус; промежуточный данный корпус; публичный корпус; различный корпус; разный корпус; российский национальный корпус; российский учебный корпус; самостоятельный корпус; собственный корпус; современный корпус; современный учебный корпус; такой корпус; учебный корпус; хорватский национальный корпус; чешский корпус; чешский национальный корпус

Полученный эталон далее используется для фильтрации других текстов, которые могут пополнить тематический корпус. Если новый анализируемый текст дает определенное покрытие элементами эталона, т. е. в тексте встречаются выделенные на первом этапе термины, то он в дальнейшем пополнит первоначальную совокупность.

Впоследствии процедура анализа совокупности повторяется, при этом корректируется лексико-синтаксический эталон. Каждый из отобранных текстов корпуса может быть оценен при помощи созданного лексико-синтаксического эталона, эта оценка позволяет выделить в корпусе более типичные и менее типичные тексты (ядро и периферию). Периферийные элементы в случае необходимости могут быть удалены из совокупности.

Остается понять и выявить закономерности: насколько большей должна быть первоначальная совокупность текстов, на каком этапе происходит внутреннее разделение предметной области на подобласти, насколько политематический характер текста мешает его присоединению к тематически однородной совокупности и пр.

Таким образом, трудноперечислимое множество тематических областей потребует столь же большого разнообразия корпусов текстов. Важно понять, какие инструменты необходимы для технологической и лингвистической поддержки варьирования параметров корпусов.

В заключение упомянем стандартные методы параметризации специальных корпусов:

- 1) количественная настройка объема корпуса на определенную тематику текстов, причем в качестве фильтра могут быть использованы такие характеристики текстов, как их тональность, жанровая структура и т. п.;
- 2) задание типов специфичности текстов, определяющее объем текстов, их авторское разнообразие для выявления общих или индивидуальных лингвистических структур;
- 3) совершенствование и обогащение параметров разметки текстов, которая должна отвечать типу текстов и разнообразию решаемых задач;
- 4) совершенствование программного обеспечения для обработки входных и выходных потоков текстов корпусов.

Литература

Азарова И. В., Алексеева Е. Л. Корпус вологодских житий на сайте СКАТ // Севернорусские рукописи и старопечатные книги на Кольском Севере: материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (21–24 сентября 2011 г.). Мурманск: МГГУ, 2011. С. 86–91.

Азарова, Гордеев, 2011 — Азарова И. В., Гордеев С. С. Построение предметной онтологии на базе тематического корпуса текстов // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика — 2011». СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2011. С. 59–62.

Азарова, Синопальникова, 2004 — *Азарова И. В., Синопальникова А. А.* Использование статистико-комбинаторных свойств корпуса современных текстов для формирования структуры компьютерного тезауруса RussNet // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика — 2004». 11–14 октября 2004 г. СПб., 2004. С. 5–15.

Воейкова 2009 — *Воейкова М. Д.* Проблемы использования подкорпуса устной разговорной речи (на примере анализа русских диминутивов) // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 353–373.

Герд, Алексеева, Азарова, Захарова, 2004 — *Герд А. С., Алексеева Е. Л., Азарова И. В., Захарова Л. А.* Электронные корпуса текстов по памятникам древнерусской агиографической литературы // Научно-техническая информация. Серия 2. 2004. № 9. С. 16–19.

Герд, Захаров, 2004а — *Герд А. С., Захаров В. П.* Национальный корпус русского языка в свете проблем современной филологии // Корпусная лингвистика — 2004: Труды международной конференции (С.-Петербург, 11–14 октября 2004 г.). СПб.: СПбГУ, 2004. С. 122–130.

Герд, Захаров, 2004б — *Герд А. С., Захаров В. П.* Нерешенные вопросы Национального корпуса русского языка // Корпусная лингвистика — 2004: Тезисы докладов международной конференции (С.-Петербург, 11–14 октября 2004 г.). СПб.: СПбГУ, 2004. С. 27–29.

Гришина, 2007 — *Гришина Е. А.* О маркерах разговорной речи (предварительное исследование подкорпуса кино в Национальном корпусе русского языка) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции «Диалог-2007» (Бекасово, 30 мая — 3 июня 2007 г.). С. 147–156.

Добрушина, 2009 — *Добрушина Н. Р.* Корпусные методики обучения русскому языку // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 335–352.

Захаров, Азарова, 2012 — *Захаров В. П., Азарова И. В.* Параметризация специальных корпусов текстов // Структурная и прикладная лингвистика: Межвузовский сборник. Вып. 9. СПб.: СПбГУ, 2012. (в печати)

Кобрицов, Ляшевская, Рахилина, 2004 — *Кобрицов Б. П., Ляшевская О. Н., Рахилина Е. В.* Именная классификация как лингвистическая проблема // II Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». Москва, 18–21 марта 2004 г. Труды и материалы. М.: МГУ, 2004. С. 224.

Кустова, 2006 — *Кустова Г. И.* Валентности и конструкции прилагательных // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог-2006» (Бекасово, 31 мая — 4 июня 2006 г.) / Под ред. Н. И. Лауфер, А. С. Нариньяни, В. П. Селегея. М.: Изд-во РГГУ, 2006.

Кустова, Ляшевская, Падучева, Рахилина, 2004 — *Кустова Г. И., Ляшевская О. Н., Падучева Е. В., Рахилина Е. В.* Национальный корпус русского языка как инструмент семантико-грамматического исследования лексики // Международная конференция «Корпусная лингвистика — 2004»: Тезисы докладов. СПб.: СПбГУ. С. 50–51.

Перцов 2006 — *Перцов Н. В.* О роли корпусов в лингвистических исследованиях // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика — 2006». СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 318–331.

Плунгян, 2008 — *Плунгян В. А.* Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. № 16 (2). С. 7–20.

Савчук, 2005 — *Савчук С. О.* Метатекстовая разметка в Национальном корпусе русского языка: базовые принципы и основные функции // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005. С. 62–88.

Степанова, Асиновский, Богданова, Русакова, Шерстинова, 2008 — *Степанова С. Б., Асиновский А. С., Богданова Н. В., Русакова М. В., Шерстинова Т. Ю.* Звуковой корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день»: концепция и состояние формирования // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог-2008». Вып. 7 (14). М.: РГГУ, 2008. С. 488–495.

Шайкевич, Андрищенко, Ребецкая, 2003 — *Шайкевич А. Я., Андрищенко В. М., Ребецкая Н. А.* Статистический словарь языка Достоевского. Введение. М.: Языки славянских культур, 2003.

Sauvageot, 1964 — *Sauvageot Au.* Portrait vocabulaire français. Paris, 1964.

Е. В. Иванова,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Лексикология и фразеология (романо-германский цикл)»

Концепт — цель и средство когнитивного анализа

Понятие концепта принадлежит к одному из основных в современной отечественной лингвистике, развивающейся в русле когнитивного, антропоцентрического и культурологического направлений, которые тесно взаимодействуют между собой и во многом пересекаются. Это понятие получает разные, весьма неоднозначные трактовки и может порой вызывать неприятие ряда лингвистов, что, однако, отнюдь не умаляет его значимости и перспективности для развития науки. Подчеркнем, что речь идет об исследовании концепта именно в отечественной лингвистике, поскольку в западной «concert» в основном рассматривается как ментальное образование, близкое или тождественное значению слова или стоящему за словом понятию [см., например, Jackendoff, 1994]. Представляется возможным выделить несколько основных подходов к определению и изучению концепта, при этом эти подходы могут сочетаться в пределах одного исследования.

В ряде работ концепт предстает как ментальный конструкт, которым индивид оперирует в процессе мышления [Болдырев, 2000, с. 23], как «оперативная единица сознания» [Кубрякова, 1997, с. 24], как «базовая единица мыслительного кода человека» [Стернин, 2005, с. 257]. Усилия лингвистов направлены на моделирование этого конструкта, на создание его типологии [Бабушкин, 1998; Болдырев, 2000] и построение модели сознания, опирающейся на данный конструкт. Этот подход близок психолингвистике и базируется на постулате о том, что когнитивная лингвистика должна «отображать то, что действительно

происходит в человеческом сознании» [Ченки, 1996, с. 69]. В качестве субъекта — носителя концепта в первую очередь выступает индивид, отдельная личность. Предполагается рассматривать семантику языковых единиц, их функционирование в речи, а также производить опросы носителей языка и описывать их интроспекцию [Карасик, 2005; Стернин, 2005]. На основе определения когнитивных исследований В. З. Демьянковым в предшествующих работах это направление было отнесено нами к «когнитивной теории личности» [Иванова, 2006, с. 41]. На первый план выходит задача моделирования ментальных процессов, достаточно универсальных для представителей разнообразных культур, хотя в ряде случаев учитывается и национальная специфика концептов.

Большинство проводимых в настоящее время исследований концепта осуществляется в русле другого направления, даже если в теоретических предпосылках декларируется нечто иное. В поле зрения исследователя находятся результаты познания мира языковым социумом, а не динамика мыслительного процесса. Концепт выступает как единица восприятия и интерпретации мира языковым социумом, закреплённая в семантике языковых знаков, и направление можно назвать «когнитивной теорией социума» [Иванова, 2006, с. 42]. Концепт рассматривается как ментальное образование, репрезентированное группой языковых единиц. При этом он вряд ли может считаться базовой единицей мышления, поскольку маловероятно, что в своем мыслительном процессе человек оперирует конструктом, вербализованным двадцатью или более языковыми единицами.

Данный подход близок традиционной лингвистике, поскольку в описании концепта часто оказываются задействованными теория поля, лексико-семантическая/тематическая группа, значение и прочие устоявшиеся понятия. При изучении концепта большое внимание уделяется образности репрезентирующих его языковых единиц, что приводит к реконструкции метафорических концептов [Силинская, 2008] или же к выделению понятийной, образной и ценностной составляющих концептов [Карасик, 2005].

В исследовании концепта могут быть использованы не только научный аппарат традиционной лингвистики и методика описания концептуальных метафор, пришедшая из когнитивной лингвистики, но и другие приемы когнитивного анализа.

Концепт можно рассматривать как структуру признаков, извлекаемых из содержательного пространства, образованного всей семантикой языковых единиц как значением, так и внутренней формой (понимаемой как буквальное значение в его соотнесенности с собственно значением языкового знака). Это общее содержательное пространство отражает знание о мире, закреплённое в языковых единицах. Описание дискретных языковых единиц подчиняется задаче описания

репрезентируемой ими ментальной сущности, а в содержательном пространстве могут быть выделены свои единицы.

Такие единицы можно назвать когнитемами, которые рассматривались автором как пропозициональные единицы знания, функционально значимые для описания фрагмента языковой картины мира или концепта [более подробно см.: Иванова, 2002]. Такие единицы выделяются не только на когнитивном уровне значения, но и на когнитивном уровне внутренней формы, а также в плоскости их взаимодействия. Когнитема является проекцией фрагментов языковой семантики в концептуальную область. Когнитивный анализ возможно использовать для реконструкции концепта как на основе лексических, так и фразеологических единиц.

Повторяющиеся когнитемы относятся к прототипическим, образующим прототип — ядро концепта, его центр. Кроме того, среди когнитем можно выделить базовые, выводные и интерпретативные, а в числе последних — фантазийные.

Рассмотрим для примера концепт «Pig», представленный в английском языке фразеологическими словосочетаниями и пословицами. К базовым когнитемам можно отнести «a pig is fat» (fat as a pig), «a pig is dirty» (dirty as a pig), «a pig grunts» (gruff and grunt like a boar pig — of a pompous old man). Эти когнитемы отражают эмпирическое знание, которое может быть получено с помощью органов чувств, в основном зрения. Они выражают «наивный» взгляд на мир, представляя собой информацию, изначально усваиваемую человеком в раннем детстве. Эти когнитемы можно классифицировать как базовые. Они соотносятся с базовыми категориями человеческого сознания, такими как, например, «Цвет», «Размер», «Форма», «Число», а также с базовыми категориальными оппозициями: «Верх — Низ», «Далеко — Близко», «Молодость — Старость» и пр.

К выводным когнитемам относятся отрезки знания, связанные с наблюдением за объектом — с выводным знанием. Например, «a pig dirties someone/something» (a pig in mud tries to make others dirty — Foul habits are contagious). Граница между базовыми и выводными когнитемами, несомненно, условна. Связь между базовыми и выводными когнитемами в когнитивном пространстве можно описать так: the pig is dirty > hence, dirties other objects. Это описание — своего рода модель «наивной логики».

Третью группу когнитем составляют интерпретативные когнитемы, представляющие собой отрезки знаний, полученные в результате интерпретации окружающего мира. Так, в следующих фразеологизмах выделяется когнитема «a person is like a pig»: Lead a pig to the Rhine, it remains a pig; get the wrong pig by the ear (accuse the wrong person; hold a mistaken idea).

Разновидностью интерпретативных когнитем являются фантазийные когнитемы, входящие во внутреннюю форму, отражающую

нереальную ситуацию. Их анализ позволяет описать некоторые характеристики мира фантазии, создаваемого человеческим воображением. Например, фантазийная интерпретативная когнитивная «a pig drinks alcohol», выделяемая на основе ФЕ drunk as a pig (disgustingly so). В средневековом фольклоре напившийся человек в зависимости от степени опьянения уподоблялся последовательно овце, льву, обезьяне и, наконец, свинье, в зависимости от того, какое животное напоминал больше в состоянии опьянения [Online Etymology Dictionary].

Иерархическое описание прототипических и второстепенных когнитивных (с учетом предложенной здесь классификации в зависимости от типа заключенного в когнитивных знаниях о мире), позволяет получить комплексное представление о том или ином объекте, извлеченное из семантики группы языковых единиц. Это ментальное представление и есть концепт.

Концепт в современной лингвистике может рассматриваться в равной степени как цель и как средство анализа.

С одной стороны, реконструкция того или иного концепта позволяет описать восприятие языковым социумом того или иного «участка мира», заключенное в семантике языковых знаков, установить общие и национально-специфические черты в освоении и понимании мира.

С другой стороны, в методологическом плане подход к содержательной стороне языковых знаков с целью выявления «скрытого» в ней сложного по структуре ментального образования, соотношенного с разными пластами семантики, дает возможность рассматривать эту семантику как проекцию концептуализации мира человеком, выделяя единицы содержания в концептуальном пространстве, соотношенном с группой языковых единиц. Моделируемая концептуальная плоскость выступает характеристикой не только результатов интерпретации мира, но и языковых единиц, отражающих эту интерпретацию.

Представляется, что теория концепта — это следующая после теории поля значительная попытка описать семантику группы языковых единиц под новым углом зрения.

Литература

Бабушкин, 1998 — Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Воронеж, 1998.

Болдырев, 2000 — Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000.

Иванова, 2002 — Иванова Е. В. Пословичные картины мира. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.

Иванова, 2006 — Иванова Е. В. Концепт как одна из основных единиц когнитивной лингвистики // Вестник СПбГУ. Серия 8. Вып. 3, 2006. С. 40—48.

Карасик, 2005 — Карасик В. И. Здравый смысл как лингвокультурный концепт // Концептуальное пространство языка: сб. научных трудов / Под ред. Е. С. Кубряковой. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2005. С. 184—203.

Кубрякова, 1997 — Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство языка // Изв. АН. Серия ЛиЯ, 1997. Т. 56, № 3. С. 22—31.

Силинская, 2008 — Силинская Н. Н. Концепты отрицательных эмоций в английской фразеологической картине мира. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008.

Стернин, 2005 — Стернин И. А. Типы значений и концепт // Концептуальное пространство языка: сб. научных трудов / Под ред. Е. С. Кубряковой. Тамбов, Изд-во ТГУ, 2005. С. 257—282.

Ченки, 1996 — Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // ВЯ. 1996. № 2. С. 68—78.

Jackendoff, 1994 — Jackendoff R. Patterns in the mind. Language and human nature. N.Y.: Harvester Wheatsheaf, 1994.

Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=drunk+as+a+pig+&searchmode=none

О. А. Казакевич,

канд. филол. наук, Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Россия)

Многоязычие Таймыра и Ямала: фрагменты большой мозаики (по материалам экспедиций НИВЦ МГУ 2011 г.)¹

На фоне обсуждения специфики полевой работы в ситуации языкового сдвига в статье представлены некоторые результаты двух лингвистических экспедиций, организованных на базе лабораторией автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ при поддержке РФФИ и РГНФ (грант 11-06-10019к, экспедиция в поселки Потапово и Хантайское Озеро Таймырского муниципального р-на Красноярского края) и РГНФ (грант 11-04-18004е, экспедиция в поселок Толька и на факторию Быстринка Пуровского р-она Ямало-Ненецкого АО) в 2011 г.

1. Введение в контекст

Документация и исследование исчезающих языков, прежде всего исчезающих языков Сибири, является одним из направлений работы лаборатории автоматизированных лексикографических систем Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М. В. Ломоносова. Сбор языковых материалов в поле — неотъемлемая составляющая этой работы. С 1993 г. на базе лаборатории или с участием сотрудников лаборатории организованы и проведены 22 линг-

¹ Статья подготовлена в рамках проекта «Создание интернет-ресурса „Малые языки Сибири: наше культурное наследие“ (на материале языков бассейна Среднего Енисея и Среднего и Верхнего Таза)», грант РГНФ 12-04-12049в.

вистические экспедиции в поселки¹ Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого АО, Эвенкийского, Таймырского, Туруханского и Енисейского районов Красноярского края, Верхнекетского и Каргасокского районов Томской области². В основном мы работали с говорами трех языков, функционирующих на этой территории и в отдельных зонах довольно интенсивно между собою контактирующих, — селькупского, кетского и эвенкийского.

В ходе экспедиций был выработан единый подход к сбору данных. Основными принципами нашей работы стали комплексность проводимой документации локального варианта языка, фиксация лингвистического материала от информантов, демонстрирующих разную степень владения языком, фиксация лингвистического материала от носителями максимального количества автохтонных языков, представленных в поселке, и, наконец, использование новых технологий для фиксации лингвистического материала,

При комплексном подходе в сферу наших интересов естественным образом попадает информация следующих типов:

- демографическая информация;
- социолингвистическая информация;
- лингвистическая информация;
- фольклор;
- информация о традиционной и современной культуре.

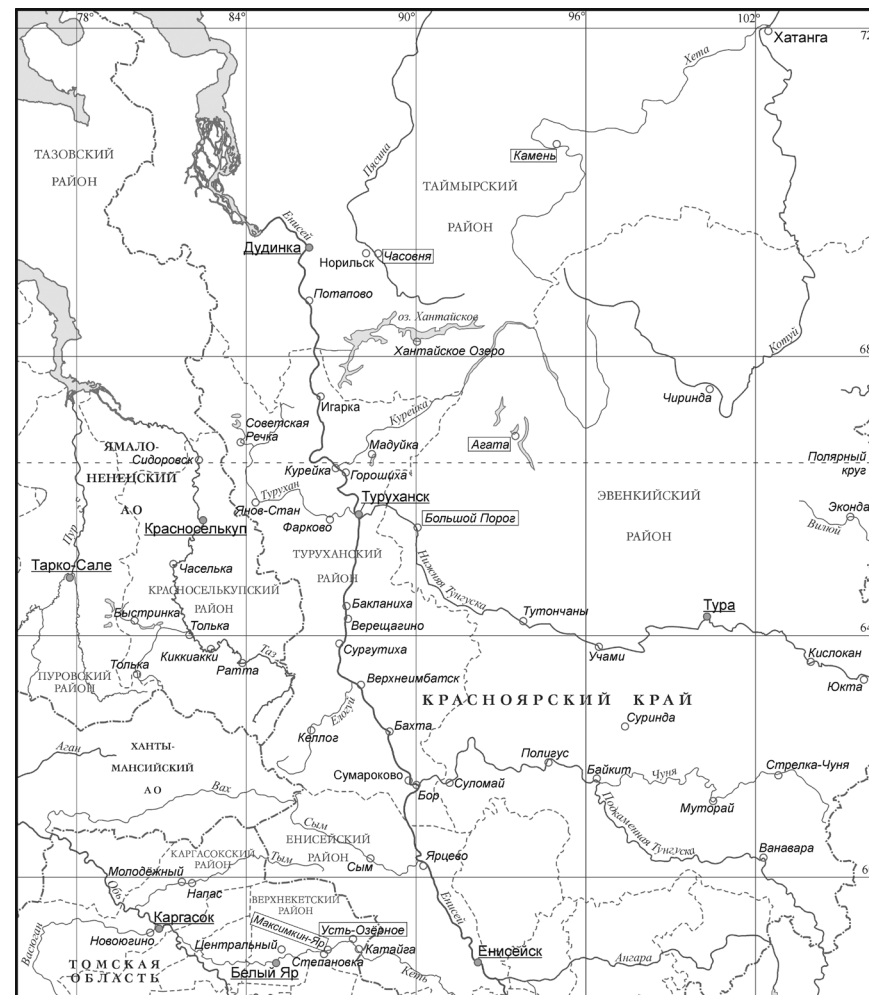
Демографическую информацию мы получаем обычно от районной администрации и затем уточняем, анализируя посемейные списки жителей поселков, заменившие сегодня похозяйственные книги, но, как правило, уступающие последним в информативности. Демографическая информация служит необходимым фундаментом описания языковой ситуации в поселке в целом и в каждой из этнолокальных групп на его территории.

Источником социолингвистической, а также отчасти дополнительной демографической и социологической информации служит проводимое нами выборочное анкетирование жителей поселков. Наша анкета содержит 35 вопросов, направленных на выяснение лингвистической биографии респондента (где родился, кто родители, бабушки и бабушки, где жил до школы и на каком языке в то время говорил, когда научился говорить по-русски, где учился, на каком языке говорил со сверстниками вне школы и т. д.) и сфер и объема использования им языков, которыми он владеет, в настоящее время; кроме того, респонденту предлагается оценить собственный уровень владения этническим языком и другими языками, в том чис-

¹ Для краткости мы будем говорить о поселках, хотя два из 43 населенных пунктов, в которых мы работали (Тарко-Сале и Дудинка), имеют статус города.

² Экспедиции проводились при поддержке РФФИ, РГНФ, Фонда поддержки исследовательских проектов Института «Открытое общество» и Департамента науки и инноваций Ямало-Ненецкого АО.

ле русским; анкета содержит также вопросы, дающие возможность определить отношение респондента к своему этническому языку и к преподаванию этого языка в школе; завершают анкету вопросы о знании фольклора и о передаче его своим детям и внукам. В каждом поселке мы стараемся проанкетировать представителей разных поко-



Карта 1. Регион проведения экспедиций¹

¹ Карта составлена Ю. Б. Коряковым.

лений таким образом, чтобы получить информацию обо всех семьях, живущих в поселке. Анкеты заполняются исследователем в процессе беседы с респондентом. Еще один источник социолингвистической информации — неформальные беседы с жителями (интервью). Однако адекватное представление о языковой ситуации в поселке формируется только после того, как полученная от респондентов субъективная информация дополняется объективной информацией об уровне владения этническим языком представителей разных поколений, получаемой в ходе сбора лингвистических данных.

Социолингвистическое обследование обычно начинается нашу работу в поселке и продолжается уже параллельно с собственно лингвистической. В ходе обследования на начальном этапе удастся познакомиться с жителями поселка и выявить потенциальных информантов по языку.

К настоящему времени нами обследовано 43 населенных пункта, в которых живут селькупы, кеты, эвенки, а также энцы, ненцы, долганы... С каждым новым поселком у нас появляется новый фрагмент большой мозаики языковой ситуации в Центральной Сибири. Все автохтонные языковые общности обследованных поселков по меньшей мере двуязычны: русским языком владеют практически все независимо от этнической принадлежности, родного языка, а на сегодняшний день уже и возраста¹. Общим для всех поселков является доминирование русского языка во всех коммуникативных сферах, включая семейно-бытовую, вне зависимости от этнической принадлежности говорящих и в довольно слабой зависимости от их возраста. Внутрисемейная передача языка от родителей к детям сохраняется только в одном эвенкийском и четырех селькупских поселках, однако и в этих поселках семья, в которых дети владеют этническим языком, — это скорее исключение, чем правило, и объем функционирования этнического языка в каждом следующем поколении неуклонно снижается. Иными словами, во всех автохтонных языковых общностях поселков идет процесс языкового сдвига — постепенный переход с этнического языка на русский. Однако, несмотря на выявляемые общие черты, ситуация практически в каждом населенном пункте имеет свою специфику, и эту специфику необходимо учитывать для оценки сегодняшнего состояния и перспектив дальнейшего существования автохтонных языков на данной территории.

Сбор лингвистического материала ведется посредством:

- аудио- и видеозаписи текстов;
- расшифровки (транскрибирования и перевода) аудиозаписи текстов с помощью информантов — носителей языка;

¹ В поселках Суринда и Эконда нам говорили об эвенкийских бабушках, не владеющих русским языком, но при работе с этими бабушками неизменно выяснялось, что все они пусть в ограниченном объеме, но понимают и могут что-то сказать по-русски.

- аудиозаписи тематических списков слов (словарей-тезаурусов), включающих грамматическую информацию;
- аудиозаписи грамматических анкет.

Поскольку текст является самым универсальным лингвистическим материалом, во время экспедиции мы обычно используем любую возможность, чтобы сделать аудиозапись звучащей речи. Однако аудиозапись текста — это лишь исходная точка для дальнейшей работы. Сделанную аудиозапись необходимо расшифровать, т. е. получить ее графическое представление (транскрипцию) и перевод на русский язык, который в какой-то мере будет отражать наше понимание текста. Полевая расшифровка аудиозаписи текста — вещь абсолютно необходимая и осуществляется с помощью информанта — носителя языка. В идеальном случае расшифровщик — это сам рассказчик. Однако привлечь рассказчика к расшифровке собственного текста удастся далеко не всегда, особенно если это человек пожилой. Тогда мы стараемся обратиться за помощью к кому-либо из его младших родственников, в крайнем случае к людям, хорошо его знающим и относящимся к нему с уважением. Расшифровка текста — работа тяжелая, требующая, помимо знания языка, внимания и терпения, и личного хорошего отношения расшифровщика к рассказчику, а также знания особенностей его (рассказчика) идиолекта, что весьма способствует успеху в работе. На входе расшифровки — аудиозапись текста, на выходе — транскрипционная запись, строго говоря, не самого исходного текста, а текста, повторенного расшифровщиком после неоднократного пофрагментного прослушивания исходного текста, а также по возможности пословный перевод этого текста на русский язык. Функция лингвиста при расшифровке с информантом состоит, во-первых, в том, чтобы добиться от расшифровщика повторения тех фрагментов, которые звучат при прослушивании аудиозаписи, а не их приблизительных вариантов (что удастся далеко не всегда), во-вторых, затранскрибировать то, что произносит расшифровщик, отметив при этом расхождения с исходным текстом, если таковые замечены, в-третьих, записать предлагаемый расшифровщиком перевод каждого фрагмента на русский язык с минимальными пропусками (особенно большие проблемы при переводе вызывают у расшифровщиков используемые рассказчиками дискурсивные маркеры) и, наконец, по возможности поддерживать в расшифровщике желание довести работу до конца. Следует учитывать, что для расшифровки десятиминутного текста может потребоваться час, а то и два интенсивной работы. Очевидно, что чем лучше сам лингвист знает язык, на котором сделана аудиозапись текста, тем больше он может понять смысл текста непосредственно из аудиозаписи, но даже и в случае хорошего практического знания исследуемого языка вряд ли разумно пренебрегать помощью носителя языка. В языках без письменной традиции локальная и индивидуальная вариатив-

ность произношения столь велика, что помощь носителя того же локального говора, что и рассказчик, позволяет избежать многих неточностей при расшифровке. Кроме того, расшифровщик иногда проясняет то, что в аудиозаписи практически не слышится. Произнесение «в уме» (или, скорее, не-произнесение) окончаний глаголов и имен очень характерно для носителей верхнетолькинского говора, так что при расшифровке аудиозаписи текстов на этом говоре без носителей языка никак не обойтись.

Языки, с которыми мы работаем, существуют в виде множества локальных вариантов (говоров). Одной из важных составляющих синхронного описания говоров исчезающего языка мы считаем создание озвученных словарей этих говоров. Перед началом аудиозаписи словаря мы объясняем информанту, согласившемуся работать с нами, что нам очень важно зафиксировать произношение слов, свойственное именно его говору. Во время записи мы предъявляем информанту в качестве стимула русское слово из заранее составленного для этой цели русско-селькупского, русско-кетского, русско-эвенкийского и т. д. тематического словаря (от 2000 до 4000 лексических единиц)¹ и просим трижды произнести эквивалент этого слова на местном говоре. Если информант не может вспомнить соответствующее слово своего говора, мы зачитываем эквивалент из нашего списка в качестве подсказки, извиняясь за наше несовершенное произношение и отмечая, что слово из списка принадлежит другому говору и может не соответствовать тому, что используется в этнолокальной группе, к которой принадлежит информант. Если информант опознает слово, мы просим трижды произнести его так, как принято в его группе, если нет, переходим к следующему слову. Иногда информант сообщает, что знает предложенное нами слово, но отмечает, что оно «чужое», «так говорят в других местах»; при этом он может вспомнить «свое» слово, соответствующее словарному. Изначально в каждом поселке мы предполагали записывать словарь минимум от восьми информантов разного пола и возраста, однако практика показала, что это удается сделать далеко не всегда, в частности, потому, что в некоторых поселках просто нет такого количества носителей соответствующего языка. Наряду с «большими», полными словарями-тезаурусами мы озвучиваем «малый», 400-словный список. Малый словарь используется прежде всего для работы с информантами, слабо владеющими своим этническим языком.

Помимо лексического, фонетического и грамматического материала аудиозапись словарей содержит интересную этнологическую, а также социолингвистическую и психолингвистическую информацию, причем не только о каждом конкретном информанте, но и о

¹ Подробнее о подготовке словарей-тезаурусов для экспедиционного озвучивания см. [Казакевич и др., 2002].

ситуации в поколении, которое этот информант представляет, и в этнолокальной группе, членом которой он/она является. Среди наших информантов были люди, в детстве говорившие исключительно или преимущественно на своем этническом языке, но с годами в некоторой степени утратившие свою языковую компетенцию. Аудиозапись сеансов словарной работы с ними представляет, на наш взгляд, ценный материал, помогающий лучше понять механизм утраты языка.

Опыт нашей полевой работы показывает, что кроме чисто научного значения лингвистические экспедиции имеют социальное значение: в поселках, где работает экспедиция, оживляется интерес к этническому языку, сам факт владения языком начинает рассматриваться как некая ценность, вызывающая внимание «приезжих людей». Оказывается, что многие пожилые люди, с которыми мы работаем, очень хотели бы передать свои знания если не детям, которым не до того, и даже не внукам, то хотя бы правнукам, тем, кто будет жить потом, когда их самих уже не будет на свете. Поэтому запись их речи на современные носители, дающие высокое качество звучания и видеоряд (а мы всегда предлагаем нашим информантам послушать или посмотреть, как получается запись, и они способны оценить качество), встречается ими с большим энтузиазмом. Вернувшись из экспедиции, мы в обязательном порядке отправляем копии записанных материалов (как правило, это видеозаписи и фотографии) в поселки нашим информантам, не дожидаясь, когда материалы будут обработаны (на это может уйти много времени, а мы хотим, чтобы информанты получили фиксацию их языка как можно скорее). Таким образом, наши полевые материалы оказываются доступными не только для нас самих как исследователей (или, более широко, для науки), но и для самих информантов, а через их посредство и для других членов этнолокальной группы, к которой принадлежат информанты.

В 2011 г. мы провели две экспедиции: на Таймыр (в Таймырский район Красноярского края) и в Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Таймырское многоязычие

Экспедиция к таймырским эвенкам проводилась при поддержке РФФИ (грант 11-06-10019к). Целью экспедиции была запись качественных аудио- и видеоматериалов (в первую очередь текстов) по эвенкийским говорам поселков Хантайское Озеро и Потапово для их (текстов) последующей обработки и включения в мультимедийный корпус текстов, создаваемый в рамках проекта «Мультимедийный размеченный корпус текстов на говорах западных эвенков» при поддержке РФФИ (грант 10-06-00532а). Эвенкийские языковые материалы из Хантайского озера фиксировались Г. М. Василевич в 1920—1930-е

гг. [Василевич, 1936], эвенкийские языковые материалы из Потапова, насколько нам известно, ранее не фиксировались.

Исходя из нашей установки на максимально полную фиксацию совокупности локальных вариантов автохтонных языков, представленных в местах нашей экспедиционной работы, мы расширили рамки намеченной программы. Отправляясь «за эвенкийскими говорами», но имея представление о том, что поселки, в которых нам предстояло работать, не двуязычны (с русским и эвенкийским языками), а многоязычны (наряду с эвенкийским в них есть и другие малые языки Сибири, прежде всего энецкий и долганский), мы заранее подготовились к тому, чтобы использовать представлявшуюся нам возможность собрать не только эвенкийский языковой материал, но и материал других автохтонных языков, поскольку все они сегодня находятся под угрозой исчезновения и фиксация текстов и лексического материала на них явно не будет лишней. В ходе подготовки к экспедиции были составлены полный (объемом примерно 1500 лексем) и сокращенный (объемом 400 лексем) русско-энецкий и русско-долганский тематические словники по образцу полного и краткого русско-эвенкийских словарей-тезаурусов, используемых нами при сборе эвенкийского лексического и грамматического материала.

Экспедиция проходила с 11 июля по 12 августа. В ней участвовало 6 человек, в том числе студентка Института лингвистики РГГУ и двое студентов Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ. Мы работали в поселках Потапово и Хантайское Озеро и в г. Дудинке Таймырского муниципального района Красноярского края. К месту работы мы добирались сначала на самолете Москва—Норильск, на автобусе до Дудинки, затем на пароходке в Потапово. После почти двух недель работы в Потапове на пароходке мы добрались до Дудинки, а оттуда вертолетом до Хантайского Озера. В Хантайском Озере мы проработали две недели, до следующего вертолета, с которым и вернулись в Дудинку, а оттуда в Москву. За время полевой работы (33 дня, включая переезды) шестеро участников экспедиции проработали с 41 информантом — носителем автохтонных языков региона — эвенкийского, долганского, энецкого и нганасанского — в общей сложности более 400 часов. Это время включает аудиозапись лингвистического материала (мы привезли 220 часов аудиозаписи словарей и текстов на таймырских и игаркинском говорах северного наречия эвенкийского языка, каменском говоре и хатангском диалекте долганского языка, лесном диалекте энецкого языка и хатангском диалекте нганасанского языка), видеозапись процесса порождения текстов и расшифровку полученной аудиозаписи текстов, сделанную с помощью информантов. Кроме того, участники экспедиции провели социолингвистическое анкетирование автохтонного населения поселков (всего было заполнено 244 анкеты: 68 в Потапове, 154 в Хантайском Озере и 21 в Дудинке); анализировались также получен-

ные в районной администрации списки жителей поселков. Для получения информации об отношении местной администрации и местной интеллигенции к стремительно развивающемуся в автохтонных этнолокальных группах района процессу утраты этнического языка участники экспедиции беседовали с представителями администрации поселков, школьными учителями, клубными работниками и местными активистами Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Для разъяснения целей, задач и методов работы экспедиции и для того, чтобы лишний раз подчеркнуть ценность автохтонных языков Сибири как части нашего национального достояния, мы дали интервью телерадиокомпании «Таймыр».

Проведенное социолингвистическое обследование показало, что во всех этнолокальных группах автохтонного населения Потапова и Хантайского Озера развивается процесс языкового сдвига, передача этнического языка от родителей к детям прекратилась в Потапове у энцев не менее 40 лет назад, у эвенков — не менее 30 лет назад, в Хантайском Озере у эвенков не менее 25 лет назад, у долган несколько позже, примерно 10—15 лет назад.

Население Потапова — 335 человек. По данным районной администрации, там живут 138 ненцев, 10 энцев, 8 нганасан, 17 долган и 20 эвенков. Цифры эти весьма приблизительны: энцев (тех, кто осознает себя энцами) в поселке примерно в четыре раза больше, а ненцев, соответственно, меньше, при этом многие из жителей с энецким этническим самосознанием имеют ненцев среди своих предков (браки с ненцами были довольно обычны). Эвенкийским языком в Потапове владеют в разной степени человек пять, все старше 45 лет. Энецким языком владеют в разной степени едва ли более 15 человек, свободно владеют 6 человек, все старше 45 лет. Долганским языком владеют не более 5—6 человек, свободно владеют две женщины (обе старше 50 лет). Нганасанским языком в Потапове владеют двое (старше 45 лет). Наконец, разная степень владения ненецким языком в Потапове встречается не только у ненцев старше 30 лет, но и у пожилых энцев, реже у эвенков. В потаповской средней школе спорадически преподается энецкий и ненецкий язык, насколько можно судить, не слишком эффективно.

Население Хантайского Озера — 355 человек, из них 144 эвенка, 177 долган и 4 энца. Сегодня эвенкийские жители Хантайского Озера — это собственно хантайские эвенки, а также выходцы из фактории Камень, ликвидированной в 1980 г., фактории Агата, ликвидированной в 1970-е гг., из с. Потапова и окрестностей Игарки. В Хантайском Озере эвенкийским языком в разной степени владеют человек 40 (все они старше 30 лет), свободно владеют человек 10—15 (все старше 60 лет, выходцев из Камня среди них нет). Долганским языком в разной степени владеют человек 100 (все они старше 25 лет), свободно владеют человек 40—45 (все старше 50 лет). Исключение

составляет приехавшая из Хатангского района 27-летняя учительница долганского языка, свободно говорящая на хатангском диалекте (что свидетельствует о гораздо лучшей сохранности хатангского диалекта в сравнении с каменским и прочими говорами долган Хантайского Озера). Факторию Камень ликвидировали, а ее жителей (эвенков и долган) переселили в Хантайское Озеро, бывшее на тот момент практически мононациональным эвенкийским поселком, в 1980 г. Многие хантайские эвенки считают, что утрата ими языка началась с приходом людей из Камня. Стоит заметить, что в Камне, по-видимому, происходило вытеснение эвенкийского языка долганским; проводя анкетирование, мы обнаружили следы этого вытеснения: некоторые пожилые выходцы из Камня, этнически идентифицирующие себя с эвенками, эвенкийским языком не владеют совсем, а родным языком называют долганский. В неполной средней школе Хантайского Озера преподаются эвенкийский и долганский языки, однако пока что эффективность преподавания оставляет желать лучшего. Впрочем, с приездом новой учительницы изменение ситуации, по крайней мере для долганского языка, вполне возможно.

Население Дудинки 22 049 человек, среди них 71 эвенк, 786 долган, 390 ненцев, 111 нганасан и 24 энца. Пожилые люди (старше 60), живущие в городе, как правило, свободно владеют своим этническим языком, городская молодежь этническим языком не владеет; среди представителей среднего поколения и молодежи владение этническим языком встречается только у ненцев и долган.

Вот что мы привезли из экспедиции.

Эвенкийские материалы:

- 36 эвенкийских текстов на пяти довольно близких говорах северного наречия эвенкийского языка — игаркинском, потаповском, хантайском и агатском, записанных от 2 информантов 52 и 55 лет в Потапове, от 7 информантов в возрасте от 60 до 77 лет в Хантайском Озере и от 3 информантов (двоих мужчин 74 и 77 лет и женщины 61 года) в Дудинке; продолжительность одного текста от 5 до 40 минут; среди текстов два диалога, остальные монологи (9 сказок, 19 историй жизни, три анекдота, одно стихотворение и две песни); расшифрованы все потаповские и хантайские, но только два дудинских текста;
- 5 версий полного озвученного эвенкийского словника тезаурусного типа (содержащего грамматический и фонетический вопросы) объемом более 2000 единиц, записанные в Хантайском Озере от 5 информантов (двоих мужчин 58 и 68 лет и трех женщин 63, 71 и 72 лет, одна из женщин — носительница игаркинского говора);
- 9 версий озвученного сокращенного эвенкийского словника-тезауруса объемом 400 единиц, записанные от 2 информантов 45 лет

и 51 года в Потапово (потаповский говор) и от 7 информантов (5 мужчин в возрасте от 34 до 44 лет и 2 женщин 42 и 60 лет) в Хантайском Озере.

Долганские материалы:

- 9 текстов на каменском говоре долганского языка продолжительностью от 10 до 30 минут, записанные в Хантайском Озере от 5 информантов (одного мужчины 59 лет и 4 женщин в возрасте от 53 до 72 лет) (рассказы о жизни (6), песни (2), диалог);
- 5 текстов на хатангском диалекте долганского языка (4 рассказа о жизни продолжительностью от 15 до 40 минут, записанные в Потапове от информантки 51 года родом из Хатангского района, и диалог между этой же информанткой и носительницей каменского говора 74 лет, продолжительность диалога 40 минут); 7 из 14 долганских текстов расшифрованы;
- озвученный полный долганский словник-тезаурус объемом около 1500 лексем, записанный в Хантайском Озере от информантки-носительницы каменского говора 53 лет;
- 6 версий озвученного сокращенного долганского словника-тезауруса (объемом 400 лексем) на каменском говоре, записанные в Хантайском Озере от 5 информантов (мужчины 53 лет и 4 женщины в возрасте от 32 до 65 лет) и от одной информантки 74 лет в Потапове;
- озвученный сокращенный долганский словник-тезаурус, записанный в Потапове от информантки — носительницы хатангского диалекта 46 лет.

Энецкие материалы:

- 12 текстов на лесном диалекте энецкого языка продолжительностью от 10 минут до 1 часа 40 минут, записанные в Потапове от 4 информантов-мужчин в возрасте от 52 до 66 лет (две сказки и 9 рассказов о жизни) и одной женщины 57 лет (песня);
- 3 версии озвученного полного энецкого словника-тезауруса объемом около 1500 лексем, записанные в Потапове от 3 информантов — носителей лесного диалекта 52, 58 и 64 лет;
- озвученный сокращенный энецкий словник-тезаурус объемом около 400 лексем, записанный в Потапове от информанта 66 лет (лесной диалект).

Нганасанские материалы:

- 4 нганасанских текста, записанных в Потапове от информанта 49 лет (2 былички и 2 рассказа о жизни); расшифрован один нганасанский текст.

А также:

- материалы к описанию языковой ситуации в поселках Потапово и Хантайское Озеро (243 заполненные анкеты);
- отснятые во время экспедиции видеоматериалы (15 часов), отражающие как функционирование эвенкийского, долганского, энецкого и нганасанского языков в поселках и райцентре, так и отдельные этнокультурные реалии современной жизни поселков и г. Дудинки;
- фотоматериалы (более 3000 кадров), среди которых фотографии жителей поселков и их быта, а также самих поселков и их природного окружения.

3. *Селькупский мир Верхней Тольки*

Ямальская экспедиция в район проживания носителей верхнетолькинского говора северного наречия селькупского языка проводилась при поддержке РГНФ (грант 11-04-18004е). Экспедиция проходила с 28 августа по 20 сентября 2011 г. В ней участвовали три человека.

Мы работали на территории, где ведет добычу нефти компания «Роснефть». В тех местах, где построены дороги, въезд на территорию «Роснефти» осуществляется через специальные, похожие на пограничные контрольно-пропускные пункты только при наличии соответствующим образом оформленного пропуска. Сложность работы в этом районе была обусловлена не столько удаленностью интересовавших нас населенных пунктов от районного центра, г. Тарко-Сале, сколько отсутствием стабильной транспортной связи между районным центром и этими поселками.

В Тольку, расположенную в юго-восточной части Пуровского района на границе с Красноселькупским районом примерно в 250 км от районного центра, г. Тарко-Сале, один раз в месяц (обычно это первые числа месяца) из Тарко-Сале летает почтовый вертолет, в народе называемый пенсионным, поскольку на нем, помимо почты, привозят пенсию толькинским пенсионерам. Добраться из Тарко-Сале до Тольки в летнее (а также в весеннее с начала таяния снегов и осеннее до установления морозной погоды) время «по земле» невозможно: места вокруг Тольки болотистые, дорог нет. Зимой через поселок проходит зимник (зимняя дорога), по которой ведется завоз оборудования, горюче-смазочных веществ и продуктов на окружающие поселок буровые; завоз продуктов и горючего в саму Тольку тоже обычно проходит по зимнику.

Фактория Быстринка расположена на территории Красноселькупского района в западной части хорошо известной среди северных селькупов системы Чертовых озер: там есть и Лозыль-то (Чертово озеро), и Нум-то (Божье озеро), однако находится в юрисдикции Пуровского района. Регулярной транспортной связи с райцентром у

фактории и вовсе нет. Вертолет летает туда лишь по спецзаказу. Зато из Тарко-Сале в Быстринку можно добраться без помощи вертолета: сначала надо проехать на внедорожнике около 200 км до Пионерки (поселок нефтяников, являющийся центральной базой «Роснефти» на юге Пуровского района), что при тамошних дорогах занимает примерно пять часов, а потом пересечь на моторную лодку и ехать на ней около 100 км по извилистой реке Поккыкылькы (Река, на которой рыбачат сетями), а затем еще 30 км по озерам (в общей сложности водная часть пути занимает еще пять часов). Во время нашего пребывания в районе обычная сложность транспортной ситуации была усугублена тем, что реки и особенно озера к концу лета пересохли, и пройти по ним на моторной лодке стало делом далеко не простым. Заметим, что если бы не тщательная подготовка к экспедиции, частью которой (подготовки) было установление контакта с администрацией Пуровского района за несколько месяцев до начала экспедиции, разъяснение целей и задач экспедиции, а также значения материалов, которые мы предполагали собрать, причем не только для научных исследований, но и для практических целей сохранения селькупского языка и совершенствования подходов к его преподаванию, нам вряд ли удалось бы выполнить стоявшие перед экспедицией задачи. Без содействия администрации Пуровского района нам трудно было бы добраться до Тольки и Быстринки, а если бы мы и смогли это сделать, то не известно, когда и как мы бы оттуда выбрались.

До Тарко-Сале мы добирались через Ноябрьск (авиарейс Москва—Ноябрьск) и Пуровск (поезд Ноябрьск—Пуровск), из Пуровска в Тарко-Сале мы доехали на машине — все это заняло меньше суток. Как уже отмечалось, с транспортными проблемами на территории района нам помогла справиться районная администрация. Там же мы получили необходимые для нашей работы списки населения Тольки и Быстринки. 31 августа на школьном вертолете мы вылетели в Пуровскую Тольку, где проработали до 13 сентября. 13 сентября на попутном вертолете нефтяников мы вылетели из Тольки в Ноябрьск, а оттуда на машине доехали до Тарко-Сале. 14 сентября на внедорожнике, предоставленном администрацией Пуровского района, а затем на моторной лодке, предоставленной ОАО СОСТСО «Ича» по просьбе все той же администрации, мы добрались до фактории Быстринка. Проработав на фактории с 15 по 18 сентября, 19 сентября мы на моторной лодке, а затем на внедорожнике добрались до Тарко-Сале. Утром 20 сентября из Тарко-Сале мы на машине доехали до Пуровска, из Пуровска на поезде добрались до Ноябрьска, а оттуда на самолете улетели в Москву.

Полевой сезон длился 24 дня (включая переезды). За это время мы проработали с 24 информантами (23 носителями верхнетолькинского говора и одним носителем среднетазовского говора северного

наречия селькупского языка) более 350 часов. Кроме того, мы проанализировали похозяйственные списки жителей поселков и провели социолингвистическое анкетирование. Для получения информации об отношении местной администрации и местной интеллигенции к происходящему в поселках языковому сдвигу (переходу селькупов, прежде всего молодежи, на русский язык) мы, как обычно, побеседовали с представителями администрации поселков, школьными учителями, клубными работниками и местными активистами Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Небольшое время, проведенное нами в райцентре, было потрачено на контакты с районной администрацией, а также на расшифровку текстов, записанных в поселках, но на месте не расшифрованных.

По результатам проведенного социолингвистического обследования языковая ситуация в этнолокальных группах верхнетолькинских селькупов может быть кратко представлена следующим образом.

Поселок Толька (Пуровская): население — 103 человека, в том числе 97 селькупов, примерно 60 из них в разной степени владеют селькупским языком, в 2—3 семьях сохраняется передача языка от родителей к детям.

Фактория Быстринка: население — 66 человек, в том числе 62 селькупа, примерно 50 из них в разной степени владеют селькупским языком, в 1—2 семьях сохраняется передача языка от родителей к детям.

Город Тарко-Сале: население — 24 000 человек, в том числе 174 селькупа, около 30 из них в разной степени владеют селькупским языком, внутрисемейная передача языка от родителей к детям прервана.

Ни в Тольке, ни в Быстринке нет школы, дети уезжают оттуда учиться в Таркосалинскую школу-интернат. В школе-интернате преподается селькупский язык (наряду с ненецким).

Все верхнетолькинские селькупы владеют русским языком, селькупским владеют представители старшего и среднего поколения (старше 30) и в разной степени (от понимания до свободного владения) молодежь (старше 20 лет) в Тольке и Быстринке. В противоположность Тольке и Быстринке селькупская молодежь, живущая в Тарко-Сале, своим этническим языком, как правило, не владеет. Что касается школьников, то примерно половина тех, кто приезжает учиться в школу-интернат Тарко-Сале из Тольки или Быстринки, понимает простую беседу по-селькупски, но что-то сказать могут единицы. Таким образом, передача селькупского языка от родителей к детям сохраняется у верхнетолькинских селькупов только в нескольких семьях. В Тольке селькупский язык продолжает оставаться языком семейно-бытового общения у представителей старшего поколения (старше 50 лет) и отчасти у представителей среднего поколения (35—50 лет),

однако с детьми представители и старшего, и среднего поколения чаще говорят по-русски, чем по-селькупски. Большинство народу, приписанного к Быстринке, постоянно живут не на фактории, а на своих рыболовных точках, на факторию, как и сотню лет назад, приезжают, только чтобы сдать рыбу или ягоду летом, рыбу или пушнину зимой. Языком повседневного общения семей, живущих на точках, в большинстве случаев является селькупский, в том числе и в разговоре с детьми, поэтому дети из Быстринки в основном понимают селькупскую речь, однако мало для кого из них говорить по-селькупски также естественно, как по-русски. В Тольке Пуровской и в еще большей степени в Быстринке есть возможность сохранить и расширить внутрисемейную передачу языка от родителей к детям, но будет ли эта возможность реализована, покажет время, которое — увы — при отсутствии специальных программ поддержки работает против малых языков.

Из экспедиции мы привезли:

- озвученный селькупский словарь объемом 4000 единиц, записанный от 4 информантов — носителей верхнетолькинского говора в пос. Толька (от троих мужчин в возрасте от 37 до 62 лет и от одной женщины 57 лет);
- озвученный сокращенный селькупский словарь объемом 400 единиц, записанный от 7 информантов — носителей верхнетолькинского говора (2 жителей Тольки — мужчины 45 лет и женщины 37 лет — и 5 жителей Быстринки — 1 мужчины 49 лет и 4 женщин в возрасте от 34 до 60 лет) (этот словарь включает наиболее употребительную лексику и использовался нами, с одной стороны, для работы с информантами, не готовыми работать с нами по несколько дней, которые требуются для озвучивания полного словаря, с другой стороны, для тех, кто не слишком хорошо владеет селькупским языком);
- 35 текстов (34 на верхнетолькинском говоре и один на среднетазовском говоре северного наречия селькупского языка): аудиозапись, видеозапись, расшифровка (транскрипция и русский перевод, близкий к пословному); 23 текста были записаны в Тольке, 12 в Быстринке (именно в Быстринке был записан текст от выходца со Среднего Таза); продолжительность звучания текстов от 5 до 40 минут; среди текстов один полилог с тремя участниками (записать такой текст случается не часто), остальные — монологи, причем в основном это рассказы о жизни, в том числе и охотничьи рассказы (27), фольклорных текстов (сказок) значительно меньше (7);
- грамматический материал, позволяющий сделать некоторые выводы об особенностях ряда грамматических форм верхнетолькинско-го говора по сравнению с другими говорами северного наречия селькупского языка;

- материалы к описанию социолингвистической ситуации в поселках, где работала экспедиция (результаты выборочного анкетирования — всего было проанкетировано 62 человека: 46 в Тольке и 26 в Быстринке — и обработки похозяйственных списков жителей поселков);
- видеоматериалы, отражающие как функционирование верхнетолькинского говора селькупского языка, так и отдельные этнокультурные реалии современной жизни поселков, в которых мы работали (8 часов);
- фотоматериалы (более 2000 кадров).

Подводя итог нашему рассказу о результатах экспедиций одного года, нельзя не отметить, что современные методы фиксации лингвистического материала позволяют за сравнительно небольшой сезон работы собирать значительный объем данных. При этом узким местом зачастую становится обработка собранного материала.

Результаты двух наших экспедиций 2011 г. наглядно демонстрируют, сколь своеобразна жизнь автохтонных сибирских языков в каждой отдельно взятой этнолокальной группе, и лишней раз подтверждают сделанный нами ранее на другом материале вывод о том, что при создании функциональной типологии малых языков¹ единицей описания должна быть языковая общность отдельно взятого населенного пункта, а не более крупных территорий [Казакевич, 2010]. Общая картина языковой ситуации в Сибири складывается из отдельных фрагментов, и картина будет тем ярче, чем ярче будет прорисован каждый из ее мозаичных фрагментов. С каждым новым поселком у нас появляется новый фрагмент большой мозаики языковой ситуации в Центральной Сибири. Мы остановились здесь на методах полевой работы и собранных материалах, но любопытное мозаичное полотно складывается и при анализе языковых данных².

Литература

Василевич, 1936 — *Василевич Г. М.* Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Ленинград: Институт народов Севера, 1936.

Казакевич, 2010 — *Казакевич О. А.* К вопросу о построении функциональной типологии малых языков (на материале языков автохтонного населения Среднего Енисея и прилегающих территорий) // *Язык и общество в современной России и других странах: Международная конференция конференция (Москва, 21—24 июня 2010 г.): Доклады и сообщения / Отв. ред. В. А. Виноградов, В. Ю. Михальченко.* М.: Тезаурус, 2010. С. 297—302.

Казакевич и др., 2002 — *Казакевич О. А., Самарина И. В., Трушков Д. Л.* Озвученный словарь говоров исчезающего языка // *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международного семинара «Диалог-2002»*

¹ Неоднократно предпринимались попытки создать типологию исчезающих языков (см., например, [Kibrik, 1991; Krauss, 2007]).

² См., например, [Kazakevich, 2010].

(Протвино, 6—11 июня 2002 г.). Т. 2. Прикладные проблемы. М.: Наука, 2002. С. 245—249.

Kazakevich, 2010 — *Kazakevich O.* Endangered Languages Documentation and Description: Should these Activities be Separated // Shixuan XU, Tjeerd D. Graaf, and Cecilia Brassett (eds). *Languages Endangerment and Maintenance.* Beijing: Zhongguozhishichanquan Press, 2011. P. 136—154.

Kibrik, 1991 — *Kibrik A. E.* The problem of endangered languages in the in the USSR // Robins, R., Uhlenbeck E/ (eds.). *Endangered languages.* Oxford; New-York, 1991. P. 257—273.

Krauss, 2007 — *Krauss M.* Classification and terminology for degrees of language endangerment // Matthias Brenzinger (ed.). *Language Diversity Endangered.* Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2007. P. 1—8.

Т. А. Казакова,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет

Секция «Переводоведение: Реалии как проблема перевода»

Инструменты экспертизы перевода

Экспертные проблемы в связи с оценкой точности перевода занимают важное место в современном переводоведении. Существующие теоретические установки на выявление уровня и степени *эквивалентности* между исходным текстом (ИТ) и переводным текстом (ПТ) носят в основном отвлеченный характер и потому мало пригодны в практике экспертных заключений. Поэтому в каждой области, где требуется экспертиза перевода, как правило, разрабатываются и используются частные методики. Настоящая статья основана на ряде экспертных заключений, составленных автором по заказу издательств, обращений юридических инстанций, административных и частных лиц. Количество текстов, подлежащих экспертизе, недостаточно представительно для статистических выводов, но позволяет выделить *предварительные закономерности, характерные для данной процедуры.* Наблюдения на данном этапе носят преимущественно описательный характер, а потому могут послужить лишь материалом для теоретических обобщений.

Лингвистическую экспертизу перевода точнее следовало бы называть переводоведческой экспертизой текста, ибо целый ряд проблем, поставленных перед экспертом, требует выхода за пределы сугубо лингвистического анализа и обращения, в частности к процедурам определения достоверности высказывания и психосемиотического прогнозирования.

Переводоведческая экспертиза текста (ПЭТ) относительно мало разработана по сравнению с общей лингвистической экспертизой текста [Баранов, 2007], хотя практика ее применения становится все более востребованной. Опыты ПЭТ, как правило, заключаются в сопо-

ставлении отдельных языковых единиц (выявление и оценка терминологических, лексических, грамматических и стилистических ошибок). До последнего времени такие аксиологические опыты носили случайный и, как правило, субъективный характер. На практике это нередко происходит следующим образом.

- *Издательству требуется экспертное заключение по спорному переводу, против которого выступают издательства-конкуренты, грозящие оповестить правообладателя (или его агента) исходного текста о «некачественном или недобросовестном переводе».* Издательство в данном случае не может обратиться просто к литературному редактору, поскольку таковой обычно оценивает лишь текст перевода с точки зрения его отношения к литературному языку, какой-либо литературной традиции и с позиций собственных предпочтений. С учетом исторически сложившейся конкуренции между издательскими предприятиями, литературными направлениями и узкими группами «носителей предпочтений», издательство не может полагаться и на мнение привычных критиков-редакторов. Обычной практикой в таком случае является обращение к *независимому эксперту-специалисту в области теории перевода*, имеющему практический опыт перевода и лингвистических экспертиз. Эксперт должен скрупулезно сравнить исходный и переводной тексты, оценивая их не только с точки зрения межъязыковых соответствий и их стилистических вариантов, но и в плане определения достоверности переводческих решений через *прогнозирование* читательского восприятия. Такое прогнозирование призвано выявить вероятность расхождения читательских оценок переводного текста, *нарушающего авторскую установку*, выраженную в исходном тексте, и способного нанести ущерб авторскому праву. Значимость результатов такой экспертизы касается не только литературно-языковых претензий к переводу, но и возможных юридических и коммерческих последствий, предопределяя уровень деловой и профессиональной репутации издательства и переводчика. Например, претензия автора исходного текста (или литературного агента) может касаться допущенных переводчиком синтаксических преобразований при переводе, рассматривая их как искажение авторского стиля и, следовательно, нарушение авторского права. Задачей эксперта в данном случае является подтверждение (или опровержение) претензий, удостоверяющее, что искажение является действительным (т. е. приведет к неадекватной реакции получателя переводного текста) или мнимым (т. е. носит характер культурно-языковой необходимости, приводящей именно к адекватной реакции получателей). К сожалению, доказательная база в данном случае является по преимуществу умозрительной, обращаясь к отдельным явлениям, поскольку отсутствует сколько-нибудь статистически убедительная база данных.

- *Судебная или иная юридическая инстанция обращается к эксперту с заданием оценить точность перевода текста в связи с иском о защите чести и достоинства, разжигании социальной или межнациональной розни, клевете, а также спорами в области патентования, рекламы и т. п.* Это гораздо более многообразная область ПЭТ, включая разновидности текстов и целевых установок. В отличие от обычной (индивидуальной) оценки степени эквивалентности исходного и переводного текстов, такая экспертиза преследует иные цели, нежели определение сугубо межъязыковых соответствий: здесь требуется также выявить, насколько та или иная (иногда вполне допустимая общими правилами) трансформация вызывает серьезный информационно-семиотический сдвиг в переводном тексте относительно исходного, что может послужить основой и поводом для различного рода юридических последствий (исков, судов, судебных решений и др.). Отличие этого вида экспертизы от предыдущей заключается как в характере текстов, подлежащих экспертизе (в тексте отражается не вымысел, а действительность), так и в характере цели (вместо некоего обобщенного читателя здесь затрагиваются интересы целевой аудитории: конкретного индивидуума или корпорации). Этот вид экспертизы можно условно назвать судебной переводоведческой экспертизой текста (СПЭТ), так как по самой природе своей он связан с реальными или предполагаемыми конкретными исками в суде. СПЭТ, как правило, делится на предварительную и процессуальную. *Предварительная СПЭТ* заказывается адвокатской конторой на стадии досудебного рассмотрения иска с целью определить, имеется ли основание для подачи иска. *Процессуальная СПЭТ* является экспертным заключением, рассматриваемым в качестве свидетельского показания (документа) на процессе. В документальном оформлении предварительная СПЭТ именуется «заключением специалиста», а процессуальная — «заключением эксперта». Между ними имеется ряд как формальных, так и содержательных различий, однако доказательная основа у них общая: необходимо определить,
 - является ли переводной текст точным воспроизведением ИТ на языке перевода или имеет отклонения от ИТ;
 - содержит ли ИТ утверждения, требующие доказательства;
 - содержит ли ПТ утверждения, требующие доказательства;
 - могут ли искаженные элементы ПТ (или ПТ в целом) быть интерпретированы в негативном смысле.
 Эти, а также целый ряд других вопросов ставятся перед экспертом. Иными словами, требуется заключение не только о допустимых преобразованиях исходного текста при переводе, но и о прогнозировании интерпретации преобразованных элементов переводного текста. [Цена слова, 2002; Марков, 2004] За последние десятилетия переводоведческая экспертиза несколько продвинулась, в частно-

сти обратившись к теории дискурса, речевых актов, когнитивной и прагматической лингвистике, а также — прежде всего — в связи с развитием информационно-семиотической, социолингвистической и психолингвистической базы современной теории перевода [Миньяр-Белоручев, 1995; Волкова, 2010; Черняховская, 2009].

Приведу в качестве примера незначительное на первый взгляд отклонение, «повинное» в возникновении конфликтной ситуации при восприятии перевода (имена и события изменены).

Исходный текст: *Kruglov spent some time in prison. Sergey Karliuk, a journalist, says he saw the criminal file and the central charge was smuggling antiques.*

Переводной текст: Какое-то время Круглов провел в тюрьме. Журналист Сергей Карлюк говорит, что *листал его уголовное дело. Основное предъявленное обвинение касалось контрабанды антикварных ценностей.*

Квалификация данного перевода как точного была бы допустима, если бы не точка, поставленная переводчиком в середине «неудобного» предложения. Экспертиза с применением метода определения достоверности показала, что данное отклонение нельзя отнести к разряду стилистических, так как в результате возник конфликт между характером суждений, который может быть неадекватно интерпретирован получателем. В частности, в исходном тексте коммуникативное намерение автора очевидно: он приводит чужое суждение, используя форму косвенной речи, т. е., по существу, скрытое цитирование (*журналист сказал, что... и что...*). Разделив эту скрытую цитату, переводчик тем самым искажил ключевую информацию: вторую часть цитаты превратил в самостоятельное суждение автора статьи, которое является утверждением, требующим доказательств, и как таковое в процессе интерпретации бросает тень на «Круглова», а потому дает повод для судебного иска к автору исходного текста на основании текста перевода. От эксперта требовалось подтвердить или опровергнуть точность перевода, которая постулировалась в предварительном заключении другого эксперта.

Можно предположить, что перевод нередко квалифицируется как «точный» исключительно на основе анализа лексико-грамматических соответствий без учета информационно-семиотических составляющих [Stecconi, 2004, p. 15], в частности динамического аспекта языкового знака в условиях меняющегося контекста, что совершенно неизбежно при переводе и что, по мнению Стеккони, «affords an investigation of the logico-semiotic conditions to translation». Логико-семиотические условия могут оказаться неравными в разных языках как по степени отражения реальности (эйкуменическая достоверность), так и по степени отражения модальности (эпистемическая достоверность) в

переводном знаке. Например, употребление знака *Kremlin* в контексте очерка американского журналиста обозначает иной круг объектов, нежели знак *Кремль* в контексте русской культуры, т. е. может оказаться недостаточно точным с точки зрения эйкуменической достоверности: в контексте обеих культур *Kremlin* распространяется не только на сам физический объект, но и на его политические функции, однако в американской культуре этот знак может означать высшую исполнительную власть в целом, т. е. употребляться в значении «правительство», тогда как в русском культурном пространстве «Кремль» может символизировать только президента, в то время как «правительство» символизируется знаком «Белый дом». Это расщепление оказывается релевантным в случае дальнейшего употребления в контексте личных имен, имеющих отношение либо к «Кремлю», либо к «Белому дому». Например, если в исходном английском тексте упоминается имя президента России, то «Кремль» в переводе будет эйкуменически достоверным, но если речь идет о премьер-министре, то более логично передавать «Kremlin» знаком «Белый дом», иначе в переводном русском тексте возникает модальное осложнение, интерпретируемое как приписывание президенту действий или высказываний премьер-министра. Так, допустимое с точки зрения словаря соответствие «Kremlin» — «Кремль» может интерпретироваться как недостоверное с точки зрения эпистемической модальности, если речь идет, например, о мере ответственности означенных таким способом инстанций.

Аналогичные проблемы возникают при передаче прецедентных имен в условиях лингвокультурных расхождений, причем грамматическая достоверность может казаться незыблемой, но при этом сопровождается эпистемической недостоверностью, что, например, в контексте художественного перевода можно интерпретировать как искажение авторского стиля, т. е. нарушение авторского права. Например, если в русском культурном пространстве предложение М. А. Булгакова («Мастер и Маргарита») *А за квартиру Пушкин платить будет?* воспринимается как пародия на канцелярскую шутку, то в переводе на английский язык (переводчик Michael Glenny) то же на первый взгляд абсолютно правильное предложение *Is Pushkin going to pay for the apartment?* лишено какого бы то ни было иронического или пародийно-юмористического компонента, т. е. сопровождается фундаментальным информационно-семиотическим сдвигом и, по существу, означает «намерен ли квартиросъемщик имярек (Пушкин) платить за квартиру?» Поскольку данный прием характерен для стиля Булгакова, то такой сдвиг, тем более регулярный, нельзя расценивать иначе как искажение авторского стиля, а значит, и нарушение авторского права. Булгаков мог бы предъявить претензии на законном основании.

Описанный здесь парадокс неточности точного перевода встречается гораздо чаще, чем может показаться, и, на мой взгляд, мо-

жет служить аргументом в пользу необходимости информационно-семиотического инструментария, до сих пор недостаточно разработанного для экспертизы перевода. Отчасти основой для такой разработки может служить представление о прагматической эквивалентности [Baker, 1992, p. 11–12; Leonardi, 2000, p. 37], однако критерии ее установления столь размыты и неопределенны, что на практике обычно превращаются в субъективные суждения. Тем не менее очевидно, что в теории перевода признается необходимость выхода за пределы формальных, лексико-грамматических критериев для определения характера отношений между оригиналом и переводом в плане прогностирования читательской реакции. В частности, прагматическая эквивалентность измерима посредством инструмента установления достоверности не столько самого знака, сколько знакового отношения в процессе переработки информации.

Литература

- Баранов, 2007 — Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М., 2007.
- Волкова, 2010 — Волкова Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода. М., 2010.
- Марков, 2004 — Марков Б. В. Знаки бытия. СПб., 2004.
- Миньяр-Белоручев, 1995 — Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. М., 1996.
- Цена слова, 2002 — Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Под ред. М. В. Голованевского. М., 2002.
- Черняховская, 2009 — Черняховская Э. А. Информационный подход к переводу // Мир перевода. 2009, № 2 (22).
- Baker, 1992 — Baker M. In *Other Words*. London, 1992. P. 11–12.
- Leonardi, 2000 — Leonardi V. *Equivalence in Translation: Between Myth and Reality*. Translation Journal. Volume 4. Number 4. October 2000.
- Stecconi, 2004 — Stecconi U. *Five reasons why semiotics is good for Translation Studies, Doubts and Directions in Translation studies*. Lisbon, 2004. P. 15.

В. Б. Касевич

Пленарный доклад, направление «Общее языкознание»

Фонетика и семантика: знаки, фигуры, кварки¹

0. Фонетику и семантику обычно рассматривают как крайние, полярные уровни в иерархическом строении языковой системы. Будучи в этом смысле противоположностями, фонетика и семантика в то же время демонстрируют целый ряд сходных характеристик и проявлений. Именно о них пойдет речь в настоящем сообщении.

1. К Л. Ельмслеву [Ельмслев, 1960] восходят представления о том, что в пределах как фонетики, так и семантики следует различать два подуровня. Один отличается известной аморфностью, это — субстанция фонетики и семантики соответственно; применительно к этому подуровню можно говорить об универсальных проявлениях в области звуковой и смысловой «материи» всех языков. Другой подуровень — это структурные единицы, фонологические и семантические, которые выступают как члены соответствующих систем конкретных языков. Ельмслев предлагал называть такие единицы *фигурами выражения* там, где идет речь о фонологических единицах, и *фигурами содержания* там, где речь идет о структурно определенных семантических единицах соответствующих языков.

1.2. Фигуры противопоставляются знакам как односторонние единицы двусторонним: если знаки суть принципиально билатеральные единицы¹, то фигуры — принципиально молатеральные, это единицы «чистой формы» для фонетики и «чистого содержания» для семантики. К фигурам выражения относятся фонемы, слоги (возможно, также фонетические слова), к фигурам содержания принадлежат, например, семантические роли Агенс, Пациенс и т. п., которые играют ключевую роль в формировании семантической структуры высказывания, в большинстве языков не имея систематически закрепленных за ними формальных способов выражения.

1.3. Объединение фонетики и семантики, совместно противопоставленных грамматике (синтаксису), можно видеть и в генеративной лингвистике, особенно в ее ранних версиях, где фонетический и семантический компоненты выступают как интерпретирующие в отличие от синтаксиса, собственно генеративного: синтаксис порождает структурное описание высказывания, а фонетический и семантический компоненты так порожденную структуру интерпретируют — фонетически (фонологически) и семантически соответственно.

В более поздних версиях генеративизма появляются представления о логической форме и фонетической форме, которые функционируют как компоненты-интерфейсы, «подсоединяя» синтаксическую структуру к когнитивным и акустико-артикуляторным механизмам носителя языка.

2. В лингвистике последних десятилетий широкую известность приобрело понятие примитивов, восходящее к Лейбницу с его идеей «языка мысли» (*Lingua Mentalis*). Особенно много для разработки этого понятия и его популяризации сделала, как известно, Анна Вежбицкая [см., например, Wierzbicka, 1996; Вежбицкая, 1999; и мн. др.].

В ранних работах Вежбицкой примитивы понимались как собственно семантические единицы — элементарные смыслы, смысловые

¹ Некоторые положения этой статьи уже публиковались, см. [Kasevich, 2012].

¹ Существенные уточнения относительно трактовки знака как билатеральной единицы см. в [Касевич, 2004].

атомы, далее неделимые, в терминах которых можно представить любое значение, грамматическое или лексическое, в любом языке. В более поздних трудах Вежбицкая переходит к иной трактовке, согласно которой примитивы обладают **лексической** природой: это подмножество слов элементарной семантики из генерального лексического множества языка (словаря, лексикона), с помощью которых можно представить лексико-семантическую структуру любого слова, грамматической морфемы, конструкции и т. п. [подробнее см. Kas-sevitch, 1997].

Эту последнюю версию мы сейчас рассматривать не будем [см. Kas-sevitch, 1997]. Что же касается **ранней версии**, то вполне очевидно, что в терминах Ельмслева примитивы должны быть отнесены к семантической субстанции, от языка не зависящей, на базе которой в раннем онтогенезе формируются идиосинкратичные единицы — фигуры содержания.

Между тем из работ по детской речи достаточно хорошо известно, что в определенный период лепетной речи в «фонетической продукции» ребенка, усваивающего язык, можно обнаружить все виды консонантных и вокальных артикуляций, порождаемых этими артикуляциями звуков, которые имеются в языках мира. На базе этих единиц в раннем онтогенезе формируются единицы фонологии конкретных языков, прежде всего фонемы (в фонемных языках) — иначе говоря, фигуры выражения.

Если сказанное верно, то появляются все основания утверждать, что формирование речи, как она зарождается в онтогенезе, реализуется за счет «встречи» и взаимодействия двух множеств (врожденных) примитивов: смысловых примитивов в духе Вежбицкой (скорее «ранней» Вежбицкой) и звуковых примитивов, функционирование которых мы наблюдаем в лепетной речи.

Изучая примитивы Вежбицкой, нельзя не обратить внимание на то, что по крайней мере в более поздних публикациях Вежбицкая **классифицирует** примитивы; так, среди них выделяются субстантивы (Я, ТЫ, НЕКТО, НЕЧТО, ВЕЩЬ, ЛЮДИ, ТЕЛО); детерминаторы (ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ); кванторы (ОДИН, ДВА, НЕКОЛЬКО, МНОГО, ВСЕ) и т. д. [Вежбицкая, 1999, 140—141]. Но объективно из этого следует **отрицание** главной характеристики примитивов — их неанализируемости, предельной элементарности: ведь любая классификация зиждется на обнаружении у членов множества общих признаков, в силу чего классифицируемые объекты с неизбежностью утрачивают элементарность, атомарность.

Что же представляют собой эти семантические элементы типа «субстантив» и пр., которые в некотором смысле не существуют, лишь характеризуя как-то семантические примитивы? Ю. Д. Апресян предложил называть их *кварками*. «...Общая часть значений таких (примитивных). — В. К.) лексем не может быть названа ни одним реально

существующим словом русского языка; точнее, она принципиально не вербализуется никакими свободными лексемами „первого плана“. В силу напрашивающейся аналогии с физикой такие невербализующиеся значения, т. е. не существующие в свободном состоянии частицы смысла, в [Апресян, 1994] были названы семантическими кварками» [Апресян, 2009, с. 16].

Есть ли в фонетике аналоги семантических кварков — т. е. существуют ли, наряду с семантическими кварками, фонетические кварки? Представляется, что на этот вопрос можно ответить утвердительно. Как минимум, к таковым — к фонетическим кваркам — следует отнести *моры*. Моры, с одной стороны, нельзя обойти при описании фонологии таких языков, как древнегреческий, японский, ср. также *харф* арабских грамматистов. Это безусловно реальные сущности, причем несомненно элементарные. С другой стороны, моры — и это принципиально важно — также, подобно кваркам, не встречаются в свободном состоянии, они всегда приурочены к соответствующим слогам, «замкнуты» в них.

Есть ли еще в фонетике (фонологии) какие-либо «кваркоподобные» элементы, кроме мор, сказать трудно. Можно было бы ввести некоторую аналогию разграничения сегментных и супraseгментных явлений. Тогда, скажем, дифференциальные признаки фонем могли бы рассматриваться как супraseгментные кварки, а моры — как сегментные. В то же время нетрудно видеть, что дифференциальные признаки как таковые «несвободны», не функционируют вне единиц, к которым относятся; иначе говоря, дифференциальные признаки несвободны тривиально уже в силу того, что любой признак по определению есть признак «чего-то» и без этого «чего-то» не существует¹.

3. В фонетике достаточно обычна картина, когда один из компонентов последовательности (слогов, слов) выделяется как ударный (словесное ударение, синтагматическое ударение, фразовое ударение). Нечто близкое можно обнаружить в семантике. Например, если представить лексикографическое толкование такого глагола, как *вернуться*, в форме прош. времени, т. е. *вернулся*, то это толкование примет вид конъюнкции пропозиций наподобие 'X был здесь [раньше] + X-а не было здесь в течение времени t_i + X находится здесь в наст. время'. Но из всех этих семантических компонентов именно последний выделяется, акцентуируется [ср. Гуревич, 1998]: все смыслы, входящие в лексикографическое толкование глагола *вернулся*, необходимы, но именно смысл 'X находится здесь в наст. время' определяет семантическую индивидуальность данного глагола. Иными словами, как есть ударные слоги/слова, так существуют и «ударные смыслы».

¹ Именно поэтому некорректно распространенное определение фонемы как «пучка дифференциальных (различительных) признаков» [см. об этом: Касевич, 1983].

Еще более наглядно семантическую акцентуацию можно показать на материале лексической семантики. Если рассмотреть в этом ракурсе традиционный пример семантической декомпозиции слова *холостяк* (точнее, его плана содержания), то мы получим конъюнкцию пропозиций 'X одушевлен + X муж. пола + X находится в возрасте, позволяющем вступление в брак + X не состоял в браке + X не состоит в браке'¹, где, вполне очевидно, акцентуированы два последних компонента.

В то же время наличие акцентуации применительно к компонентам соответствующих комплексов не есть их необходимая черта. Известны языки — анацентные, как, например, монгольский, — в которых отсутствует словесное ударение как особая фонологическая категория, т. е. все слоги в составе экспонента анацентного слова функционально равновесны. Равным образом и в семантике соответствующие компоненты вполне могут быть равновесными, без выраженной иерархии. Например, семантика высказывания *X сохнет* предполагает неопределенную по продолжительности последовательность состояний, в каждом из которых X перемещается в сторону правого края шкалы 'мокрый — сухой' [ср. Гловинская, 1982]². Соотношение между компонентами такого толкования, по-видимому, лишено иерархичности, ни один из них не акцентуируется. И здесь, таким образом, мы видим значимые параллели между фонетикой и семантикой.

4. В фонетике известно такое понятие, как «артикуляционная база языка» [см. Зиндер, 2007]. Артикуляционная база — это часть системы фонем данного языка, для которой характерна насыщенность определенными дифференциальными признаками (описанными в терминах артикуляторных жестов). Например, в артикуляционную базу русского языка входит подсистема мягких согласных, поскольку признак «твердость/мягкость» пронизывает практически всю систему русского консонантизма. В семитских языках к артикуляционной базе относятся, вероятно, фарингальные и ларингальные согласные.

Наличие в языке артикуляционной базы естественным образом ведет к формированию *перцептивной* базы — множества таких перцептивных эталонов, которые избирательно «нацелены» на опознание фонем, принадлежащих к артикуляционной базе.

¹ Нетрудно предъявить претензии этому традиционному толкованию как оперирующему не только примитивами; исходим из того, что при необходимости толкование можно без особого труда переформулировать, последовательно сведя все его компоненты к примитивам и связям между этими последними.

² Разумеется, использованная здесь формулировка никак не может считаться лексикографическим толкованием, семантическим представлением данного глагола (достаточно сказать, что справа от логического знака равенства присутствуют далекие от примитивов смыслы); это выполненное в произвольной форме описание семантики глагола, понятное, надо надеяться, носителю языка.

Аналогичным образом можно говорить о наличии в языке *семантической* базы языка. Под семантической базой уместно понимать наличие в семантической системе языка «сгущения смыслов», таких подсистем, которые оказываются особенно важными для данного языка. Например, к русской семантической базе относится, вероятно, значение начинательности: оно присутствует в «свободном виде» как план содержания соответствующей лексемы словаря, глагола *начинать*, но также фигурирует в толковании словообразовательных моделей (*закричал* и т. п.) и грамматических (видовых) форм. Иначе говоря, сема начинательности (соответствующий примитив) характеризует целые «блоки» системы русского языка.

Когда мы относим некий язык к эргативным, артиклевым, каузативным и т. п., то такая квалификация не является чисто грамматической. Наряду с указанием на грамматические черты языка, включая его морфосинтаксическую технику (как оформляются актаны, как формируется именная группа, как связана глагольная форма с валентностным потенциалом глагола), соответствующие определения языков информируют нас о трактовке Агенса, о семантических сетях с участием референтов именных групп, о делении ситуаций на независимые и зависимые (реализующиеся под воздействием извне). Все упомянутые семантические черты непосредственно говорят нам о семантическом устройстве соответствующих языков, о характерных для них семантических базах, а тем самым и о *картине мира*, действительной для этнокультурной общности, обслуживаемой данным языком или языками.

5. Хорошо известен так называемый принцип Пешковского [Пешковский, 1956], согласно которому интонационные и грамматические средства выражения дополняют друг друга: там, где некоторое значение (обычно в области синтаксиса) достаточно надежно и ярко выражено интонационными средствами, собственно грамматические средства «экономятся», и наоборот. Материал бирманского и китайского языков очень хорошо иллюстрируют проявление этого принципа — но здесь в своего рода отношении дополнительности оказываются техники **разных** языков.

В данном случае речь идет о временной компрессии, сокращении длительности паузы при возрастании темпа речи. В этих условиях в бирманском языке длительность паузы на границах между предложениями связного текста уменьшается всего на 6% — притом что уменьшение длительности аналогичных пауз в китайском материале составляет в среднем 30% [Касевич, Ким, 2007].

Объяснить это можно следующим. В китайском языке пауза в конце высказывания (предложения) «важнее», чем в бирманском, поскольку именно паузе принадлежит ключевая роль маркирования конца предложения; в отличие от этого, конечносентенциальная пауза в бирманском языке может сокращаться до минимума, поскольку

конец предложения надежно маркирован двумя грамматическими средствами: позицией глагола-сказуемого (бирманский — последовательный SOV-язык, тогда как китайский — VSO) и наличием obligatory глагольных показателей в крайней правой позиции после собственно глагола.

Существенно, что принцип Пешковского приобретает здесь ярко выраженное типологическое измерение.

6. Наконец, последняя иллюстрация связана со своего рода изоморфизмом исследовательских процедур в области семантики и фонетики.

Многократно цитировалось высказывание Щербы о том, что «едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняется: скорее, мы потому их склоняем, что они существительные» [Щерба, 1974, с. 29]. «Антиформалисты» видели в этом высказывании признание ведущей роли семантических критериев в их противопоставлении формальным. В действительности же Щерба (не оговаривая это эксплицитно) переносил на грамматику и семантику действительную для него логику фонологического анализа, которая (логика) в целом такова. В слове *лоб* конечная фонема — /p/, а не /b/, потому что фонологичность глухости в /p/ доказана на материале типа *палка/балка* и т. п., это **член существующей системы**. Достаточно обнаружить наличие дифференциального признака «глухость», его коррелятов в одной позиции, чтобы признать фонологичность данного признака и данного фона повсеместно.

Но так же и применительно к словам-существительным. В пространстве системы склоняемость структурно «привязана» к словам, у которых можно обнаружить семантику предметности. Отсюда и наоборот: там, где обнаружена семантика предметности, не оставляющая места сомнениям в том, что это именно предметность, — там фиксируется субстантивность, принадлежность к частеречному классу «существительное» и, как следствие, склоняемость.

Ряд фоново-семантических схождений можно было бы продолжить. Вывод из всех этих сближений, с одной стороны, вполне тривиален: *противоположности сходятся*. С другой стороны, мы видим и не вполне тривиальное обстоятельство, которое в предварительном порядке можно сформулировать так: существуют общезыковые (общесемиотические?) стратегии, за счет которых как бы скрепляется система языка, и максимальное притяжение проявляется в наиболее удаленных точках этой системы — именно для того, чтобы компенсировать их, этих точек, взаимодальность.

Можно также сказать, что в определенном смысле описанные закономерности суть не что иное, как «генерализованный принцип Пешковского».

Литература

- Апресян, 1994 — *Апресян Ю. Д.* О языке толкований и семантических примитивах // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1994. № 4. С. 27—41.
- Апресян, 2009 — *Апресян Ю. Д.* Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1: Парадигматика. М., 2009.
- Вежбицкая, 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Гловинская, 1982 — *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гуревич, 1998 — *Гуревич В. В.* Видовая семантика в русском и английском языках // Типология вида: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. М. Ю. Чертова. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Зиндер, 2007 — *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика и избранные статьи. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 576 с. 2-е изд., испр. и доп.
- Ельмслев, 1960 — *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
- Касевич, 1983 — *Касевич В. Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М.: Наука, 1983.
- Касевич, 2004 — *Касевич В. Б.* Знаки языка и знаки речи? // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе: Сб. статей / Ред. В. С. Храковский, А. Л. Мальчуков, С. Ю. Дмитренко. М.: Знак, 2004. С. 159—172.
- Касевич, Ким 2007 — *Касевич В. Б., Ким И. И.* О межуровневых соотношениях: скоррелированность фонетики и грамматики (на материале китайского и бирманского языков) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 2. Ч. II. С. 157—164.
- Пешковский, 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Щерба, 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность / Ред. Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич. Л.: Наука, 1974.
- Kassevitch, 1997 — *Kassevitch V. B.* [Rec. ad op.:] *C. Goddard and A. Wierzbicka* (eds.). Semantic and lexical universals // *Studies in language*. 1997. Vol. 21. N 2. P. 411—416.
- Kasevich, 2012 — *Kasevich V. B.* Phonetics and semantics: some cursory remarks // *St. Petersburg annual of Asian and African studies*. 2012. Vol. 1. P. 65—71.
- Wierzbicka, 1996 — *Wierzbicka A.* Semantics: primes and universals. Amsterdam, 1996.

Лукьянец И. В.,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Жан-Жак Руссо и проблема смертной казни

Один из самых болезненных и сложных вопросов, которые в течение многих веков занимали умы политиков, философов и художников, — вопрос о непрекращающейся череде убийств и мучений, которые легализуются в обществе, т. е. о смертной казни и наказаниях. Общество, защищающее свою безопасность любой ценой, в том числе и ценой человеческих жизней, и личность, которая может нуждаться

в защите, а может стать жертвой этого стремления к безопасности, естественным образом оказывались в положении противников. Художественные, в данном случае литературные, отклики этой проблемы демонстрируют нам то, что приверженность той или иной позиции зависит прежде всего от угла зрения, определяемого личным опытом, историей и многими другими обстоятельствами. Чувство удовлетворения, которое, вероятно, испытывает читатель «Песни о Роланде» (казнь Ганелона), основано на некой ритуальной общественной и религиозной санкционированности этой казни, на ее конвенциональности. Ведь и сам Ганелон соглашается с условиями Божьего суда. Висельный юмор Франсуа Вийона диктуется его личной ситуацией, порождающей новое видение. Санкция, конвенциональность замещены ужасом плотского «перевертыша» смертной казни. В силу все большей персонализации литературного взгляда пафос сострадания, кажется, со временем начинает доминировать в текстах, обращенных к теме смертной казни. Однако вся история литературного изображения смертной казни как во Франции, так и в других странах демонстрирует нам чрезвычайную интонационную, жанровую и, конечно, интеллектуальную и эмоциональную подвижность художественного языка. Героическая смерть богатыря в эпосе уравнивалась справедливой казнью злодея (Роланд, Ганелон). Парадоксальный перевертыш висельного юмора, например, в поэзии Вийона («Я Франсуа, чему не рад») сосуществовал с апокрифическими рассказами о муках и казнях святых. Даже в XIX в., когда проблема оказывается поистине в центре внимания, она порождает очень разные, множественные отклики и ответы. Именно в это время размышления о смертной казни становятся разносторонними и сосредоточенными, как будто чья-то безжалостная рука отодвинула занавеску, милосердно скрывающую от осужденного гильотину. За редким исключением сама по себе смертная казнь до XIX в. не становилась предметом художественного осмысления. Действительно, только в XIX в. тема обретает поистине самодовлеющий характер. Публикация повестей Виктора Гюго «Последний день приговоренного к казни» (1829), «Клод Ге» (1834) расценивается иногда как начало борьбы за отмену смертной казни во Франции, которая завершилась 18 октября 1981 г. отказом от «*reine capitale*». В то же время мнение о смертной казни могло быть разным. Достаточно вспомнить знаменитый спор Гюго и Бальзака об отношении общества к преступнику.

Естественно, что и в XX в. эта полемика продолжилась, например, в споре двух великих экзистенциалистов Камю и Сартра. Действительно, Франция «подарила» миру не только гильотину, но и, наверное, самые богатые размышления о ней. И не только размышления. Зрители выставки «Преступление и наказание», устроенной в музее Орсе в 2010 г. (главным персонажем на ней была настоящая гильотина), покидали ее с чувством облегчения, потому что последнее, что они

видели, была надпись: «В 1981 г. во Франции смертная казнь была отменена». Движение к отмене смертной казни во Франции усиливается начиная с конца XVIII в. и находит отклик в других странах Европы, в частности и в России. Естественно, что русская общественная мысль не изолирована от европейской, примеров тематических пересечений в рассуждениях на эту страшную тему множество. Речь идет и о типологических закономерностях движения представлений о смертной казни, определяемых христианскими и гуманистическими ценностями, и о прямых влияниях и заимствованиях. В качестве последних можно, например, вспомнить такой памятник русской мысли, как сочинение А. Н. Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова» (1789), в котором, цитируя Ушакова, Радищев прямо опирается на политическую мысль Чезаре Беккариа и аббата Морелле¹ [Радищев, 1938, с. 153—213]. В то же время особая история смертной казни и отношение к ней в России позволяли русским мыслителям отделять Россию от Европы. Л. Н. Толстой так начинает свою знаменитую статью «Не могу молчать» (1908):

Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе.

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывные казни, казни, казни [Толстой, 1953, с. 83].

Конечно, оргии смертных казней во Франции времен революции, некоторое «опошление» проблемы в связи с ее механизацией сыграли свою роль в смене акцентов внутри проблемы. Каким бы ни было отношение к смертной казни, внимание бесповоротно сместилось с самого события смертной казни на состояние души осужденного либо свидетеля казни. Очевидно, что мотивировалась эта концентрация внимания двояко. Особый, обострившийся с конца XVIII в. интерес к страданию, насилию находил в теме смертной казни небывалые возможности. С другой стороны — каждое высказывание о смертной казни становилось поступком. «Да и кому же не известно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых

¹ Беккариа, Чезаре (Cesare Beccaria), 1738—1794, автор книги «О преступлениях и наказаниях», считается родоначальником движения за отмену смертной казни. Последователь Монтескье, сторонника пропорциональности преступления и наказания. Во многом под влиянием этого сочинения в Тоскане Великим Герцогом Леопольдо впервые в Европе была полностью упразднена смертная казнь. В России идеи Беккариа распространялись во многом благодаря французскому переводу аббата Андре Морелле (1727—1819), сделанному в 1774 г. Екатерина II пригласила Беккариа приехать в страну для участия в составлении нового Уложения законов. На русский язык главный труд Беккариа переводится в 1803 г.

вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество?» — напишет в 1870 г. И. С. Тургенев в очерке «Казнь Тропмана» [Тургенев, 1980, с. 152]. Изменение художественного языка в изображении смертной казни было во многом подготовлено теми, кто не успел увидеть гильотину в действии. Среди этих художников XVIII в. особое место занимает Жан-Жак Руссо.

Известно, что во второй половине XVIII в. тема страдания, в том числе и физического, переживает небывалый подъем. В сложном, многообразном мифе о Жан-Жаке Руссо доминирующим мотивом всегда был мотив страдания. Страдание нравственное, сердечное, физическое сложно переплетаются, почти не оставляя надежды на возможность иерархического анализа. Источник и продолжение этого страдания почти неразличимы, Всем известно, какое значение Руссо придавал воображению в толковании своей жизни. Внешнее событие преобразуется воображением и становится событием внутренним, и, напротив, то, что существует лишь в воображении, рождает реальное событие, моделирует не только само событие, но и его оценку. Граница между воображением и реальностью стирается, но ясность взгляда всегда позволяет писателю видеть место, где эта граница была. В самом начале «Исповеди» Руссо признается, что он стал всеми героями романов, прочитанных вместе с отцом до того, как стать Жан-Жаком. Страдания реальные и воображаемые окрашиваются воображением писателя.

В знаменитом эпизоде порки из «Исповеди» (1782—1789) Руссо вспоминает о причиненной ему реальной физической боли не без удовольствия¹ [Руссо, 1996, с. 15]. Он может также гордиться своей выдержкой, позволившей перенести страшную физическую боль раздавленной руки. Однако обида сердечная, во многом воображаемая, заставляет его кричать своим обидчикам: «Палачи». В «Исповеди», вспоминая о несправедливом наказании за поломку гребня, в которой он был неповинен, Руссо пишет: «Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна, я чувствовал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру, и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. <...> Мы поднимались на нашем ложе и принимались вдвоем изо всех сил сотни раз кричать: „Carnifex, carnifex, carnifex“» [Руссо, 1996, с. 19]. Первое ощущение несправедливого насилия заставляет биться пульс Жан-Жака спустя 50 лет. Физическая боль приобретает разный смысл в зависимости от того, откуда она происходит. Когда в «Исповеди»

¹ Любопытно, что в «Исповеди» и «Юлии, или Новой Элоизе» слово «палач» чаще всего употребляется в женском варианте как метафора жестокой красавицы. Как известно, именно такой тип любви, любовь-подчинение, был для Руссо особенно привлекателен.

Руссо говорит о том, что он не выдал подмастерье, причинившего ему случайно страшную боль, в его словах звучит гордость. Сама по себе физическая боль могла причинять нравственное удовлетворение, когда она сопровождала благое дело, не случайно среди любимых авторов Жан-Жака — Плутарх.

Важное для Руссо смыслообразующее положение жертвы, в котором он себя видит, недвусмысленно проявляется в воображаемых картинах казни или пытки, в центре которых он сам либо в роли жертвы, либо в роли зрителя. О творческой силе страдания у Руссо писал, например, Жак Берштольд, который в блестящей метафоре сравнивает творчество Руссо с древней пыткой, когда страдальца поджаривают в чреве медного быка, а его крики, пройдя сквозь акустические приспособления, преобразуются в чарующие звуки [Berschold, 1976]. Продолжая эту метафору, мы обнаружим, что у Руссо страдания не только преобразуются эстетически, но и становятся опорой, своего рода эмоциональным и логическим мотивом при формировании важнейших видов связи Руссо с миром, его интеллектуальных, гражданских и глубоко личных психологических претензий.

Воображаемые картины насилия многочисленны и могут стать предметом любопытной типологии: Руссо видит себя то свидетелем воображаемой казни, то ее жертвой, то даже убийцей. Последний вариант нуждается в особом толковании. В отчаянии Сен-Пре, главный герой «Юлии, или Новой Элоизы» (1761), которого не без серьезных оснований отождествляют с самим Руссо, говорит, что в своем воображении он переживает искушение вонзить кинжал в грудь Юлии и почувствовать на своих руках ее теплую кровь, потому что лишь смерть может соединить их [Руссо, 1968, с. 169].

Безусловно, по обилию воображаемых сцен казни и пыток самым насыщенным текстом Руссо оказываются «Диалоги, или Руссо судья Жан-Жака» (1772—1776). Побудительной силой для создания «Диалогов» становится желание Руссо понять ускользающую от него причину странной вражды и ненависти к нему бывших его друзей «этих господ» (*ces messieurs*). Имена его гонителей прекрасно известны, Руссо сам называет их в «Исповеди» и в «Диалогах». Прежде всего, это Мельхиор Гримм, это с некоторыми оговорками Дени Дидро и многие другие. «Эти господа» — расплывчатое сообщество, которое в минуты увлечения, когда это нужно Руссо, превращается в «весь Париж, всю Францию, весь Мир».

Один из способов убедить читателя в подлинности «злодейств» «этих господ» — «перенос» на свою ситуацию воображаемых картин страдания и несправедливости, т. е. своего рода метафоричность. Автобиографическая проза Руссо, который предстает в ней участником судебного процесса или свидетелем казни, дает основание трактовать рассказ о его жизни как об особой разновидности судебного про-

цесса. Риторика судебных прений сказывается в обвинительных и оправдательных фрагментах «Исповеди». «Исповедь» и начинается как речь на Высшем суде, она определяет структуру сочинения Руссо «Диалоги, или Руссо судья Жан-Жака». В «Диалогах» есть обвиняемый — Жан-Жак, обвинитель, выразитель общего мнения — француз, и защитник — Руссо. (Распределение ролей при этом произвольно и подвижно, роли обвиняемого и обвинителя меняются.) Желание исследователей «сцементировать» автобиографические тексты Руссо каркасом сюжета, выявить смысловую парадигму книги, вызывало к жизни разные предположения. «Исповедь» называли воплощением мифа о потерянном Рае или о Золотом веке [Eigeldinger, 1978], в ней видели пикареску и т. д. Эти попытки, часто открывающие новые смысловые пласты автобиографической прозы Руссо, но неизменно стирающие другие смысловые оттенки, вызывают желание увидеть в текстах Руссо и другие модели, например модель судебного процесса.

В личном опыте Руссо, зафиксированном в автобиографической трилогии, претерпеваемое от насилия страдание, субъектом или свидетелем которого он становился, играло роль последнего, окончательного аргумента в риторике защиты или обвинения. Как известно, Руссо придавал воображению как творческой силе огромное значение. «Я могу создать прекрасный пейзаж, лишь находясь в темной и закрытой комнате», — писал он [Rousseau, 1972, с. 48]. Обратимся к такой форме воображения, как воображаемое зрелище пытки, казни, страдания, которое становится настоящим наваждением для Руссо именно потому, что центром этого зрелища он видит себя.

Безусловно, по обилию воображаемых сцен казни и пыток самым насыщенным текстом Руссо оказываются «Диалоги, или Руссо судья Жан-Жака». Напомню, что побудительной силой для создания «Диалогов» становится желание Руссо понять ускользающую от него причину странной вражды и ненависти к нему бывших его друзей — «Этих господ», стать на их «точку зрения». Не случайно в «Диалогах» так много внимания уделяется внешнему, видимому. Например, облику самого Жан-Жака. Руссо говорит о своем портрете как о неудачном изображении «какого-то циклопа». Возникает зрительное впечатление почти шизофренического характера, когда согласно логике «Диалогов» Руссо наносит визит Жан-Жаку и рассказывает позднее о впечатлениях от его (т. е. своей же) внешности собеседнику, некоему «французу».

Прямое обращение к читателю: «Я заклинаю тебя, читатель, дочитать мой текст до конца» — риторически представляет собой мольбу о понимании, о защите от «этих господ» [Rousseau, 1999, р. 55]. По сути, как и начало «Исповеди», это оправдательная речь, которая требует особой и весьма сильной аргументации. В «Диало-

гах», где речь идет о подлинных событиях, в качестве убедительной аргументации просьбы о понимании и участии Руссо работают его фантазмы. Вымышленные образы и ситуации обретают силу художественного факта благодаря особой работе воображения, особой работе «расширения сознания».

Один из способов убедить читателя в подлинности «злодейств» «этих господ» — «перенос» на свою ситуацию воображаемых картин страдания и несправедливости. Говоря о недоказанности обвинений, предъявляемых ему кликой («меня обвиняли в убийстве, воровстве, обмане»), Руссо отождествляет себя с невинными жертвами судопроизводства, которые были осуждены на основании ложной **видимости**.

*«Вот недавний случай, извлеченный из Лейденской газеты, который стоит привести. Один человек, обвиняемый в английском суде в явном преступлении, подтвержденном публичным и единодушным свидетельством, защищался очень странным алиби. Он утверждал и доказал, что в тот же день и в тот же час, когда свидетели **видели**, как он совершал преступление, он защищал себя в другом суде и в другом городе от очень похожего обвинения. <...> В силу проведенных розысков и следствия... открылось, что преступления, приписываемые этому обвиняемому, были совершены другим человеком, но так походившим на первого ростом, видом и чертами, что одного постоянно принимали за другого. <...> Где тот человек, который умеет определить с уверенностью все случаи, когда люди, обманутые ложной видимостью, могут принять обман за очевидность, а ошибку за истину? Кто этот отважный, кто, когда речь идет о том, чтобы серьезным образом судить человека, выходит вперед и приговаривает его, не предпринимая всех возможных предосторожностей, чтобы уберечься от ловушек лжи и иллюзий ошибки? Кто тот судья-варвар, который, отказывая обвиняемому в предъявлении обвинения, лишает его священного права выступить в свою защиту, права, которое вовсе не гарантирует, что судья будет убежден этой защитой, если очевидность такова, какой ее предполагают; и очень часто ее бывает недостаточно, чтобы помешать судье **увидеть** ложную очевидность и пролить невинную кровь даже выслушав обвиняемого. Если бы в 1751 г., — пишет Руссо уже о себе, — кто-нибудь предсказал, каким легким и пренебрежительным образом будут судить человека уважаемого абсолютно всеми, никто не поверил бы в это; и если бы публика хладнокровно **посмотрела бы**, по какому пути ее толкали, чтобы она постепенно достигла этой странной убежденности, она сама удивилась бы, увидев темные и извилистые тропинки, которые нечувствительным образом ее к ней привели так, что она этого и не заметила» [Rousseau, 1999, р. 151].*

Другой пример более непосредственного, визуального отождествления себя с жертвой возникает как следствие подлинного, очень

сильного впечатления. Руссо рассказывает о том, как жгут его чучело, следуя старой традиции жечь соломенное чучело швейцарца на улице Des Ours.

«Для этого они придали соломенному чучелу лицо Жан-Жака и нарядили в его одежду, они вложили ему в руку блестящий нож и, с шумом прогуливая его по улицам Парижа, позаботились, чтобы его установили прямо под окнами Жан-Жака, поворачивая при этом его лицо так, чтобы со всех сторон показать народу, которому милосердные исполнители все объяснили так, как захотели, и воодушевили его сжечь образ Жан-Жака в ожидании лучшего. В том, чтобы сжечь меня лично, есть два больших неудобства, которые заставляют этих господ лишать себя удовольствия: во-первых, как только я буду мертв и сожжен, я уже не буду в их власти, и они потеряют большее удовольствие мучить меня живого» [Rousseau, 1999, p. 138–139].

И наконец, кульминация воображаемой казни, в центре которой Жан-Жак видит себя, обвиненного в убийствах, воровстве, отравлениях и пр., непосредственной жертвой злодеев:

«Вообразите себе людей, которые начинают с того, что надевают каждый хорошо прилаженные маски, вооружаются оружием до зубов, затем наступают своего врага, хватают его сзади, раздевают его, связывают его тело, руки, кисти ног и голову так, что он не может двигаться, вставляют кляп в рот, выкалывают ему глаза, бросают его на землю и проводят свою благородную жизнь, занимаясь тем, что тихо убивают его, опасаясь, как бы он, умерев от ран, не перестал слишком рано чувствовать боль. Вот люди, которыми вы хотите заставить меня восхищаться» [Rousseau, 1999, p. 164–165].

Воображаемые картины казни и страдания у Руссо не только психологически достоверно воссоздают работу чувств Жан-Жака, но еще и становятся убедительными аргументами в его социальной и нравственной системе и сильными факторами его риторики.

Пафос каждой из приведенных ситуаций определяется единой риторикой — риторикой требования защиты, за которой стоит «работа скорби». Каждый из этих примеров — восклицание: «Это несправедливо!» Образный, эмоциональный характер аргументации в данном случае подтверждает тонкую мысль Поля Рикера из философско-юридического трактата «Справедливое» (1995).

Возгласу «Это несправедливо» зачастую присуща более пронзительная интуиция, касающаяся подлинной природы общества и места, все еще занимаемого в обществе насилем, нежели она свойственна всякому рациональному или разумному дискурсу о справедливости. [Рикер, 2005, с. 206].

«Пронзительная интуиция» страдания, а не рациональные размышления о справедливости для Руссо оказывается основой подлинной справедливости.

Литература

Радищев, 1938 — Радищев А. Н. Житие Федора Васильевича Ушакова. Полное собрание сочинений в 3-х тт. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. С. 153–213.

Рикер, 2005 — Рикер П. Справедливое. М.: Гнозис Логос, 2005.

Руссо, 1996 — Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Москва: Терра, 1996.

Руссо, 1968 — Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М., Художественная литература, 1968.

Толстой, 1953 — Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 91 томе. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1928–1958. Т. 37.

Тургенев, 1980 — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. М.: Наука, 1978–1982. Т. 11. С. 152.

Berschtold, 1976 — Berschtold J. «Jean-Jacques dans le taureau de Phalaris. Mythologisation du moi-victime et modèles d'identités dans Rousseau juge de Jean-Jacques», *Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau*, 43, 2001. P. 181–203.

Eigeldinger, 1978 — Eigeldinger M. Jean-Jacques Rousseau. Univers mythique et coherence. Neuchatel: Payot, 1978.

Rousseau, 1999 — Rousseau J.-J. Les Dialogues ou Rousseau juge de Jean-Jacques. Paris: Flammarion, 1999.

Rousseau, 1972 — Rousseau J.-J. Correspondence complete. Ed. critique établie et annotée par R.-A. Leigh. № 2440. T. XV, Baunbure, 1972. pp. 48. Lettre du 20 janvier 1763 au maréchal de Luxembourg.

В. М. Мокиенко,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Библеизмы как источник европеизации национальной фразеологии и паремиологии¹

The bibleisms as the source of the europeisation of the national phraseology and paremiology

The article deals with the biblical winged words and expressions, which are treated in the wide European dimension as the source of the lingual internalisation. The translation of the Bible brought not only common features, but influenced the national specifics as a result of the lingual adoption. The different and complicated types of such an adoption are regarded in the article.

Язык Библии оказал огромное влияние на формирование литературных языков многих народов, издревле приобщенных к христианской культуре. Переводы Священного Писания на народные языки

¹ Статья представляет собой значительно сокращенный и несколько измененный вариант доклада на пленарном заседании конференции. Полный текст будет опубликован в специальном сборнике докладов Фразеологической секции «Фразеология и Библия» (в печати).

стали основой книжных языков Европы, в том числе славянских. При этом, что комментирование текста Библии является одним из древнейших и традиционнейших занятий филологов, многие аспекты этой сложной проблематики приходится относить к малоразработанным. Таковы, в частности, вопросы о специфике усвоения конкретными языками тех элементов, которые восходят к тексту Библии, о характере их дальнейшего развития в каждом из этих языков и др. В какой-то степени язык Библии — это язык «в себе», своеобразный духовный код, объединяющий народы христианских культур. Вот почему переводчикам, несмотря на разные традиции, передача библеизмов, содержащихся в тексте переводимого произведения, дается намного легче, чем перевод иных языковых элементов — имен собственных, идиоматики и других единиц, относимых к области «непереводимого в переводе». Тем более значимы с точки зрения сравнительного изучения литературных языков те расхождения, которые наблюдаются именно в области лексико-семантических явлений, восходящих к общему источнику — тексту Священного Писания. Эти расхождения во многом определяют специфику национальной адаптации библеизмов и фразеологизацию и паремиологизацию в отдельных языковых системах.

При общности источника библеизмов в языках, находящихся под влиянием христианской культуры, в них обнаруживаются большие различия как в количестве, так и в качественном составе этих единиц. Показательно, что даже в таких близкородственных славянских языках, как польский и кашубский, подверженных общему католическому влиянию, такие различия весьма ощутимы [Treder, 1989, p. 127—156]. Русский язык, в котором православная вера с ориентацией на церковнославянские сакральные тексты гармонически сближалась с общеевропейской культурой и влиянием польского, французского, немецкого и других языков, обнаруживает здесь специфичные особенности. По мнению В. Г. Гака [Гак, 1997а; 1997б], эта специфичность проявляется именно в сочетании книжно-церковного и разговорного (навеянного во многом кальками с европейских языков) начал, значительно обогатившем фонд русских библеизмов. Количественно он превосходит поэтому корпус библеизмов французского языка. И действительно, материал «Толкового словаря библейских выражений и слов» [Лилич, Мокиенко, Трофимкина, 2010] показывает, что русские библеизмы представлены именно в этих двух ипостасях, связанных как с историей книжной культуры на Руси, так и историей русского языка послепетровского периода.

Как известно, в Русской православной церкви в качестве языка богослужения используется церковнославянский перевод Библии, восходящий к кирилло-мефодиевскому и естественно претерпевший в ходе многовекового развития немало редакторских замен, направленных на унификацию текста и приближение его к русскому лите-

ратурному и народному языку. В 1816 г. впервые был издан текст русского Евангелия, а в 1876 г. на русском языке впервые появился полный перевод Библии, утвержденный священным Синодом [см.: Логачев, 1991]. Понятно, что библеизмы, издревле проникавшие в русский литературный язык, входили в него первоначально в церковнославянской форме; по мере же вытеснения из литературного обихода старославянизмов и замены их собственно русскими формами библеизмы также подвергались этому процессу.

На форму библеизмов в русском языке несомненно наложило отпечаток и функционирование с XIX в. двух переводов Священного Писания — церковнославянского и русского, так называемого синодального: этим частично объясняется вариантность библеизмов, совмещение в одном выражении церковнославянизмов и чисто русских фонетических и грамматических черт и т. д. Сохранились и такие единицы, которые возводимы лишь к тексту церковнославянского перевода. Таково, например, выражение *Не ведают, что творят*, широко употребляемое в русском литературном языке как обоснование снисходительного отношения к тем, кто не осознает предосудительности своего поведения, поступков. Выражение восходит к церковнославянскому тексту Евангелия: « τ τ ἰδου οἱ ἄνθρωποι οὐκ οἴσιν τι ποιοῦντες ἀλλὰ οὐκ οἴσιν τὰ ἔργα τῆς καρδίας αὐτῶν ὡς ἡ δόξα τῆς πατρὸς τοῦ θεοῦ ἡ δόξα τῆς ἀληθείας » (Лука 23, 34). В русском переводе были заменены оба ставших архаичными глагола: *вѣдати* и *твори́ти*. Ср.: «Иисус же говорил им: Отче! прости им; ибо не знают, что делают».

Русский язык, в отличие от других европейских, воспринял через церковнославянские переводы и немало заимствований из греческого, которые приобрели в литературном и речевом употреблении маркированную стилистику и семантику и потому обрели статус библеизмов.

Таково, например, слово *аспид*, которое в просторечии употребляется как бранная характеристика злобного и коварного человека. В церковнославянском же и русском переводах Библии это слово (оно встречается более 10 раз) обозначает род ядовитых змей и отмечено в ярках, образных употреблениях, например: «Дан будет змеем на дороге, *аспидом* на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад» (Бытие 49, 17). Ср. использование образа *аспида* в изображении царства Мессии, где господствует мир и безопасность: «И младенец будет играть над норою *аспида*, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Исаия 11, 8).

Во многих европейских языках слово *аспид* отсутствует как в прямом, так и в переносном значениях. В чешском и словацком, например, его передают либо словами с родовым значением 'змея' (*had*, *rohovatý had*, *růžkatá zmije*, *l'utý had*), либо словами, обозначающими конкретную разновидность змей, но не мотивированными библейским оригиналом (*kobra*, *vretenice*), либо иноязычными словами типа

bazilišek [Лилич, Мокиенко, Степанова, 1993, с. 56]. И хотя с точки зрения принципа функциональной адекватной передачи образа оба типа переводов можно признать равноценными, способы достижения высокой степени экспрессивности, связанные с образом змеи, здесь все-таки неодинаковы. В чешских и словацких переводах, где используются разные названия змей, на первый план выдвигаются традиционные, народные ассоциации (змея — опасное, коварное и вызывающее гадливость существо). В русских же переводах иноязычное слово *аспид*, препятствуя появлению конкретных коннотаций, в то же время создает экспрессию чего-то таинственного, невиданного и потому особенно опасного и зловещего. Последнее обстоятельство и послужило причиной того, что именно в русском языке сложился библеизм: *аспид* выступает только в переносном значении, а сама его иноязычная форма также как бы выделяет его из ряда подобных обозначений.

Диффузностью экспрессии такого рода, генерируемой непонятностью того или иного слова или словосочетания, отличаются многие русские библеизмы — ср. *жупел*, *темна вода во облацех*, *притча во языцех* и т. п.

Сопоставление русского массива библеизмов с библеизмами других языков (например, чешского, словацкого, немецкого) свидетельствует, что можно говорить об их известном параллелизме, но более существенно то, что русский литературный язык, с одной стороны, и чешский и словацкий [Лилич, Мокиенко, Степанова, 1993] или чешский и немецкий [Яцевич, 2003] — с другой заметно противопоставлены вследствие разных переводческих традиций: западнославянские и немецкий тексты Библии восходят к латинскому посреднику, русские же находятся в рамках византийской традиции.

Разумеется, различиями переводческих традиций далеко не исчерпываются внешнеязыковые и внеязыковые факторы, влияющие на характер библеизмов в разных языках. Неодинакова вся социально-культурная среда их бытования в «греко-славянском» ареале (*Slavia Otrhodoha*) и в ареале «славяно-латинском» (*Slavia Latina*) и германском [Толстой, 1988, с. 128 и сл.]. Имеют значение особенности конфессиональной ориентации носителей языка; различия во взаимодействии христианских представлений с дохристианскими, языческими, у разных народов; специфика языковой ситуации в разные исторические периоды (например, наличие, характер и степень распространенности билингвизма) и др. В сочетании с этими факторами проявляются собственно языковые, внутренние тенденции и закономерности лексико-семантического развития, что и приводит к тем или иным расхождениям в форме, семантике и употреблении библеизмов в разных языках.

Нередко импульс к таким расхождениям задается семантическим синкретизмом самого первоисточника — текста Книги книг. Разная

ориентация древнейших переводов библейских текстов на разные языки и неодинаковое воплощение общих семантических потенций в развитии библеизмов создают дифференциацию крылатых слов и выражений, имеющих общий источник. Вместе с тем общеевропейское языковое пространство и общность христианской культуры становятся и основой стирания этой дифференциации. Количество библеизмов и их вариантов в русском языке возрастает не только благодаря повышению интереса к православной книжности, но и благодаря постоянному приобщению к европейской литературе и искусству. Многие из русских библеизмов являются кальками из немецкого, французского и других европейских языков, которыми свободно владела наша аристократия с петровских времен. Запас русских библеизмов пополняется и в наши дни. Так, из американского политического дискурса в современный русский язык пришло слово *Армагеддон*, синонимичное традиционному у нас библеизму *Апокалипсис*. Его публицистические контексты, зафиксированные в современном русском языке, показывают динамичность и таких библейских «неологизмов», свидетельствуя об их жизненности и популярности.

Лексикографическая интерпретация символики Библии, отраженной в современных литературных языках, — одна из актуальных научных и дидактических проблем. Опыт составления «Толкового словаря русских библейских выражений и слов» [Лилич, Мокиенко, Трофимкина, 2010], «Немецко-русского словаря библеизмов» [Walter, Mokienko, 2009] и «Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren» [Walter, Komorowska, Krzanowska, 2010] показывает, что часть общего корпуса библеизмов в европейских языках образована не с помощью прямого воспроизводства соответствующего афоризма или фразы, а самостоятельной комбинацией слов, образов или сюжетов из Библии. В ряду таких оборотов встречаются различные структурные и семантические образования. Так, нем. выражение *langer Laban* представляет собой сложную комбинацию библейских аллюзий с переосмысленными в народно-этимологическом ключе славянскими экспрессивными лексемами [Walter, Mokienko, 2009, р. 99—100]; устойчивые сравнения типа *wie Lots Weib*; *arm wie Hiob* в качестве устойчивых компаративов, подобных оборотам *wie Sand am Meer*; *wie Spreu im Winde* в самой Библии не встречаются, а образованы позднее на основе соответствующих сюжетов; не встречаются в самой Библии и такие шуточные обороты, как *im Adamskostüm* (*Evaskostüm*) *gehen* — в костюме Адама и *jmdn. von Pontius zu Pilatus schicken* — посылать кого-л. от Понтия к Пилату. Такие афоризмы и выражения по терминологии проф. Х. Вальтера названы «косвенными библеизмами». Аргументом в пользу их включения в словарь явилась их тесная связь с библейским текстом и возможность комментирования

их внутренней формы именно на этой основе. Разграничение этих двух типов фразеологических и паремiologicalических библеизмов (при всей его условности) позволяет достаточно определенно определить пути их адаптации в языках Европы.

В наших словарях библеизмов делается попытка не только отразить этапы такой адаптации, но и продемонстрировать межъязыковые семантические и стилистические различия, ставшие ее результатом. Продемонстрирую это на примере из нашего «Немецко-русского историко-этимологического словаря фразеологизмов» [Walter, Mokienko, 2011]. Оборот отражает сложное переклечение семантических регистров, поскольку его современное восприятие осложнено архаизацией лексического стержня библейского выражения.

* **aus seinem Herzen keine Mördergrube machen:** *Ничего не утаивать (не скрывать); быть откровенным, не скрывать своего истинного мнения; рассказывать о себе не хуже, чем на самом деле (букв.: не делать из своего сердца могилу убийцы); говорить со всей откровенностью; говорить без утайки (не таясь), раскрывать всё как перед Богом; рассказывать всё как на духу; иметь душу нараспашку.*

< Выражение известно с начала XVIII в. [Kürper, 1993, S. 342]. Оно относится к многочисленным фразеологизмам со стержевым словом *Herz* — сердце как средоточие человеческих чувств. В отличие от большинства из них, которые прозрачны по исходному образу, это выражение непонятно потому, что слово *Mördergrube* давно уже вышло из употребления и существует только в составе нашего фразеологизма. Архаичность его объясняется библейским происхождением — см., напр.: „Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Mördergrube“ (Jer. 7, 11) — «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь» (Иер. 7, 11). Это слово входит в состав известного афоризма Иисуса Христа, который говорит книжникам и фарисеям, находясь в храме: „Mein Haus soll ein Bethaus sein; ihr habt daraus eine Mördergrube gemacht“ (Matth. 21, 13). Смысл слова и всей фразы проясняется при сопоставлении немецкого текста с переводами на другие европейские языки. Русский синодальный текст во многом является воспроизведением церковнославянского: «И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? А вы сделали его вертепом разбойников» (Мф 21, 13). Слово *verteen* в сочетании *verteen разбойников* также является архаизмом и имеет значение ‘притон, место, дом, где собираются с преступными или другими неблагоприятными целями’.

Более конкретно передано значение нем. *Mördergrube* и рус. *verteen* в других европейских переводах Библии. Так, в английском и французском ее текстах соответствующее слово передается обозначениями пещеры: *My house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it a den of thieves;* франц.: *Ma maison sera appelée une maison*

de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Следовательно, *Mördergrube* в исходном тексте обозначает ‘пещеру, логово, где скрываются разбойники’. Тем самым раскрывается переносное значение немецкого оборота — ‘не делать из сердца логово для преступников, прячущихся от честных людей, т. е. быть абсолютно открытым и искренним’.

Как видим, и в русском, и в немецком языках известное евангельское изречение «затемнено» входящими в него архаизмами *Mördergrube* и *verteen*. Однако если в русском языке слово *verteen* является практически забытым архаизмом старославянского извода, то нем. *Mördergrube* воспринимается как вполне понятное сложное слово. Но понятное неправильно с точки зрения его исходной семантики, что делает весь немецкий оборот *aus seinem Herzen keine Mördergrube machen* своеобразную смысловую загадку.

Собственно говоря, объединяющими моментами библеизмов как весьма различных в лингвистическом отношении единиц являются два: общий источник и определенная семантическая маркированность, «навеянная» этим общим источником. Эти признаки являются общими для всех единиц, именуемых *крылатыми словами, эпитонимами, интертекстемами, прецедентными текстами* [Mokienko, 2003], и поэтому допускают определенную степень субъективности уже потому, что абсолютно точная идентификация библейского источника затруднена многими факторами. С одной стороны, многие из библеизмов (особенно паремии) являются универсально-типологическими и зарегистрированы в фольклоре разных народов. С другой же — в Библию вошло много фольклорных элементов древнего происхождения, и уже поэтому поиск первоисточника может вывести за ее пределы. Наконец, каждый язык по-своему адаптировал и даже «национализировал» библейские слова и выражения, что сделало их в немалой степени и собственным языковым достоянием. Демонстрируя мощный общечеловеческий и собственно национальный культурологический и языковой потенциал, жизнь библеизмов в современных языках Европы убедительно свидетельствует о нетленности духа и буквы Книги книг.

Литература

Берков, Мокиенко, Шулежкова, 2000 — Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. М.: «Русские словари», ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000.

Берков, Мокиенко, Шулежкова, 2008—2009 — Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка: ок. 5000 ед.: в 2 т. (Т. I. А—М. — 658 с.; — Т. II. Н—Я. — 656 с.) / под ред. С. Г. Шулежковой. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Магнитогорск: МаГУ; Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2008—2009.

Гак, 1997а — Гак В. Г. Специфика библейской фразеологии в русском языке // Problemy frazeologii europejskiej II. Frazeologia a religia. Red. A. M. Lewicki i W. Chlebda. Warszawa, 1997. S. 95—103.

Гак, 1997б — Гак В. Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французскими библеизмами) // Вопросы языкознания 1997. № 5. С. 55—65.

Лилич, Мокиенко, Степанова, 1993 — Лилич Г. А., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Библеизмы в русском, чешском и словацком литературных языках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1993. Вып. 3. С. 51—59.

Лилич, Мокиенко, Трофимкина, 2010 — Толковый словарь библейских выражений и слов: ок. 2000 единиц / В. М. Мокиенко, Г. А. Лилич, О. И. Трофимкина. М.: АСТ: Астрель, 2010.

Логачев, 1991 — Логачев К. И. Русская Библия вчера, сегодня и завтра // Евангелие. Перевод с древнегреческого священника Православной Церкви о. Леонида Лутковского. М., 1991. С. 287—295.

Суслова, Суперанская, 1991 — Суслова А. В., Суперанская А. В. О русских именах. Изд-е 2-е, испр. и доп. Л.: Лениздат, 1991.

Толстой, 1988 — Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М.: Наука, 1988.

Яцевич, 2003 — Яцевич К. В. Библеизмы в чешском, русском и немецком языках. Канд. дисс. ... филол. наук. СПб., 2003.

Küpper, 1993 — Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart — Dresden: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1993.

Mokienko, 2003 — Mokienko V. Intertexteme und Text in slavischen Sprachen // Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen. Beiträge zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana. Hrsg. Tilman Berger, Karl Gutschmidt. — München: Verlag Otto Sagner, 2003. — S. 162—186.

Treder, 1989 — Treder J. Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównaczym). Wejherowo, 1989.

Walter, Komorowska, Krzanowska, 2010 — Walter H., Komorowska E., Krzanowska A. i zespół. Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren. Szczecin-Greifswald, 2010.

Walter, Mokienko, 2009 — Walter H., Mokienko V. M. Deutsche-russisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen. Mit historisch-etymologischen Kommentaren. — Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Philosophische Fakultät, 2009.

Walter, Mokienko, 2011 — Walter H., Mokienko V. M. (K)Ein Buch mit sieben Siegeln. Historisch-etymologische Skizzen zur deutschen Phraseologie. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Philosophische Fakultät, 2011.

С. Т. Нефёдов,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «История языка (романо-германский цикл)»

Взаимодействие грамматических и лексических маркеров эвиденциальности в диахронии немецкого языка

Эволюционно-диахроническое развитие немецкого языка начиная с его диалектных форм существования демонстрирует стабильность основных грамматических и лексических средств при оформлении

высказываний другого лица. Такими, как известно, среди грамматических маркеров выступают формы глагольного наклонения, а из сферы лексики — вводящие «чужое слово» предикаты с семантикой говорения и передачи информации. Данное положение вещей в строе немецкого языка отнюдь не означает, что выражение эвиденциального смысла не имело своих особенностей на более ранних стадиях его развития. Так, анализ письменных памятников VIII—IX вв. на древневерхненемецких диалектах обнаруживает более тесную функциональную взаимосвязанность лексических и грамматических средств при цитировании и реферировании актуальным говорящим высказываний других лиц. Это выражается прежде всего в том, что выбор предиката в форме эвиденциального конъюнктива или эвиденциального индикатива почти исключительно зависел от семантики вводящего речеактового глагола матричного предложения. Кроме того, предпочтение конъюнктивной / индикативной формы предиката поддерживалось фактивной или нефактивной семантикой контекста, в рамках которого содержание «чужих слов» презентировалось актуальным говорящим соответственно как достоверное, соответствующее реальной для него действительности или как недостоверное, ложное.

Этот факт отмечается в целом ряде исторических грамматик и специальных исследований по синтаксису так называемой косвенной речи в немецком языке. Наиболее подробная, теоретически и практически значимая работа, известная мне по данной проблеме на историческом материале германских языков, — это докторская диссертация Т. В. Строевой «Модальность косвенной речи в немецком языке» [Строева, 1950]. В ней, среди прочего, на обширном языковом материале древневерхненемецких диалектов показана зависимость употребления грамматических разрядов конъюнктива / индикатива в пересказательной функции от конкретных *verba dicendi*, типичных в текстах «Исидора», «Татиана», Отфрида и Ноткера и в некоторых малоформатных памятниках этого периода.

Можно с уверенностью говорить о том, что положение о функциональной детерминированности форм конъюнктива / индикатива в эвиденциальной функции семантикой вводящего речеактового глагола в древневерхненемецком входит в базовый фонд грамматических знаний о немецком языке. Это еще раз подтверждает последнее переиздание отнюдь не исторической, но эталонно-образцовой дуденовской грамматики 2009 г., в котором содержится попутное замечание по этому же вопросу: «Früher war der Indirektheitskonjunktiv eher eine vom übergeordneten Verb ausgelöste Reaktionserscheinung. Dementsprechend war der Konjunktiv auch nach Verben des Wissens usw. verbreitet...» [Duden, 2009, S. 533].

На последующих этапах развития немецкого языка эвиденциальный конъюнктив постепенно как бы отрывается от чрезмерной

«семантической опеки» вводящего предиката, грамматикализуется, а формы презентного конъюнктива почти исключительно закрепляются за сферой «реферируемой речи» при угасании и маргинализации других присущих ему ранее функций (оптативной, условно-предположительной, телеологической, опосредованно-директивной). С течением времени становится возможным также оформление «чужого слова» в виде синтаксически самостоятельных предложений, формирующих особый, специфически немецкий тип пересказательной речи — так называемую «*berichtete Rede*», наиболее рельефно выступающую в виде текстовых пассажей презентного конъюнктива в масс-медийных новостных сообщениях [Grundzüge, 1981, S. 529; Engel, 1988, S. 112; Duden, 2009, S. 1115].

Если уже говорить об общих диахронических тенденциях в становлении «грамматики» выражения «чужого слова» в немецком языке, то они не отделимы от общего процесса возрастания эгоцентричности, привнесения субъективно-личного в человеческую коммуникацию и манифестирующие ее тексты. Конкретно в немецком языке эта тенденция, по-моему, проявляется в том, что здесь с исконными базовыми формами выражения реферируемой речи (эвиденциальным конъюнктивом и речеактовыми глаголами) все более успешно конкурируют новые средства: в сфере грамматики — модализированные конструкции *sollen / wollen + Infinitiv II, I*, а в сфере лексики — специальные маркеры эвиденциальности — модально-эпистемические слова *angeblich, vorgeblich, vermeintlich* (якобы, будто бы) и диалогические частицы *ja, etwa* и др. Эти средства отягощены дополнительными модальными, субъективно-оценочными и прагматорическими смыслами.

Для того чтобы показать корреляцию между грамматическим оформлением предиката в зависимой клаузе той или иной формой глагольного наклонения и семантическим типом вводящего глагола, необходим анализ эвиденциальных текстовых фрагментов с включением самых разнообразных речеактовых глаголов. Таким широко варьируемым вводящим предикатов с семантикой речи и передачи информации отличается поэма вейсенбургского монаха Отфрида, созданная им в 865 г. на южно-рейнскофранкском диалекте. Синтаксическое оформление «чужого слова» в «Евангелической гармонии» Отфрида характеризуется значительным разнообразием и в полной мере отражает состояние древнегерманских диалектов в этот период, а также те эволюционные линии, по которым шло развитие грамматических и лексических маркеров «непрямой речи» в немецком языке.

В нарративных фрагментах поэмы, воспроизводящих эпизоды из жизни Спасителя, явно обнаруживаются две четко обозначенные тенденции в применении эвиденциальных средств. Остановимся на них более подробно.

Один тип «пересказательных» конструкций представлен гипотаксической структурой, которая формируется вокруг *verbum dicendum quedan*. Глагол *quedan* выступает в составе матричного предложения в качестве вводящего и подчиняющего себе по смыслу придаточное предложение, изъясняющее содержание «чужой речи». Грамматическая зависимость между элементарными предложениями гипотаксиса выражается либо союзно-связующим *thaz*, либо — реже — бессоюзно. Здесь предикат в зависимой клаузе регулярно стоит в конъюнктиве, причём при бессоюзном подчинении, как правило, в форме претерита конъюнктива. Доминирование этой формы представления «чужой речи» позволяет сделать вывод о том, что конъюнктив выступает здесь регулярным грамматическим показателем «реферируемой речи». При этом, как показывает контекстно-семантический анализ, форма конъюнктива при наличии вводящего *quedan* не привносит какого-то особого субъективного отношения реферирующего субъекта к сообщаемому.

Эвиденциальный конъюнктив в конструкции *quedan, thaz... употребляется*, к примеру, в случаях, когда точки зрения «реферируемого» субъекта и актуального реферирующего субъекта не совпадают. Например, это имеет место тогда, когда «чужое высказывание» содержит явно ложное утверждение с позиций автора поэмы — монаха Отфрида, апологета христианского вероучения:

(1) *sum quad, er dati widar got, ioh er firbrachi sin gibot* (О. III, 20.61) — Некоторые (из противников Иисуса) говорили, что он выступает против Бога и нарушает его законы;

(2) *sie quatun io zinoti, thaz er then diufal habeti* (О. III, 19.15) — Они (противники Иисуса — фарисеи) говорили, что он одержим дьяволом.

Бесспорно, что такого рода утверждения для Отфрида были по меньшей мере кощунством.

И, напротив, ложью будет для фарисеев утверждение Иисуса, что он Бог:

(3) *thu quist, thu weses abur got* (О. III, 22.45) — Ты говоришь, что ты Бог.

Логично употребление конъюнктива, если содержание «чужого слова» еще не является свершившимся фактом, а принадлежит плану будущего:

(4) *er quad, er selbo quami* (О. III, 3.7) — Он (Иисус) сказал, что сам придет.

В контексте футуральности (перспективности) конъюнктив оправдан семантически, поскольку позволяет говорящему переключиться с сообщений о действительном мире на высказывания о мире только мыслимом, в котором допустима большая свобода субъективных интерпретаций пропозиционального содержания. Поэтому вполне естественными оказываются для конъюнктива контексты

обещания и целеполагания, также ориентированные на «возможный мир».

(5) *tho quad* er, thaz sie *skanetin* (О. II, 8.57) — Он сказал, чтобы они черпали (вино);

(6) *quadun*, sih therā dati noh tho baz *biknati* (О. III, 20.106) — Они сказали, чтобы он еще раз получше обдумал это дело.

Противостоят приведенным выше случаям примеры, в которых содержание «чужой речи» представляет собой неоспоримый факт, объективную данность, не допускающую субъективных сомнений в реальности этого факта у актуального говорящего. Но и здесь регулярно употребляется конъюнктив; например:

(7) *ther evangelio* thar *quit*, thaz *wari* in wintiriga ziti, thisu dat ubaral, thia ih in hiar nu sagen scal (О. III, 22.3) — Евангелие говорит, что это случилось в зимнее время, это чудо, о котором я хочу здесь рассказать.

Сходными по составу и характеру языковых средств, маркирующих «чужое слово», оказываются текстовые фрагменты, в которых описываются конкретные факты из жизни участников библейского повествования, как в нижеследующих примерах:

(8) *quad*, er io bi noti *lagi* dawalenti (О. III, 2.7) — сказал, что он лежит больной;

(9) *quadun*, *elliti* loufan zi *themo grabe wufan* (О. III, 24.45) — сказали, что она поспешила к могиле, чтобы там оплакивать.

Поскольку глагольные формы конъюктива на паритетных основаниях употребляются в контексте как фактивных, так и нефактивных ситуаций, то можно сделать вывод о том, что применение конъюктива при наличии вводящего глагола *quedan* не зависит от семантики контекста.

Все другие *verba dicendi* и устойчивые выражения с семантикой говорения и передачи информации типа *sagen*, *sprehhan*, *zellan*, *wis duan*, *marī duan*, *kunden* и т. д. в качестве вводящих и организующих центров реферируемой и цитируемой речи не имеют в древневерхненемецком таких грамматических маркеров стабильности. Грамматическими показателями структурного и семантического подчинения здесь выступают: союзно-связующее *thaz*, бессоюзная связь (значительно реже, чем при *quedan*) и вопросительно-относительные союзно-связующие местоимения. Оформление предиката в клаузе разрядами глагольного наклонения (конъюнктивом или индикативом) всецело зависит от контекста.

Наиболее употребительным в этой группе оказывается глагол говорения *sagen*. Там, где контекстные условия указывают на явную фактивность, реальность пересказываемого события для говорящего, употребляется только индикатив; например:

(10) *sliumo sageta* er mo thaz, thaz er mo êr *kund was* (О. II, 7.61) — Вдруг он сказал ему, что он раньше знал его;

(11) *theru muoter sageta* er ouh tho thaz, theiz allaz sines fater *was* (О. II, 3.32) — Своей матери он сказал также, что всё это от отца его.

(12) *ich sagen* thir, wer thaz liht *ist* (О. II, 2.15) — Я скажу тебе, кто есть свет.

В последнем примере (12) содержание цитируемой речи, воспроизводящей прямой вопрос предтекста, представляет собой факт знания, которое Иисус стремится передать спрашивающему.

Если контекстные условия изменяются в сторону нефактивности (неопределенности, неясности, сомнительности и т. д.), то употребляется конъюнктив; например:

(13) *nu saget* uns in drati, wer avur thir *dati* (О. III, 20.85) — Скажи теперь нам поскорее, кто же тебе (это) сделал.

Фарисеи, спрашивающие исцеленного слепого, находятся в сомнении и вообще не уверены, что прозревший сможет объяснить случившееся.

Интересен нижеследующий пример (14), в котором передается высказывание одного из фарисеев. Здесь противопоставление эвиденциального индикатива конъюнктиву вообще нейтрализуется контекстом сомнения и неизвестности.

(14) *sage* uns nu gewaro, wie *sihist* thu so zioro ioh wer thir *dati* thia maht, thaz thu so scono sehan maht (О. III, 20.43) — Скажи нам теперь по правде, как же ты видишь так хорошо и кто дал тебе эту силу, что ты так хорошо можешь видеть.

Таким образом, для диалектной стадии развития немецкого языка выделимы две четко обозначенные тенденции в лексико-грамматическом оформлении эвиденциальных фрагментов текста и вместе с тем два основных пути диахронической эволюции языковых средств маркирования чужой речи. С одной стороны, при вводящем *verbum dicendum quedan*, весьма частотном в древнемецких текстах VIII—IX вв. при цитировании и реферировании «чужих слов», обнаруживается регулярное употребление глагольной формы конъюктива независимо от семантики контекста. Это делает форму конъюктива грамматическим показателем именно «чужого слова», выделяя его на фоне рамочного повествующего текста. В соответствующих языковых фактах видны зародыши грамматикализации конъюктива в эвиденциальной функции, предел которой достигнут в современном немецком языке в виде конъюнктивно-презентных пассажей, состоящих из синтаксически независимых предложений без вводящего речеактового глагола. С другой стороны, выявляется регулярное употребление форм конъюктива при разных других лексемах, способных вводить древнемецкую «чужую речь», исключительно в нефактивных контекстах незнания, неопределенности, недосказанности, предположения и сомнения. В такого рода контекстах формируется несколько иной тип эвиденциального конъюктива — дистантно-эвиденциальный, или модальный конъюнктив «непрямой речи», благодаря которому

актуальный говорящий выражает свою дистанцированную позицию и не берет на себя эпистемическую ответственность за истинность сказанного другим лицом.

Литература

Строева, 1950 — Строева Т. В. Модальность косвенной речи в немецком языке: Дис. ... д-ра филол. наук. Ленинград, 1950.

Duden, 2009 — Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch / Hrsg. von der Dudenredaktion. 8., überarbeitete Auflage. Bd. 4. Mannheim; Zürich: Dudenverlag, 2009.

Engel, 1988 — Engel U. Deutsche Grammatik. Heidelberg, 1988.

Grundzüge, 1981 — Grundzüge einer deutschen Grammatik / Hrsg. von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Karl Erich Heidolph, Walter Flämig und Wolfgang Motsch. Berlin: Akademie-Verlag, 1981.

Источники

О. — Otfrids Evangelienbuch / Hrsg. von Oskar Erdmann. 6. Aufl. von Ludwig Wolff. Trübingen, 1973.

К. С. Оверина,

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Поэтика классического и неклассического нарратива»

Ранний Чехов: к вопросу о сюжетности массовой литературы

Обращаясь к первым прозаическим произведениям А. П. Чехова, исследователь непременно сталкивается с многообразием жанровых форм, которыми пестрит раннее творчество писателя. Безусловно, Чехов, который в это время ориентировался на популярную литературу и массового читателя, не мог не задействовать разнообразные приемы и формы из арсенала «малой прессы».

При изучении данного этапа чеховского творчества литературоведу необходимо структурировать этот разрозненный материал. В результате такого структурирования выявляются жанры и приемы, которые продолжали развиваться и, претерпевая трансформации, проявлялись в поздних чеховских рассказах и повестях, а также жанры, которые отсеиваются молодым писателем и с течением времени совершенно исчезают из его творчества. Такой подход был использован А. П. Чудаковым в его известной книге «Поэтика Чехова» [Чудаков, 1971]. Исключив «неперспективные» жанры (к ним относятся, например, подписи к рисункам, комические объявления, шуточные рекламы, календари, анекдоты, «мелочишки» и т. д.), исследователь выстроил подробную классификацию повествовательных форм и проследить эволюцию чеховского повествования.

Исключение из рассмотрения мелких жанров, многим из которых была близка форма нумерованного списка и которые обычно не сводимы к какой-либо истории и не имеют фабулы в привычном смысле этого слова, вполне естественно в данном случае: Чудаков говорит о повествовательных особенностях прозы Чехова, а повествование во многом связано с построением истории. Однако вопрос о статусе, роли и особенностях этих «лишних» текстов остается открытым, так как они не могли не иметь значения для становления творческой системы писателя.

Безусловно, основной чертой таких прозаических миниатюр является их нахождение за границами повествовательных жанров (именно это имеется в виду, когда говорят о том, что они не содержат истории). Нарративный текст, как известно, должен быть текстом событийным — без события нет сюжета.

Однако не следует забывать о том, что, изучая ранние рассказы Чехова, мы говорим о массовой литературе, на особенности которой они ориентированы. Популярная литература выстраивает особые отношения с читателем. С одной стороны, реципиент ждет от формульного текста развлечения, интересного сюжета, но, с другой стороны, в таких текстах невозможно появление сюжета нового. Удовольствие от подобного рода произведений реципиент получает именно вследствие того, что его ожидания относительно развития сюжета оправдываются.

Если рассматривать проблему с такой точки зрения, то именно сюжетная составляющая (в событийном смысле, а не в смысле экзотичности изображаемых происшествий) в любом тексте массовой литературы оказывается ослабленной. Массовый читатель имеет другой статус, нежели читатель высокой литературы, он осведомлен о том, как устроены такого рода тексты, вследствие чего он имеет дело не столько с повествуемой историей, сколько с изощренным сознанием повествователя. Это позволяет сделать вывод о том, что событийность в формульных произведениях оказывается связана скорее с категорией читателя, нежели с судьбами персонажей. Таким образом, в случае с массовой литературой событийность как совокупность пяти признаков, которые выделяет В. Шмид [Шмид, 2003, с. 13—18], оказывается несколько осложненной за счет смещения акцентов с фигуры персонажа на фигуру читателя.

Стоит пояснить, что, затрагивая вопрос о реципиенте, мы имеем в виду и читателя реального, и имплицитного читателя, который существует как конструкт в каждом художественном тексте. О реальном читателе ранних чеховских текстов, современнике писателя, И. Н. Сухих говорит: «...кругозор читателя учитывается постоянно: повествователь, герой и читатель находятся в одном мире, служат в соседних департаментах, сидят рядом в театре, поблизости нанимают

дачи и т. д. В таком случае любой намек, любое воссоздание ситуации опирается на подкрепляющий контекст: собственный опыт воспринимающего» [Сухих, 2007, с. 68]. В этом смысле очень важно замечание В. Г. Тимофеева о правильной постановке вопроса. Исследователь предлагает сформулировать его так: «Когда есть массовая литература (When is mass literature)?» — имея в виду, что причисление того или иного текста к массовому или элитарному искусству является довольно относительным и часто зависит от исторического момента [Тимофеев, 2008]¹.

Однако даже если отвлечься от конкретного исторического момента, мы не можем отрицать того факта, что тексты массовой литературы оказываются в огромной степени сосредоточены на реципиенте, в них выстраивается своего рода диалог повествователя с имплицитным читателем, и от успешности такой коммуникации зависит успешность самого текста. Вероятно, именно поэтому одним из вопросов, использовавшихся А. П. Чудаковым при составлении описательной статистики чеховских текстов, был вопрос о прямых обращениях повествователя к читателю как бы «поверх» рассказываемой истории. Неудивительно, что с развитием и усложнением повествовательной системы писателя, постепенно уходящего от формульных жанров, показатели в первую очередь по этому пункту статистики начинают значительно сокращаться.

Итак, получается, что массовая литература обладает особым типом сюжета, который основывается на коммуникации между повествователем и читателем. И. Н. Сухих считает, что особенность ранней чеховской прозы в этом смысле заключается в отношении повествователя к читателю. Исследователь видит в интенции повествователя «доверие к читателю, расчет на его активность и нравственную чуткость, на его своеобразное „сотворчество“, о чем впоследствии неоднократно будет говорить Чехов» [Сухих, 2007, с. 68]. Как нам представляется, вопрос об активности читателя может быть решен не столь однозначно. Вследствие того что читатель одновременно знает многое о структуре формульного текста, но при этом хочет получить от него удовольствие, мы склонны считать, что он скорее объект воздействия, чья активность проявляется именно в ожидании этого воздействия. Такая позиция реципиента является уязвимой: читатель пребывает в иллюзии собственного превосходства над текстом, ведь ему известно, чего следует ожидать, и таким образом он легко подчиняется логике повествования. Автору достаточно немного отступить от канонов формульной литературы, несколько усложнить структуру текста, чтобы заставить читателя врасплох.

¹ Размышляя о статусе формульных текстов, Тимофеев перефразирует высказывание Жерара Женетта. Женетт, следуя за Нельсоном Гудменом, предлагает вместо вопроса *Что есть литература?* задавать вопрос *Когда есть литература?*

И. Н. Сухих, как и А. П. Чудаков, обращает внимание на то, что ранние чеховские вещи можно разделить на сюжетные и не имеющие сюжета (или скорее фабулы): есть «вторичные» жанры,

составленные, как из кирпичиков, из простейших элементов: календари, объявления, мысли, задачи. <...> Но знаменитая «Жалобная книга» (1884) и менее известная «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (1882) построены уже по-другому. Отдельные остроты и фразы здесь не просто соположены друг другу тематически, но вступают во внутреннюю взаимосвязь, образуя фабульное движение (правда, довольно свободное). За коротенькими записями возникают лица персонажей, «мелочишка» перерастает в сценку [Сухих, 2007, с. 71].

Как мы видим, исследователь указывает на то, как небольшие тексты, «вторичные» жанры изменяются в творчестве Чехова. Такая трансформация осложняет вопрос разделения ранней чеховской прозы на тексты сюжетные (или фабульные) и несюжетные (не рассказывающие историю), потому что со временем появляется все больше «переходных» случаев. Примером такого переходного явления может послужить одно из тех произведений, которые Чудаков отказывается рассматривать в рамках своего исследования, — «мелочишка» «Перепутанные объявления» (1884). Миниатюра написана по распространенному шаблону, суть которого раскрывается в экспозиции:

С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем: набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по тиснении [Чехов, 1974—1983, II, с. 183].

Далее читателю предлагается список из абсурдных объявлений, получившихся по недосмотру наборщика. Наше внимание в этом простом примере привлекло то, что на самом деле текст вовсе не представляет собой разделенных и соединенных заново вырезок из объявлений: попробуйте разделить их на части и собрать исходные предложения — вы не найдете ни одного совпадения.

Не затрагивая в данном случае вопрос о соблюдении формулы как таковой, остановимся на том, что само по себе построение такого рода текста гиперконвенционально: оно представляет собой в чистом виде эстетическую функцию, игру, сконцентрированную на читателе, однако вряд ли предполагается, что читатель должен отдавать себе отчет в таком построении текста, — он, как мы уже сказали, объект

воздействия. Перед нами диалог-игра повествователя и реципиента. Причем стоит обратить внимание на то, что повествователь этот стремится слиться с «реальным» автором — это маска человека, связанного с журнальной деятельностью.

Такой повествователь неоднократно появляется и в других несюжетных «мелочишках» раннего Чехова. В качестве примера можно привести список, озаглавленный «3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка» [Чехов, 1974—1983, II, с. 182]. Последним пунктом в нем значится: «Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король Сандвичевых островов или испанский гранд. Но кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку» [Чехов, 1974—1983, II, с. 182]. Текст снова представляет собой явный случай игры с читателем: вместо трех тысяч слов мы получаем всего четырнадцать, причем четырнадцатый пример — автограф автора, раскланивающегося перед публикой после удачной шутки.

На наш взгляд, одним из правил построения таких элементарных образований массовой литературы является неизменное постулирование двух субъектов — повествователя и читателя — и установление между ними игровых отношений. Игра эта заключается в постоянном расшатывании границ фиктивного и реального: то ли реальный автор принадлежит художественному миру, то ли совершенно абсурдный текст изображает эмпирический мир. В мелких юморесках этот прием подконтролен как повествователю, так и читателю, который при желании может оценить его вместе с другими остротами, содержащимися в конкретной «мелочишке».

Даже когда сюжет оказывается полностью стилизован под персонажное повествование, фигура наблюдающего нарратора, своим существованием подтверждающая игровой характер текста, не исчезает. Это можно заметить уже в самых ранних текстах. Текст миниатюры «Каникулярные работы институтки Наденьки N» (1880), например, представляет собой «отрывок» из тетради Наденьки, который пежит ошибками героини, цель рассказа — рассмешить читателя. Реципиент при этом вроде бы имеет дело только с персонажем: формулировка мыслей принадлежит Наденьке, общего сюжета в произведении нет (даже сочинение героини вряд ли потянет на полноценную историю, хотя подтекст позволяет читателю домысливать ситуации). Однако подпись автора/повествователя снова включается в текст: «Подлинность удостоверяет — Чехонте», словно бы образуя вместе с заглавием минимальную рамку и снова иллюстрируя игровые отношения.

Подобная активность повествователя, затягивающего читателя в фиктивный мир и одновременно обнажающего литературные приемы, сохраняется и в сюжетных текстах. Так, например, рассказ 1880 г. «За яблочки», повествующий о барине-самодуре, ради забавы издева-

ющемся над крестьянами, начинается длинным пассажем нарратора, вводящего читателя в курс дела. Повествование не только насквозь субъективно (выполняются все условия субъективного повествования по Чудакову: прямые оценки повествователя и обращения к читателю), но в нем так же, как и в прочих примерах, используется прием нарушения границы художественного мира, встречаются апелляции к литературному и околослитературному контексту:

Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Если до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десятков антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отчеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом» [Чехов, 1974—1983, I, с. 39—40].

После длинного вступления повествователя следует собственно сюжетная часть рассказа, а завершается произведение словами повествователя, которые, по большому счету, выглядят достаточно мотализаторскими:

Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочки имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания — писать на спинах мелом крупными буквами: «асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдатика за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфет господина отставного подпоручика... Называй после этого Трифона Семеновича — Трифоном Семеновичем! [Чехов, 1974—1983, I, с. 44—45].

Однако чистого морализаторства не получается: удивительно, но уже в столь раннем чеховском рассказе проявляется принци-

пиальна неоднозначность — мы сталкиваемся не только с неоднозначными оценками героев, которые им дает повествователь, но и с тем, насколько неоднозначно текст воздействует на реципиента. Ведь мы помним, что изначально текст настраивал нас на то, что нам покажут глупого самодура, читателю была обещана шутка, а может быть, и сатира на глупого барина. Далее текст повествует о том, как Трифон Семенович, обнаружив в своем саду молодую пару крестьян, воруящих его яблоки, заставил влюбленных побить друг друга в качестве наказания. Однако повествователь беспощадно комментирует не только действия жестокого барина, но и поведение самих крестьян:

Парень плюнул, крикнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька [Чехов, 1974—1983, I, с. 44].

После чего следует уже процитированный морализаторский итог.

Читатель мог бы, пожалуй, расценить подобный текст как своего рода кукольное представление, в котором смеяться можно над всеми героями, — однако рассказ построен таким образом, что подобная позиция для читателя оказывается невозможной. Первая часть, сконструированная по шаблонам формульных произведений, выстраивает ситуацию диалога повествователя и читателя как главных фигур. Повествователь последовательно рисует образ жестокого барина, все больше сгущая краски, поэтому в ситуации с наказанием молодых крестьян барин действительно выглядит как злодей. Однако позитивного, контрастного полюса не получается: повествователь показывает, что и униженные герои не столь положительны. Уже такая ситуация является усложненным вариантом формулы: массовая литература любит контрасты, а не серый цвет. Отчасти мелодраматическая направленность (злодей обижает и разлучает влюбленную пару) и внезапно следующая за ней неопределенность погружают читателя в сюжет и замыкают в нем: проникнувшись сочувствием к крестьянам, реципиент сталкивается с тем, что и они могут быть жестоки. Морализаторский итог возвращает нас к началу и к обличению Трифона Семеновича. Повествователь не дает читателю полной свободы, чтобы тот сделал собственные выводы из прочитанного: нарратор на самом деле довольно категоричен в своих оценках. Он ловко обводит читателя вокруг пальца: остроумный газетный рассказик в финале превращается в неоднозначный текст, и читатель

уже не может судить о нем так, как это было в начале — наравне с автором/повествователем.

Таким образом, с помощью всех приведенных примеров мы пытались показать, что в случае с чеховскими ранними текстами, функционировавшими в среде массовой литературы, следует несколько переосмыслить понятия нарративности, сюжетности, событийности. Так как сюжеты юмористических миниатюр, небольших новелл и других подобных жанров строятся на удовлетворении читательского ожидания, можно сделать предположение, что главными фигурами в тексте являются повествователь и читатель, а главным сюжетом — не перипетии персонажей, но игра между повествователем и читателем. Это подтверждается тем фактом, что даже при отсутствии собственно истории, фабулы в тексте игровые отношения сохраняются и даже выходят на первый план. В тексте постоянно происходят колебания между фиктивным миром и реальностью читателя, и читатель вынужден следовать за каждым таким колебанием: ведь чтобы анекдот был смешным, нужно хотя бы на мгновение предположить, что такое случилось в привычном нам мире, он нужен как контрастный элемент.

Данное предположение пока существует в виде гипотезы: необходимо более детальное исследование, чтобы говорить об универсальности наших построений для чеховского раннего творчества или рассматривать эти особенности текстов как характерные для формульной литературы как феномена. Однако что касается именно произведений Чехова, мы считаем данную точку зрения перспективной ввиду того, что она помогает представить творчество писателя как единую систему — без исключения из нее «неперспективных», отвергнутых автором жанров. Кроме того, проявляющаяся уже в самых первых рассказах интенция повествователя оставить читателя в неопределенности, отказ от чистой оценочности хотя и в игровой форме позволяет наметить еще одну нить, которая могла бы связать два полюса вечного противопоставления: Антошу Чехонте и Антона Чехова.

Литература

- Сухих, 2007 — Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. Изд. 2-е, расшир. и доп. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007.
- Тимофеев, 2008 — Тимофеев В. Г. К определению понятия «массовая литература» // Вестник СПбГУ. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2008. Вып. 1. С. 15—20.
- Чехов, 1974—1983 — Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1974—1983.
- Чудаков, 1971 — Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971.
- Шмид, 2003 — Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Д. В. Панченко,

канд. ист. наук, Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет свободных искусств и наук (Россия)

Пленарный доклад, направление «История, теория и методика преподавания искусств и гуманитарных наук»

Троя и лабиринт

Лабиринт существует в двух основных ипостасях — как место действия мифа о Тесее, Минотавре и Ариадне и как определенного типа чертеж, графема. Граффито из Помпей удостоверяет их связь: классический, из семи обводов рисунок лабиринта сопровождается подписью: *Labyrinthus. His habitat Minotaurus* («Лабиринт. Здесь живет Минотавр»). Косвенным образом такое отождествление подтверждает тот факт, что монеты с изображением лабиринта чеканились в Кноссе — городе лабиринта.

Распространение мифа и графемы демонстрируют, однако, две совершенно разные картины. Миф о лабиринте известен только на греческом материале, тогда как графема засвидетельствована в греческом мире, во Фригии, Сирии, Марокко, Этрурии, Северной Италии, на северо-западе Пиренейского полуострова, на Британских островах, более всего — в виде выкладки из камней — в Швеции, а также других Скандинавских странах, Финляндии, Русском Севере, в Дагестане, Индии, Непале, Индонезии, на юго-западе Соединенных Штатов, в граничащем с ним мексиканском штате Сонора и, наконец, Бразилии; можно еще упомянуть лабиринты в средневековых церквях Франции и Скандинавии. В этот перечень не включены изображения, которые явным образом связаны с влиянием греческой культурной традиции, с мифом о Тесее и Минотавре¹.

Самое раннее датированное изображение лабиринта — табличка из Пилоса, происходящая из слоя непосредственно предшествующего разрушению пилосского дворца, что, по принятой хронологической схеме, произошло около 1200 г. до н. э. К той же эпохе относится лабиринт из Тель-Рифа'ата (в Сирии, к северу от Алеппо). Пилосский лабиринт прямоугольный, однако все прочие ранние лабиринты — в Испании, Британии, Италии, на острове Сардиния — круглые, и о некоторых из них есть веские основания думать, что они его старше. В Тель-Рифа'ате лабиринт тоже круглый. По-видимому, лабиринт из Пилоса являет собой раннее выражение той же тенденции, в силу которой в декоративном искусстве Европы, и в частности Греции, спирали были заменены меандрами.

¹ Наиболее важные собрания материалов о лабиринте: [Керн, 2007; Schuster, Carpenter, 1988].

В тесной ассоциации как с мифом, так и с чертежом стоит еще одно явление — определенная последовательность ритуальных движений, в подавляющем большинстве случаев в виде танца. Тесей и его спутники на возвратном пути сплясали на священном острове Делосе танец «журавль»; одно из традиционных именовании северных выкладок из камней — «девичьи танцы»; в позднем средневековье в соборе Осера, «в дедалии» (т. е. лабиринте), водили особый хоровод; Вергилий, описывая сложное встречное движение всадников — участников «тройских игр», сравнивает их с критским лабиринтом.

Сравнение, используемое Вергилием, подводит нас еще к одной ассоциации — с Троей. Соотнесение «тройских игр» с лабиринтом могла бы показаться случайным, если бы не то обстоятельство, что многочисленные лабиринты Швеции и Англии традиционно именуется «тройскими городами/крепостями». Предположение о влиянии в данном случае римских обычаев на север Европы выглядело бы экзотично уже в силу того, что в Швеции нога римлянина не ступала.

В таком случае следовало бы предположить, что связь между Троей и лабиринтом древняя, возможно — исконная. Такой вывод и был

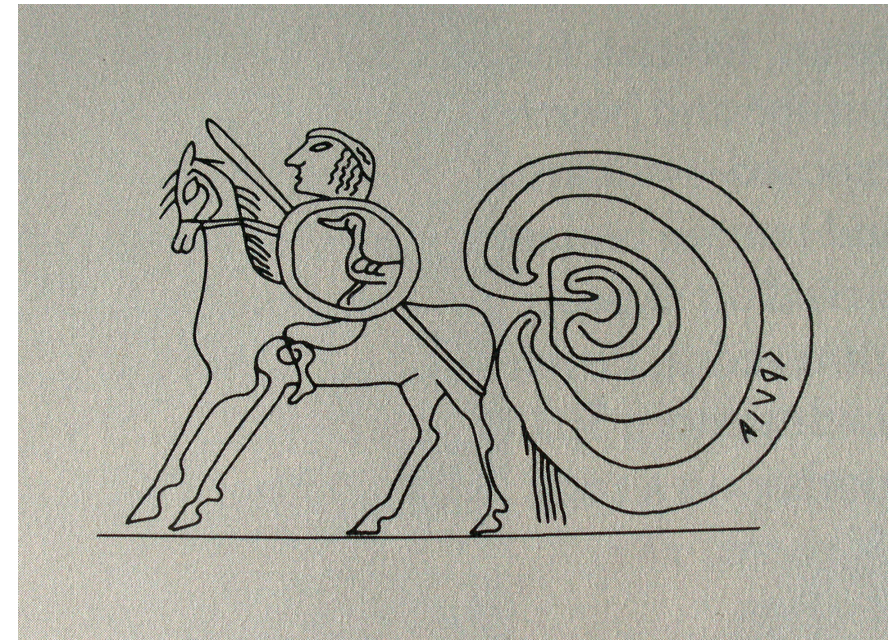


Рис. 1. Лабиринт на ойнохое из Тральятеллы

некогда сделан Эрнстом Краузе в его работе «Троянские крепости северной Европы» [Krause, 1893a]. Краузе привел ряд косвенных свидетельств и соображений в пользу подобного заключения. По его мнению, Троя изначально и есть лабиринт, хозяином которого является чудовище, похищающее деву-Солнце, которую затем освобождает отважный герой.

Когда Краузе отправлял свою книгу в печать, ему еще не была известна недавняя публикация находки из Тральятеллы: на этрусском винном сосуде, датируемом поздним VII в. до н. э., предстал классической формы лабиринт с надписью на нем «ТРУЯ» (рис. 1)! Можно представить себе энтузиазм ученого, чьи выводы, казалось бы, столь блестяще подтвердились (фонетические колебания *o* и *y* никакой трудности не представляют). Краузе тотчас выпустил в свет небольшую дополнительную монографию «Северное происхождение сказания о Трои» [Krause, 1893b].

Научный мир, в общем и целом, проигнорировал обе работы Краузе. Их автор, правда, обладал ученой степенью, но отнюдь не в историко-филологических науках, мода на солярную мифологию как раз подошла к концу, а несколько десятилетий спустя в хеттских документах обнаружили упоминание Вилусы (=Илиона), ее правителя Алаксандуса (=Александра, он же — Парис) и напоминающей Троию Труисы. Разбираться в «умозрительных» построениях Краузе стало не интересно. Правда, ученые, как Германн Керн, специально занимавшиеся историей лабиринтов, работы Краузе не забыли, но и они недооценили их значение. И только Ариэль Голан — знаток древней символики — недвусмысленно поддержал тезис Краузе. По формулировке Голана, «Троя — исконное название лабиринта и олицетворявшейся им крепости» [Голан, 1993, с. 130; см. также с. 126, 131]. Правда, новых существенных фактов и соображений в защиту этого тезиса Голан не привел, а с предложенной Краузе солярной интерпретацией мифа, скорее, не согласился. Я попытаюсь показать, что Краузе был близок к истине в обоих отношениях, для чего будут представлены дополнительные доводы сначала в пользу тесной связи между лабиринтом и Троей, а затем — в пользу отображения в схеме лабиринта фактов и представлений, относящихся к тому, что в течение суток и года происходит с солнцем.

В «Индии» хорезмийца Аль-Бируни, имеющей репутацию глубокой и достоверной книги (ок. 1045 г.), можно прочесть следующее о представлениях индийцев:

«...Ланка находится между двумя пределами обитаемого мира и не имеет долготы. Именно там укрепился демон Равана, когда он похитил жену Рамы, сына Дашараткхи. Его крепость с запутанным ходом, ведущим к ней, называется...1, а в наших странах она назы-

¹ В рукописи выражение, которое переводчики затрудняются перевести.

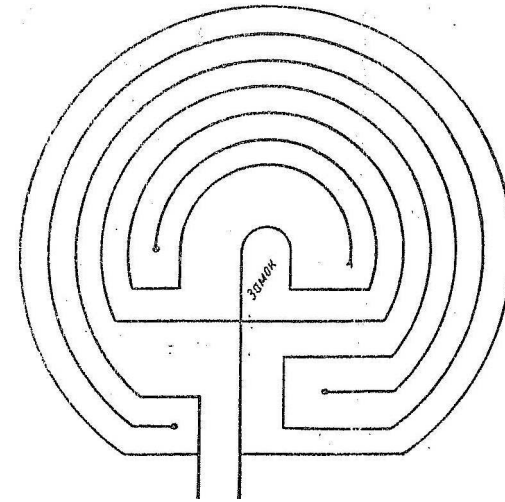


Рис. 2. Замок Раваны, по Аль-Бируни

вается Явана-коти и часть ее связывают с ар-Румом. Я имею в виду крепость с таким планом (рис. 2)... Из-за Ланки и острова Вадавамукхи индийцы считают южное направление приносящим зло» [Абу Рейхан Бируни, 1963, с. 159—160].

Итак, в тексте Аль-Бируни лабиринт ассоциируется, во-первых, с крепостью, а во-вторых — с похищением женщины. Что касается первого из этих мотивов, то сразу же приходят на ум «троянские крепости» Скандинавии и Англии. Более того, и в Дагестане лабиринт называют «крепостью Хайбар» [Голан, 1993, с. 125]. Таким образом, обнаруживается общий мотив для северо-западной Европы, Кавказа и Индии¹. При этом применительно к северо-западной Европе этот мотив соединен с Троей — укрепленным местом, где прячут похищенную женщину в греческой мифологии. Уделим теперь внимание похищенным женщинам.

Сюжет, упоминаемый Аль-Бируни, принадлежит знаменитой «Рамаяне». Между тем его сходство с сюжетом, лежащим в основе эпических произведений о Троянской войне, бросается в глаза. «Легенда о Троянской войне — это, по сути дела, та же история похищения жены, что и в „Рамаяне“. В роли Ситы выступает здесь Елена, в роли Рамы и его союзников — Менелай и остальные ахейцы, в роли Раваны — Парис, осаду Ланки замещает осада Трои» [Гринцер, 1971,

¹ При этом можно показать, что репертуар символических изображений Дагестана (их много собрано в книге Голана) весьма близок аналогичному репертуару Скандинавии бронзового века.

с. 172]. К сказанному следует добавить, что Рама осаждает столицу Раваны вместе со своим братом Лакшманой — как Менелай вместе с Агамемноном — и что Александр (=Парис), похитивший Елену и удерживающий ее в Трое, идентичен похитителю Ситы не только функционально, но и, можно сказать, по своему имени, ибо Равана — царь ракшасов, а греческое ἀλέξω (от которого имя 'Александр') идентично древнеиндийскому rákṣati ('защищать, охранять') [Frisk, 1960, 70].

Далее, Сита изначально явно богиня: «В „Ригведе“ (IV. 57. 1—2) под именем Ситы чтится богиня пашни... Сита „Рамаяны“ тоже появляется на свет из борозды на поле, вспаханном царем Джанакой (I. 66), а в заключение эпоса она вновь скрывается в земле, попадая в объятия своей матери — богини земли» [Гринцер, 1971, с. 171—172]. Но и Елена была богиней¹, причем, по-видимому, связанной (как и Сита) с плодородием. И если в «ведийской литературе мужем Ситы почитался бог дождя и грома Индра-Парджанья» [Гринцер, 1971, с. 172], а Елена — лишь дочь громовержца Зевса, то здесь опять-таки больше сходства, нежели различия. Из всего сказанного для нас наиболее существенным является то, что Елена (как и Сита) изначально персонаж мифа, а не эпического предания². Между тем имеются основания думать, что и Парис = Александр изначально принадлежал мифу [Шауб, 2008, с. 84—94]. По реконструируемому мифу, Александр (ракшас Равана) держит в плену Елену (Ситу). В одном варианте мифа местом плена является Троя, в другом — лабиринт. Функционально они тождественны. Таким образом, мы получаем еще одну ассоциацию между Троей и лабиринтом, и ее уж точно никаким предполагаемым римским влиянием не объяснить.

Но как же быть с Алаксандусом и Труисой, а также другими разнообразными признаками того, что в «Илиаде» отразились исторические события? Прежде всего следует подчеркнуть, что этот вопрос возникает в любом случае, безотносительно к проблематике соотношения лабиринта и Трои. Как, например, соединить исторические факты с судом Париса? Очевидно, в силу каких-то причин мифическая основа была переработана в исторически окрашенное эпическое повествование. В частности, можно думать, что дело в случайном парном созвучии Трои и Александра, фигурировавших в мифе, с Труисой и Алаксандусом. Хеттские тексты упоминают Алаксандуса, царя Вилусы (=Илиона). Где-то недалеко от Вилусы хеттские тексты помещают область, именуемую «Труиса». Вероятно, произошло приблизительно следующее. Ахейцы принимали участие в военных действиях против Алаксандуса Вилусийского (=Илионского), власть

¹ По крайней мере, она была богиней в Спарте [Burkert, 1985, p. 205].

² В пользу такого заключения говорит и тот факт, что в мифологии с Еленой связан еще один сюжет, аналогичный ее похищению Александром. Елену похищают Тесей и Пирифой, а выручают ее братья-близнецы (Диоскуры). В Трое к ней на выручку тоже идут братья (хотя и не близнецы и не братья самой Елены).

которого, по-видимому, распространялась на Труису. Алаксандус, повелитель Труисы, был воспринят как Александр Троянский. Александр Троянский был связан в мифе с Еленой, которую он держит в крепости — Трое, и от этой крепости, в соответствии со своим именем, «отражает мужей». Через отождествление Алаксандуса с Александром (многие лингвисты считают, что это одно и то же имя) предание о реальной войне с Алаксандусом и Илионом соединилось — в порядке объяснения причин возникшей войны — с мифом об Александре, похитившем Елену.

Так или иначе, мифические корни сюжета о пленении Елены в Трое выглядят очевидными, а параллелизм образов Елены и Ситы — тем более, тогда как ассоциация между Троей и лабиринтом выступает в Этрурии, Риме и на северо-западе Европы, где к тому же лабиринт связывается с нахождением в нем женщины.

Чем заканчиваются обе истории о похищении? Восстановлением отношений супружества. Сходным образом и Тесей покидает Кносс вместе с Ариадной, которую, правда, для брака он уступает великому богу Дионису. Северные «троянские города/крепости» именовались также «девичьими танцами». Я не имел возможности проверить справедливость утверждения Германна Керна, будто «во время такого танца девушка скрывается в лабиринте, где мужчина настигает ее и овладевает ею» [Керн, 2007, с. 22], но, во всяком случае, Керн приводит выразительный текст из датской азбуки, сопровождающий изображение лабиринта: «Много, много, много длинных, длинных, длинных петляющих дорожек ведут к принцессе. Если ты ее найдешь, то женишься на ней» [Керн, 2007, с. 346]. Принцесса показана в самой глубине, в центре лабиринта (в замке, по терминологии рисунка, приведенного Аль-Бируни). Женщина изображена в центре лабиринта и на фресках Швеции и Финляндии [Керн, 2007, с. 348, илл. 598 и 601]. Среди изображений на ойнохое из Тральятеллы (где лабиринт маркирован словом «Труя») есть откровенно сексуальная сцена.

Троя скандинавской традиции и Ланка (где лабиринт) имеют специфическую общую характеристику. По изложению Аль-Бируни, Ланка находится на одинаковом удалении от восточных и западных пределов мира, и, по словам Снорри Стурлусона, Троя находится «вблизи середины земли» [Младшая Эдда, 2006, с. 10]. Можно было бы сказать, что такая локализация Трои попросту отражает одну из традиций в географических представлениях, однако имеется характерная аналогия: некоторые лабиринты на севере Франции обозначались как путь в Иерусалим [Керн, 2007, с. 176], тогда как Иерусалим в средневековой географии и картографии еще прочнее занимал центр земли, чем область проливов, разделяющих Европу и Азию.

Еще одно сообщение указывает на родство Трои и лабиринта. Оно приходит с несколько неожиданной стороны. Страбон, в раз-

деле «Географии», посвященной Египту, замечает между прочим следующее:

«Неподалеку от каменоломен, из камней которых построены пирамиды, на другой стороне реки, в виду пирамид, в Аравии находится весьма скалистая гора под названием „Троянская“; у подошвы этой горы находятся пещеры и селение, называемое Троей (вблизи этих пещер); это древнее поселение троянских пленников, которые сопровождали Менелая, но осели там» (XVII, 1, с. 34; пер. Г. А. Стратановского).

О пребывании Менелая в Египте говорится в «Одиссее», поэтому понятно, что троянские пленники Менелая были придуманы какими-то греками ради объяснения удивительного топонима, однако саму Троянскую гору упоминают и некоторые другие авторы, в частности — Птолемей (*Geogr.*, IV, 5, 12). **Германн Кеес в энциклопедии Паули-Виссова** предлагает следующее разъяснение: известное с Древнего Царства название каменоломни означает «длинное жерло»; ставший обычным со времен Нового Царства вариант «земля длинного жерла» (так в *Par. Harris I 37b, 3b*) звучал приблизительно как *Teróa*, что было услышано греками как Троя [Kees, 1939].

Созвучие, конечно, является интригующим, но что касается *Par. Harris I*, то этот текст был составлен после нападений на Египет «народов моря», когда страна была наводнена наемниками европейского происхождения [Панченко, 2012а, с. 90—99]; впрочем, если сходное по звучанию название каменоломни засвидетельствовано уже для Древнего Царства, то присутствие европейских наемников не имеет значения. Так или иначе, убедительная на первый взгляд идея Кееса вызывает большие сомнения. Для греков Троя была городом, и у них не было причин называть «Троянской» гору. Если же принять связь Трои с лабиринтом, то все становится понятным: вырубленные в горе пещеры с длинными и запутанными переходами (как это бывает в каменоломнях) походили на лабиринт, и потому греки то ли так назвали гору, то ли соответствующим образом услышали местное имя. Существенно, что ассоциация между лабиринтами и пещерами надежно засвидетельствована в традиции. Тот же Страбон в описании Арголиды замечает: «Непосредственно после Навплия идут пещеры с устроенными в них лабиринтами, которые называются Киклоповыми» (VIII, 6, 2). В поздней античности критский лабиринт локализовали в гортинской пещере — очевидно, на месте каменоломни [Керн, 2007, с. 39—40]. Традиция отождествления лабиринта с пещерой представлена у византийских лексикографов [Андреев, 2002, с. 498].

Идея, согласно которой схема лабиринта каким-то образом символизирует движение солнца (ее держались и Краузе, и другие ученые), по-видимому, также является верной. Классическая схема лабиринта состоит из семи обводов. Недавно нами было показано, что в раннюю эпоху число семь — это число солнца, в особенности характеризующее

движение светила от летнего солнцестояния к зимнему и соответственно — смену времен года [Panchenko, 2006]. Далее, движение дорожки к центру лабиринта строится так, что ее направление регулярно меняется на противоположное. В этом можно усмотреть отражение представления, которое реконструируется для второй половины II тыс. до н. э. на основании сопоставления археологических памятников, происходящих из Дании, и текстов, сохранившихся на санскрите [West, 2007, 209 f.; Панченко, 2012б, с. 29—31]. А именно предполагалось, что солнце — это диск, у которого одна сторона светлая, а другая — темная. Ночь наступает оттого, что солнце, достигнув западных пределов своего пути, поворачивается к нам темной стороной и движется обратно — к востоку; достигнув восточных пределов, оно вновь разворачивается и снова движется к западу. Отсюда постоянное изменение движения на противоположное. В сочетании семь обводов и перемена движения символически отображают совокупный суточный и годовой путь солнца.

Отметим, наконец, согласие двух линий нашей интерпретации. В соответствии с предложенным истолкованием важнейших мотивов схемы лабиринта, самая короткая дуга должна обозначать траекторию солнца в пору зимнего солнцестояния. Эта дуга примыкает к центру лабиринта. Есть все основания считать, что пленница находится в самой удаленной части лабиринта, в его центре. Для обитателей Северного полушария солнце описывает свою самую короткую дугу, когда оно (в пору зимнего солнцестояния) южнее, чем когда-либо, восходит и заходит над горизонтом. Следовательно, хозяин лабиринта и его пленница должны быть на крайнем юге. Равана прячет Ситу на острове Ланка. Между тем «эпос недвусмысленно указывает, что Ланка находится на юге» [Гринцер, 1971, с. 166], об этом же говорит и Аль-Бируни. Да и Крит (имеет ли это значение или нет) — самый южный из греческих (и вообще европейских) островов.

Вместе с тем завершим нашу работу оговорками. Путь по лабиринту лишь отчасти строится в соответствии с нарастанием или убыванием обводов, он оказывается сложным и запутанным, хотя и единственно возможным. Для иллюстрации совокупного суточного и годового движения солнца этого не нужно — здесь какая-то особая, дополнительная идея. И если удастся показать, что ассоциация между Троей и лабиринтом существенная и ранняя, отсюда все же не обязательно следует, что они связаны между собой изначально. Всесторонняя интерпретация лабиринта (как и мифа о Трое) требует, разумеется, дальнейших изысканий.

Литература

- Абу Рейхан Бируни, 1963 — *Бируни Абу Рейхан*. Избранные произведения. Т. II / Пер. А. Б. Халидова и Ю. А. Завадского. Ташкент, 1963.
Андреев, 2002 — *Андреев Ю. В.* От Евразии к Европе. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.

- Голан, 1993 — Голан А. Миф и символ. М.: Руслит, 1993.
- Гринцер, 1971 — Гринцер П. А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971. С. 134–205.
- Керн, 2007 — Керн Г. Лабиринты мира. СПб.: Азбука-классика, 2007.
- Младшая Эдда, 2006 — Младшая Эдда / Пер. О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблина-Каменского. СПб.: Наука, 2006 (репринт издания 1970 г.).
- Панченко, 2012а — Панченко Д. В. Викинги бронзового века и их наследие (к постановке вопроса) // *Stratum plus*. 2012. № 2. С. 79–143.
- Панченко 2012б — Панченко Д. В. Три этюда о гомеровской космографии, географии и навигации (Od. X. 507; III. 318–322; XIII. 28–30) // *Аристей*. 2012. V. С. 27–51.
- Шауб, 2008 — Шауб И. Ю. Италия-Скифия: культурно-исторические параллели. СПб., 2008.
- Burkert, 1985 — Burkert W. Greek Religion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
- Kees, 1939 — Kees H. Τρωϊὸν ὄρος // RE 2. Reihe, 13. Hb., 601 f. 1939.
- Krause, 1893a — Krause E. Die Trojaburgen Nordeuropas. Glogau, 1893.
- Krause, 1893b — Krause E. Die nordische Herkunft der Trojasage. Glogau, 1893.
- Panchenko, 2006 — Panchenko D. Solar Light and the Symbolism of the Number Seven // *Hyperboreus* 12, 21–36, 2006.
- Schuster, Carpenter, 1988 — Schuster C., Carpenter E. Materials for the Study of Social Symbolism in Ancient and Tribal Art. Vol. 3, Book 2. New York: Rock Foundation, 1988.
- West, 2007 — West M. L. Indo-European Poetry and Myth. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Е. Р. Пономарев,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (Россия)

Секция «Динамика русского литературного процесса XIX в.»

Г. А. Гуковский и советское идеологическое литературоведение

Советское идеологическое литературоведение — особая форма русской литературной критики XX в., в том расширительном значении критики, которого придерживаются Е. Добренко и Г. Тиханов в подготовленном ими томе «История русской критики: Советская и постсоветская эпохи» [Добренко, Тиханов, 2011]. Настоящая статья может быть рассмотрена как заполнение одной из лакун, оставленных в этом издании, — лакуны тем более досадной, что, на наш взгляд, именно Г. А. Гуковский (упоминаемый в томе лишь трижды — в связи с разгромом советской филологической науки в конце 1940-х гг.) стал одной из ключевых фигур русской критики XX в., придав идеологическим марксистским штудиям в области литературы историко-литературный базис и научный шарм. Монографии Гуковского 1930-х

гг. (к сожалению, вовсе не упомянутые в томе) и намеченная ими перспектива сформировали мощную традицию научно-идеологического литературоведения; в ее рамках на протяжении десятилетий работали целые кафедры и научно-исследовательские институты — советский литературоведческий «мэйнстрим», с позиций которого и Бахтин, и Лотман, и многие другие казались маргинальными фигурами.

Если рассматривать критические теории как реакции на новые процессы в искусстве (например, русский формализм — как литературоведческую параллель символизму, акмеизму, футуризму), то советское идеологическое литературоведение следует соотнести с такими понятиями, как «соцреализм» или появившееся на десятилетие раньше «советская литература». Оба эти понятия напрямую связывают литературное творчество с задачами пропаганды, благодаря чему литературное поле сдвигается на границу искусства и идеологии. Если соцреалистическая литература — это взаимодействие литературы и пропаганды, то советское идеологическое литературоведение являет собой тесное переплетение филологической науки с пропагандой. И в том и в другом случае пропаганда паразитирует на живом теле литературы/гуманитарного знания, и задачей теоретика становится, во-первых, адаптация паразита, во-вторых, создание такой системы, в которой паразитирующая идеология не убивала бы своего филологического хозяина. С этой эпохальной задачей блестяще справился Г. А. Гуковский.

В ситуации середины 1930-х гг., когда литература становилась одной из главных дисциплин, осуществлявших идеологическое воспитание советского гражданина (основной идеологической дисциплиной советской школы), требовалась общая концепция истории мировой литературы, разработанная на материале русской и отвечающая следующим условиям:

- 1) быть единой, стержневой, т. е. включать в себя всю мировую литературу;
- 2) быть или казаться марксистской;
- 3) быть гибкой, иметь неограниченные возможности для трансформаций, чтобы соответствовать изгибам генеральной линии;
- 4) иметь удобные пазы для включения любых новых идеологических концептов.

Первую попытку создать стержневую литературную теорию предприняла «вульгарная социология», исходившая из экономической подоплеки исторического развития (библией такого подхода была написанная еще до революции «Русская история» М. Н. Покровского). Стержнем теории стал принцип классовых интересов: литература — часть идеологической надстройки, писатель — рупор того или иного класса. Радищев в рамках этой концепции оказывался буржуазным теоретиком, Пушкин — рупором либерального дворянства,

Гоголь — дворянства патриархального¹. Теории недоставало гибкости, она была обречена. Идеология писателя почти целиком определялась его происхождением. Лишь избранным писателям (по факту только Н. А. Некрасову и Л. Н. Толстому) приписывался «переход на позиции другого класса» (схему перехода задавали статьи Ленина о Толстом). Включить сюда других было практически невозможно. Кроме того, каждый писатель однозначно оценивался с высоты марксистского сознания (во избежание однозначности вводилась категория «идейные колебания писателя», которую стали применять к месту и не к месту — чтобы хоть как-то разнообразить историю литературы), что совершенно не позволяло воспринимать его как властителя дум, образец, идеал. Иными словами, теория противоречила идее писательского пантеона, созданием которого занялся Агитпроп ЦК в 1930-е гг.

В этот момент, как нельзя кстати, и появилась «стадиальная теория» Гуковского. Вобрав в себя — с некоторым смещением акцентов — основной пафос «вульгарной социологии» (литература как отражение политической/идеологической борьбы), она обогатила социологический подход скрупулезным анализом текста, отсылающим к «формализму» (отказавшись от основных идей формализма, стадиальная теория заимствовала весь аппарат формалистской «поэтики»). К этому добавилась старая добрая традиция критики XIX в., восходящая к «измам» В. Г. Белинского, которые и дали «стадиальной теории» названия «стадий». Внутренняя суть теории комбинировала марксистскую идею общественно-экономических формаций со спецификой литературного творчества: формации влияли и на идеи, и на стиль. Но при этом в фокусе исследований оказывались именно стиль и производные от него идеи, а формации оставались вне литературы, влияя на нее крайне опосредованно. В сравнении с социологическим литературоведением это был существенный сдвиг, возвращавший литературе собственную значимость.

Движущей силой литературного развития по-прежнему была общественно-политическая борьба: «Литература XVIII века, и в частности дворянская литература (сохранилась еще научная фразеология вульгарной социологии. — Е. П.), теснейшим образом связана с политической жизнью своей эпохи, с конкретными фактами политической борьбы и внутри дворянства и вне его» [Гуковский, 1936а, с. 1]. Однако для усиления динамики Гуковский сфокусировал внимание не на борьбе классов и общественных слоев, а на борьбе внутри одного — «литературного», формирующего общественное мнение — класса. XVIII в. стал удобным полигоном для отработки

¹ Арматура «вульгарно-социологического» проекта хорошо просматривается в первом школьном учебнике по литературе, созданном в середине 1930-х гг. Подробнее см. [Пономарев, 2004].

методологии. Часто говорили, что Гуковский открыл академической науке XVIII в. Стоит заглянуть в дореволюционный гимназический учебник по литературе [Сиповский, 1915], чтобы понять, что русская литература XVIII в. была хорошо известна и этому поколению литературоведов, и их читателям. Новаторство Гуковского в другом: он ввел в обширный и хорошо известный материал общественно-политический стержень, оживив и осовременив перипетии литературной борьбы XVIII столетия.

Первая монография Гуковского, формулировавшая «стадиальную теорию», называлась «Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов» [1936б]. Слово «фронда» несет главную идеологическую функцию. Заимствованный из дореволюционной истории Франции, но напоминающий о революционных волнениях термин, с одной стороны, находится в русле восприятия Французской революции как революционного инварианта, с другой — относит исследователя в глубь времен и транспонирует события французской истории на историю русскую. Таким образом, во-первых, формируется представление о единстве мировой истории/литературы, проходящей раньше или позже определенные этапы развития. Во-вторых, русский XVIII в. становится едва ли не предреволюционным, похожим на вторую половину XIX, история которой была уже фактически написана благодаря революционной мифологии.

Классицизм соответствовал одной общественно-экономической формации, реализм — другой, между ними занимал неопределенную позицию романтизм. Впрочем, прямое соответствие «измов» экономическим формациям было изначально снято Гуковским как малопродуктивное и неисторическое. Общественно-экономические формации просматривались лишь вдаль на горизонте. Еще большее ослабление изначальной связи между литературными эпохами и формациями принесло дробление «измов» на менее продолжительные этапы: так, период фронды оказывался одним из этапов эпохи классицизма (о следующем этапе Гуковский напишет следующую монографию), реализм Пушкина и реализм Гоголя — два разных реализма и т. д.

Внутри каждой эпохи выделялись «прогрессивная» и «реакционная» партии, которые боролись между собой. В свете «стадиальной» перспективы можно было считать, что «прогрессивные» писатели и поэты в конечном счете решали те проблемы, которые были исторически необходимы для приближения пролетарской революции. Так, с одной стороны, они объективно становились в один ряд с декабристами, с другой же — могли, наряду с тем, многого не понимать. Например: «Реакционер в своих политических взглядах, Державин был все же передовым поэтом...» [Гуковский, 1936а, с. 5]. Жесткий термин «идеология» (обязательный у «вульгарных

социологов») все чаще меняется в текстах Гуковского на более расплывчатое «мировоззрение», как бы примиряющее личную силу и классовую слабость поэта.

Писатель (поэт) сохранил функцию идеолога, но выступал теперь не от имени класса, а как представитель небольшой политической группы. Поначалу рядом с писателем (как комиссар рядом с героем соцреалистического романа) обязательно стоял вождь политический. В качестве политического вождя фронды в первой монографии и тезиса докторской диссертации появляется Никита Панин, который поддерживает и Сумарокова, и Фонвизина. Но уже во второй монографии «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» [Гуковский, 1938] фигура политического вождя оказывается ненужной, его функции передаются вождю литературному. Таким супервождем-революционером станет А. Н. Радищев (революционные свойства поэтики, революционное горение души и политическая революционность образуют здесь единую смесь; Гуковский любит пользоваться такими широкими определениями): «Радищев был революционером в искусстве, как и в идеологии вообще» [Гуковский, 1936а, с. 5]. Первый супервождь описывается строго в русле вождистского канона соцреализма: «Радищев знал все, что только мог знать любой мыслитель Запада — от новейших открытий в области физики, естественных наук до новейших поэтических достижений всех европейских культур, от политической экономии до теории стиха. <...> Рядом с культурой Радищева — какой провинциальной ограниченностью веет от всей книжности Карамзина...» [Гуковский, 1938, с. 16]. Именно супервождь, у которого — в отличие от прогрессивного писателя — просто не может быть никаких слабостей, создает новое литературное «направление», «стиль», «творческий метод», представляющий собой успешную реализацию категории «мировоззрение»: «Радищев окончательно разбивает отвлеченные схемы русского дворянского классицизма во имя индивидуализма и создает почву для построения психологического реализма» [Гуковский, 1936а, с. 6].

Следующим за Радищевым супервождем будет Пушкин, и движение от XVIII к XIX в. описывается как переход от одной фигуры к другой. Проблемы стиля напрямую связаны с личностью его разработчика, историческое развитие понимается в духе революционной мифологии — как «подготовка почвы» для следующего этапа. Переход на позиции другого класса заменяется переходом к другому стилю-мировоззрению. Внезапность — постепенно подготовляемым качественным скачком. Так, Пушкин долго «накапливает материалы» «для будущего перехода... на позиции реализма...» [Гуковский, 1995, с. 197].

Революционный нимб для Пушкина создается с некоторым усилием. Сначала пушкинский революционный романтизм борется с реакционным, буржуазным романтизмом (два борющихся между со-

бой направления внутри одного стиля — схема, выросшая из идеи о двух борющихся общественных группах внутри одного класса; Гуковский находит в русской литературе и два сентиментализма, и два романтизма). Преодолев буржуазный реализм (особенно ярко это преодоление иллюстрирует «Скупой рыцарь»), Пушкин становится создателем реализма, обретая при этом классовое мышление. Создатель реализма, разумеется, не может не иметь самой верной на тот момент идеологической позиции: «Это движение Пушкина через романтизм к построению — впервые в полной и законченности в истории мировой литературы — реалистического метода искусства было глубочайшим образом обосновано связью поэта с самым передовым общественно-политическим движением его эпохи. <...> Всем своим существом, всем характером своего мироощущения он был человеком декабристского исторического склада. И как поэт — он был поэтом-декабристом» [Гуковский, 1957, с. 6]. Неубедительное, риторического свойства словосочетание через две страницы трансформируется: «Он был поэтом декабризма, и он повел русскую мысль вперед — по пути к Герцену...» [Гуковский, 1957, с. 8]. «Поэт декабризма» — это нечто иное, чем «поэт-декабрист». Пушкин, таким образом, становится над схваткой, получает роль идейного вдохновителя и — самый важный семантический сдвиг — превращается в великого мыслителя, которому глубина понимания жизни не позволяет участвовать в непосредственной борьбе. Пушкин преодолел декабризм так же, как романтизм, нутром ощутив ограниченность этого движения — дворянского по составу участников и буржуазно-демократического по содержанию. Пушкин противопоставил декабристам более сложную систему идей, «выдвинув идеи демократической народности» [Гуковский, 1957, с. 8], которую и развивал от «Бориса Годунова» до «Капитанской дочки» (читай: на протяжении всего реалистического творчества). Народность — понятие знаковое. Им широко пользуется традиция так называемой демократической критики XIX в. (Белинский — Чернышевский, Добролюбов — Михайловский). Пушкин, наследуя достижения Радищева, оказывается предшественником всей демократической мысли в России. Почти не встречаясь в советской печати 1920-х гг., понятие «народность» возрождается в середине 1930-х, маркируя переход советской идеологии от классового начала к имперской идее [Гюнтер, 2000, с. 377]. Гуковский использует понятие «народность» для органического перехода от пушкинской эпохи к эпохе гоголевской.

Движение от Пушкина к Гоголю и к тем, кто «вышел из „Шинели“», очень похоже на движение от Радищева к Пушкину. Сначала одиноко высится гений Пушкин, затем вокруг него появляется несколько сподвижников, к 1840-м гг. реализм становится массовым. Это и есть история литературы в действии, история стиля. «В 1830-е годы реализм — это все еще только направление движения, тенденция развития, смысл исканий нескольких великих людей, строящих

будущее в литературе. Конечно, эти великие люди не оторваны от почвы и от окружения» [Гуковский, 1959, с. 15]. «Пройдет несколько лет, и в литературу вступит определившийся коллектив литераторов — „натуральная школа“, явно демонстрирующая принцип реализма и коллективизма в самой организации литературной жизни...» [Гуковский, 1959, с. 14]. Впрочем, в последней монографии ученого идеологический стержень выявляется не столь четко. Возможно, сказался переходный характер эпохи: идеологические эксперименты Жданова, выстраивание нового патриотического дискурса лишили построения Гуковского былой уверенности и блеска.

По-видимому, ученый предполагал создать многоступенчатую классификацию реализма, учитывающую особенности авторских стилей (эти «особенности» занимают важнейшее место во всех его книгах; тончайшие анализы многих текстов, выполненные Гуковским, не потеряли актуальности до сего дня). Радищев, по мнению исследователя, подошел к «психологическому реализму» [Гуковский, 1936а, с. 6]; реализм Пушкина четко делился на два этапа: 1820-е гг., «исторический реализм» — и 1830-е гг., «социальный реализм» [Гуковский, 1957, с. 131]. Далее появляется «критический реализм» [Гуковский, 1957, с. 358], характерный для школы Гоголя — несущий в себе отрицание общественного строя, современного писателю. Задана перспектива его развития: творчество Пушкина 1830-х гг. «указывало направление движения и к Герцену, и к Тургеневу, и через их голову к Толстому» [Гуковский, 1957, с. 325]. В конце выстроенной перспективы уже угадывается социалистический реализм, к которому ученый несколько раз совершает виртуозные проходы, стремительно возвращаясь к Пушкину. Например, в вопросе о моральной оценке персонажа: «Пройдя через социальный анализ критического реализма и сохранив этот анализ, объединив в диалектическом единстве героя и среду, новейшая литература вновь обрела оценку не только среды, но и героев, уже не только обусловленных этой средой, а несущих ее в самих себе» [Гуковский, 1957, с. 362].

«Стадиальная теория» оказалась руководством к действию для нескольких поколений советских литературоведов и полувека развития официального идеологического литературоведения. Ее глобальность (любой литературный факт всегда мог получить место на огромной шкале поступательного движения от древнего фольклора к современному соцреализму) не мешала, а, напротив, способствовала ее исключительной гибкости. Первую существенную модификацию «стадиальная теория» испытала в конце 1940-х — начале 1950-х в рамках серии кампаний по выработке ультрапатриотической идеологии (в одной из которых погиб сам Гуковский). Литературные вожди, создающие новые «измы», перекалывались в пламенных революционеров и патриотов (между этими двумя понятиями был поставлен знак равенства), пропагандирующих патриотические

ценности (к которым добавился и открытый в России «реализм»). «Стадиальность» при этом удачно взаимодействовала с ленинскими «тремя этапами русского освободительного движения», которые теперь стали определять историко-литературные периоды. Следующий поворот произошел в эпоху оттепели, когда «реализм» стал самоценным — в параллель новой идеологической кампании в современной литературе, провозгласившей «верность жизни» главным критерием оценки литературного произведения. «Реализм» начал распространяться по всей стадиальной шкале, захватывая все новые территории. Если Гуковский нашел «психологический реализм» у Радищева, то его ученики (прежде всего Г. П. Макогоненко) продолжили поиск реализма у Новикова и Фонвизина, а затем реалистические черты стали обнаруживаться и в древнерусской литературе, вплоть до идеологически маркированного «Слова о полку Игореве». Академические дискуссии 1970-х гг., в которых утверждалась возможность многолетнего сосуществования в XIX в. реализма и романтизма (параллельные «оправданию» модернистского искусства литературной критикой), проходили в рамках трансформированной, но сохраняющей «стадиальной» канвы. Модификации «стадиальной теории» требуют специального рассмотрения. Но не подлежит сомнению, что Г. А. Гуковский создал самый впечатляющий проект во всей русской критике XX столетия.

Литература

Гуковский, 1936а — Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII века (Тезисы диссертации на степень доктора литературоведения) [Л.: Изд. АН СССР, 1936].

Гуковский, 1936б — Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936.

Гуковский, 1938 — Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л.: ГИХЛ, 1938.

Гуковский, 1957 — Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957.

Гуковский, 1959 — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.

Гуковский, 1995 — Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Изд. 3-е. М.: Интрада, 1995.

Гюнтер, 2000 — Гюнтер Х. Тоталитарная народность и ее истоки // Соцреалистический канон. СПб.: Акад. проект, 2000. С. 377—389.

Добренко, Тиханов, 2011 — История русской литературной критики: Советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М.: НЛО, 2011.

Пономарев, 2004 — Пономарев Е. Р. Созидание советского учебника по литературе: От М. Н. Покровского к Г. А. Гуковскому // Вопросы литературы. 2004. № 4. С. 39—77.

Сиповский, 1915 — Сиповский В. В. История русской словесности. Ч. 2: (История литературы с эпохи Петра В. до Пушкина). Изд. 6-е. Пг: Башмаков и К., 1915.

С. В. Рябушкина,

канд. филол. наук, Ульяновский государственный университет (Россия)

Секция «Стилистика: динамические явления в современном русском языке и художественных текстах»

Склонение русских числительных: норма и узус

Наблюдения за функционированием имен числительных (далее — ИЧ) в современной речи показывают: нет другой части речи, в которой разрыв между литературной нормой и узусом был бы столь велик. Этот разрыв стал особенно заметен на рубеже XX—XXI вв. — «в связи с возникновением свободного политического дискурса» [Гловинская, 2008, с. 265], с распространением передач «в прямом эфире», с появлением спонтанной электронной коммуникации (форумов и блогов Интернета). И хотя нарушения норм склонения сложных и составных ИЧ (у простых девиантные формы довольно редки) многочисленны, они не осознаются большинством носителей языка как неправильности: отмечая зону грамматической нестабильности, узуальные формы оказываются диагностическими ошибками — демонстрируют тенденции развития языка. Как, например, такие отступления от нормы в речи людей, чья профессия, род занятий предполагают высокую языковую компетентность:

Бобры нашли сумку с семидесятью тысячью долларов (Д. Захаров. — Их нравы. НТВ. 28.10.06); *Прежний рекорд был установлен, когда композицию исполнили около тысячи семьсот... тысячи семисот гитаристов* (Е. Андреева. — Время. Первый т/к. 25.06.07); *Президент Аргентины Керсни тратит на наряды в год порядка пятьсот пятидесяти тысяч долларов* (А. Норкин. — Утро на Пятном. 27.02.09); *Свиной грипп выявлен в восьмисот... в восьмистах шестидесяти семи случаях в нашей стране* (М. Генделев. — Утро на Пятном. 20.10.09); *На строительство дорог была выделена сумма в размере шестьсот пятидесяти миллионов рублей* (А. Пушкин. — Постскриптум. ТВ Центр. 10.07.10); *Количество фирм, потерпевших крах, приближается к четырехстам* (С. Кургинян. — Суд времени. Пятый т/к. 08.11.10); *Можно получить доход от пятиста до тысячи рублей* (Н. Стрижак. — Открытая студия. Пятый т/к. 17.11.10); *Из чудесного здания с четырехсот двадцатью портретами Ленина и четырьмя сломанными стульями мы сделали ВГТРК* (А. Г. Лысенко. — Линия жизни. Т/к «Россия-К». 13.04.12); *Такие люди есть в двухсот известных странах* (А. Хабургаев. — Субкультура. Радио России. 17.04.12); *Для рядового участника штраф возрастет до миллиона рублей, для организаторов — до полтора миллиона* (Ф. Курбангалеева. — Вести. Т/к «Россия-1». 22.05.12); *Шестьдесят процентов от восьмиста тысяч учеников — это как раз и есть эти четыреста пятьдесят тысяч мест в вузах* (П. Положевец, главный редактор «Учительской

газеты». — Открытая студия. Пятый т/к. 27.06.12); *Только на Земле Франца-Иосифа, многие из вас, наверное, знают, скопилось более пятьсот тысяч бочек с различными горюче-смазочными материалами, многие из которых уже протекают, прохудились, проржавели и так далее, — я сам видел это своими глазами* (В. В. Путин. — Встреча с участниками экологической экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа. 30.07.12. <http://president.kremlin.ru/news/16082>).

Регулярность расхождений «между желаемым и действительным», вариативность оформления падежей у ИЧ отмечалась на протяжении всего XX в. Но, несмотря на интерес русистики к «отрицательному материалу» и активным языковым процессам, работ, анализирующих современные тенденции в склонении числительных, сравнительно немного. Перечислим некоторые из выводов, сделанных исследователями.

В. В. Виноградов в 1947 г. пишет о «тенденции к обобщению и унификации форм косвенных падежей», обусловленной как сложившимся в системе ИЧ противопоставлением прямых и косвенных падежей, так и «множественностью и раздробленностью типов словоизменения» [Виноградов, 1986, с. 250, 255].

А. Е. Супрун, рассматривая эволюцию славянских ИЧ, указывает на «факты внутрисистемной индукции одних падежей на другие» и стремление «к унификации, к выработке меньшего по сравнению с исходным числа парадигм, к выработке общих черт в склонении числительных, ранее склонявшихся по-разному» [Супрун, 1969, с. 37, 139].

И. А. Мельчук отмечает употребление «неизменяемых» (оформленных номинативно — *с шестьсот двадцать три рубля*) и «частично неизменяемых» (оформленных генитивно — *с двухсот сорока дивизиями*) компонентов в косвенных падежах составного ИЧ, особенно в устной речи, и выявляет ряд факторов, способствующих этому [Мельчук, 1985, с. 406—411]. Причем распространенные «смешанные» формы сложных ИЧ типа *пятидесятью, двухстам, четырехстами* «свидетельствуют, как кажется, что форма родительного падежа у не-первых компонентов сложных или составных имен числа все более воспринимается говорящими как универсальная форма всех косвенных падежей» [Мельчук, 1985, с. 411].

Л. Н. Дровникова констатирует постепенное «развитие падежного синкретизма» — формирование «общего косвенного падежа», «совпадение всех косвенных падежей» с формой родительного (*вручены семисот одному рабочему; с двухсот сорок одним пассажиром и командой; на девяносто рамах; на двухсот пятидесяти двух нефтяных скважинах*): «В этой парадигме — бинарное противопоставление „прямой падеж — общий косвенный“, т. е. та же синкретическая система, что и в числительных типа „сорок“, в которых падежный синкретизм, достигший наивысшего развития, нормативен. Очевидно, в этом на-

правлении идет морфологическое развитие числительных, различающих более двух падежных форм» [Дровникова, 1993, с. 112].

О. А. Лаптева считает, что «тенденция не склонять количественные числительные в полной мере согласуется с синтаксической тенденцией экспансии именительного падежа... и выводит ее на уровень словоформы, уровень морфологической системы, чего не происходит с другими разрядами имен» [Лаптева, 2001, с. 231], и подтверждает этот тезис многочисленными случаями использования форм именительного падежа ИЧ на месте косвенного падежа, необходимого для грамматической связности контекста (*свыше семь с половиной миллионов тонн; в течение одиннадцать месяцев; арестовано более сто восьмидесяти лиц; меньше двух тысяч двести шестьдесят*).

М. Я. Гловинская, анализируя активные процессы в русской грамматике, делает вывод о том, что «в области числительных наряду с прежним движением к двухпадежной системе „прямой — косвенный падеж“, которое существует на протяжении нескольких столетий» сейчас заметна «и новая тенденция — к полной несклоняемости. Обе тенденции проявляют себя в первую очередь в области сложных и составных числительных» [Гловинская, 2008, с. 264—265]. Она также отмечает распространенность генитивного оформления частей многокомпонентных ИЧ (*по всем двухсот двадцати четырем округам*) и «экспансию родительного по отношению к другим косвенным падежам» (*в двухсот населенных пунктах*) [Гловинская, 2007, с. 109]. При этом, по ее мнению, «все падежи могут заменяться формой РОД или ИМ, а иногда и тем и другим» [Гловинская, 2009, с. 425], т. е. номинативная и генитивная стратегии конкурируют.

Сложные и составные ИЧ, согласно требованиям литературной нормы, должны при склонении изменять каждую из своих частей, как-то: *со всеми шестьюстами двадцатью тремя тысячами тремястами девяноста семью рублями* (контекст И. А. Мельчука). Подобные громоздкие конструкции избыточны по выражению падежного значения — в приведенной словоформе ИЧ оно выражено девять раз! И если в обычной речи нам придется употребить такое ИЧ в косвенном падеже, то мы, скорее всего, упростим склонение за счет внутренних компонентов, не склоняя или «недо-склоняя» их.

Посмотрим, как тенденция к номинативному либо генитивному оформлению частей ИЧ реализуется в именах сотен, использованных как внутренний компонент в составном ИЧ.

Имена сотен представляют собой композиты двух типов — с начальным «малым» ('2'—'4') и с начальным «большим» числительным ('5'—'9'); в их парадигмах омонимичны только формы Им.—Вин. (*двести, пятьсот*), а косвенные оформлены по-разному (*двухсот, двустам, двумястами, о двухстах; пятисот, пятистам, пятьюстами, о пятистах*). Парадигмы «внутреннего склонения» первых компонентов содержат больше омонимичных форм: у «малых» различаются четыре

формы (Им.—Вин.; Род.—Предл.; Дат.; Твор.), у «больших» — три формы (Им.—Вин.; Род.—Дат.—Предл.; Твор.).

Как представляется, разнотипные имена сотен могут показывать речевые отличия в составе более сложной числовой синтагмы. Это заметно, даже если обратить внимание на приводимый исследователями иллюстративный ряд. Так, Л. Н. Дровникова, говоря о падежном синкретизме косвенных падежей (оформлении общего косвенного по образцу Род.), для подтверждения дает 8 примеров с «большими» сотнями (*равный восьмисот семидесяти километрам; более чем на пятисот гектарах...*) и 17 — с «малыми» (*на четырехсот восьмидесяти гектарах; трехсот двумя голосами утвердили...*) [Дровникова, 1993]. М. Я. Гловинская в разделе, посвященном анализу склонения составных числительных, рассматривая замену косвенных падежей формой Им., приводит 13 контекстов с именами сотен, среди которых 12 «больших» (*провел около шестисот шестидесяти девяти эфиров; в семьсот семидесяти городах...*) и только одна «малая» сотня (*после двести шестнадцати дней разлуки*). Употребление Род. на месте других косвенных проиллюстрировано четырьмя контекстами с «малыми» сотнями (*по всем двухсот двадцати четырем округам; в трехсот девяноста километрах*) [Гловинская, 2007, с. 110—113].

Конечно, «история употребления грамматических форм в речи требует специальных приемов изучения. „Раритетный“ метод собирания и представления материала не может служить средством решения этой задачи. Объект изучения заставляет учитывать не одни только редкие факты отклонения от стандарта, но прежде всего факты массового порядка. Наиболее эффективным в этом отношении представляется статистический метод. Он дает возможность охватить массовые факты, объективно представить их в виде чисел и снять близкую к истине копию сдвигов в употреблении конкурирующих форм, даже если изучаются языковые изменения за короткое время» [Граудина, 1968, с. 73].

Тем не менее «коллекция раритетов», представленная в работах Л. Н. Дровниковой и М. Я. Гловинской, довольно наглядно показывает, что генитивная стратегия оформления первого компонента более характерна для «малых» сотен ('200' — '400'), а номинативная — для «больших» ('500' — '900'). Но подтвердить или опровергнуть эту гипотезу возможно только при помощи достаточно репрезентативной выборки.

Для уточнения узуальных вариантов склонения был проведен эксперимент (анкетирование) с информантами, которые в соответствии со своими социальными характеристиками и образовательным уровнем должны быть носителями речевой культуры не ниже средне-литературного типа (согласно [Сиротинина, 2007, с. 21—23]). Исследование проводилось в течение 2008—2010 гг. среди студентов разных специальностей ряда вузов г. Ульяновска и Москвы, всего участвовало

около 2200 человек. Испытуемым предлагался ряд контекстов с ИЧ разной структуры, употребленных в различных косвенных падежах, требовалось записать числительные словами, поставив их в нужную форму.

Обратимся к одному из контекстов:

Депутат вчера встретился с 350 избирателями, а сегодня — с 570 избирателями.

Здесь в Твор. п. использованы два двусловных ИЧ, каждое из которых состоит из двух сложных: «малая» или «большая» сотня и название десятка. Имена сотен представлены в анкетах в следующих вариантах оформления:

- 1) нормативный Твор.: *тремястами, пятьюстами*;
- 2) упрощенный Твор. (с устранением «внутреннего» Твор.), первый компонент оформлен по модели Род. («общий косвенный падеж»): *трехстами, пятистами*;
- 3) Род.: *трехсот, пятисот*;
- 4) Им.: *триста, пятьсот*;
- 5) образованные по аналогии с косвенными падежами числительного *сто / ста* формы либо с Твор. первого компонента, либо с обобщенным его оформлением: *тремяста, пятьюста, трехста, пятиста*;
- 6) прочие единичные образования типа *тремстами, тристами, тремя сотнями, пятьюсот, пятьстами, пятьюсотами, пятью сотнями* и др.

Количественное распределение вариантов представлено в табл. 1, порядок следования вариантов соответствует традиционной парадигме, что позволяет пронаблюдать тенденции. Оказывается, что «экспансия номинатива» действительно характерна для «больших» сотен, а «экспансия генитива» — для «малых».

Таблица 1

Распределение речевых вариантов Твор. п. числительных триста и пятьсот без учета контекста

Тип словоформы	«300»		«500»	
	словоформа	количество употреблений, %	словоформа	количество употреблений, %
Им.	триста	8,53	пятьсот	43,37
Р.	трехсот	42,00	пятисот	5,84
Тв.	тремястами	45,39	пятьюстами	27,11
Тв. упрощ.	трехстами		15,90	пятистами
-ста	тремяста	2,22	Пятьюста	0,42
	трехста		2,18	Пятиста

прочие	тремстами, трестами, тристами и др.	1,86	пятьюсот, пяти-сотами, пятью-сотами и др.	0,28
--------	-------------------------------------	------	---	------

Владение литературной нормой продемонстрировала почти треть испытуемых: «правильный» Твор. — в 29,49% анкет для триста и 27,11% для пятьсот. Упрощенный Твор. — в 15,90% анкет для триста и 19,69% для пятьсот. В целом стратегию сохранения склонения выбрала почти половина информантов: 45,39% для триста и 46,80% для пятьсот.

Имя «малой» сотни *триста* получает форму Род. *трехсот* в 5 раз чаще, чем Им. (42,00% против 8,53%), а *пятьсот* — форму Им. в 7,4 раза чаще, чем Род. (43,37% против 5,84%); по количеству употреблений (немного меньше половины информантов) эти ненормативные формы вполне соотносятся с вариантами Твор.

Количество употреблений варианта на *-ста* близко к цифрам статистической погрешности, несмотря на то что этот вариант все чаще слышен в устной речи и постоянно попадает на заметку ревнителям чистоты русского языка. Такое оформление имен сотен, как показывает моя «коллекция раритетов», более характерно для однословных ИЧ.

Таблица 2

Распределение речевых вариантов Твор. п. числительных триста и пятьсот в совместном употреблении

Тип сочетания и словоформ	«300» + «500»		
	словоформы	количество употреблений, %	
Им. + Им.	триста + пятьсот	7,00	
Р. + Им.	трехсот + пятьсот	31,14	
Р. + Р.	трехсот + пятисот	4,49	
Тв. + Тв.	тремястами + пятьюстами	39,90	18,86
Тв. + Тв. упрощ.	тремястами + пятистами		8,16
Тв. упрощ. + Тв. упрощ.	трехстами + пятистами		8,06
Тв. упрощ. + Тв.	трехстами + пятьюстами		4,82
-ста + -ста	трехста + пятиста	0,83	
прочие сочетания		16,64	

Еще более наглядны цифры, характеризующие совместную употребительность вариантов (см. табл. 2): сочетания «правильного» Твор.

(18,86%) и различные комбинации упрощенных и нормативных форм Твор. (21,04%) количественно соответствуют друг другу (примерно по 1/5 употреблений), но контексты, соединяющие генитивное оформление «малой» сотни и номинативное оформление «большой» сотни, все же преобладают — 31,14%, т. е. практически треть испытуемых выбрала именно эту комбинацию.

Почему именно такие варианты и такая комбинация вариантов оказалась столь популярной? Из каждой парадигмы была взята форма со слоговым ударным корнем *-сот*. Вероятно, что в таком виде этот компонент оказывается семантически более весомым — воспринимается как обозначение счетной единицы (ср. контексты типа *несколько сот человек, много сот тысяч лет назад*). Наблюдается также структурная близость *трехсот* и *пятьсот*. Обе формы с закрытым первым слогом (что, заметим кстати, делает морфемный шов агглютинативным), а их просодическая характеристика позволяет реализоваться двуударности: обязательное основное ударение выделяет название разряда (счетной единицы), а побочное сможет «прозвучать» на первом компоненте. Только в этой форме сложное числительное может получить просодические свойства сложного слова — каждый из семантически значимых компонентов может быть выделен своим ударением: *трѣхсѣт, пятьсѣт* (конечно, это одна из возможных речевых реализаций).

Таким образом, гипотеза о продуктивности для составных ИЧ генитивного оформления «малых» сотен и номинативного оформления «больших» нашла обоснование в результатах исследования. Думается, что этот факт важен для характеристики современной грамматической системы: «описание должно учитывать открытые возможности — все то, что является „продуктивным шаблоном“, схему, с помощью которой можно реализовать то, что еще не существует как норма» [Косериу, 2001, с. 197], но вполне может оказаться будущей нормой, поскольку, как говорил И. Б. Зингер, «ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих» (цит. по: [Кронгауз, 2005]).

Литература

Виноградов, 1986 — Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Изд. 3-е, испр. М.: Высш. школа, 1986.

Гловинская, 2007 — Гловинская М. Я. Изменения в склонении числительных в русском языке на рубеже XX—XXI веков // Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 106—116.

Гловинская, 2008 — Гловинская М. Я. Активные процессы в грамматике // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX—XXI веков. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 187—267.

Гловинская, 2009 — Гловинская М. Я. Противопоставленные тенденции в русском именном склонении в конце XX — начале XXI века // «Слово — чистое веселье...»: Сб. статей в честь А. Б. Пеньковского. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 424—435.

Глускина, 1961 — Глускина С. М. Сложные числительные в истории русского языка // Ученые записки Псковского гос. пед. ин-та. Вып. 7. Псков, 1961. С. 5—34.

Граудина, 1968 — Граудина Л. К. Рост употребительности нулевой флексии // Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование. В 4 т. Кн. 3: Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М.: Наука, 1968. С. 46—85.

Дровникова, 1993 — Дровникова Л. Н. Развитие падежного синкретизма форм числительных в современном русском языке // Филологические науки. 1993. № 1. С. 110—115.

Косериу, 2001 — Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения). Изд. 2-е, стереотип. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Кронгауз, 2005 — Кронгауз М. А. Заметки рассерженного обывателя // Отечественные записки. 2005. № 2 (22). URL: <http://www.strana-oz.ru>

Лаптева, 2001 — Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте. Изд. 3-е. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Мельчук, 1985 — Мельчук И. А. Поверхностный синтаксис русских числовых выражений. Wien: Wiener Slavistischer Almanach, sdb. 16. 1985.

Сиротинина, 2007 — Сиротинина О. Б. Основные критерии хорошей речи // Хорошая речь. Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 16—28.

Супрун, 1969 — Супрун А. Е. Славянские числительные: Становление числительных как особой части речи. Минск: Изд-во БГУ, 1969.

А. В. Сизиков,

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Пленарный доклад, направление «Библистика»

Теория Ю. Найды и Я. де Ваарда и ее влияние на русские и английские переводы Библии

Переводы Священного Писания (далее СП) — очень интересный материал для исследования в области истории и теории перевода. На протяжении более двух тысяч лет осуществляется перевод одного и того же текста с одними и теми же целями. Особенно остро проблема перевода СП стала после решения второго Ватиканского собора 1962—1965 гг., который разрешил католикам ведение литургии на любых языках, а не только на латыни. Немаловажным фактором, повлиявшим на переводы СП в XX в., стала тенденция к препроцессу Библии «колонизаторов» в постколониальный период в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии. В связи с тем, что в большинстве случаев переводы начинают создаваться для миссионерских целей, формулируется представление о том, что Библия должна быть изложена максимально доступным языком, понятным даже малообразованным людям, поэтому перевод должен уйти от формальных со-

ответствий и достичь необходимого результата при помощи ресурсов языка реципиента.

В 1964 г. Юджин Найда формулирует концепцию динамической эквивалентности, которую он позже называет функциональной эквивалентностью [Nida, 1964]. Предполагается, что реципиенты должны в такой же степени и так же легко понимать перевод, в какой первоначальные читатели должны были понимать оригинал. Длительные наблюдения над различными библейскими переводами, сотрудничество с Объединенными библейскими обществами приводят к тому, что Ю. Найда в 1986 г. в соавторстве с консультантом Объединенных библейских обществ Яном де Ваардом издает книгу «From one language to another» [de Waard & Nida, 1986]. В русском переводе «На многих языках заговорят» [де Ваард, Найда, 1998], которая стала пособием для библейских переводчиков, сотрудничающих с Библейским обществами, на долгие годы и является таковым до сих пор. Теория функциональных эквивалентов стала доктриной.

Поскольку близкие формальные соответствия в языке-рецепторе не всегда передают точный смысл, так как в языке-реципиенте может отсутствовать опора для осознания того или иного образного выражения, Ю. Найда предлагает заменять их функциональными эквивалентами, фактически отказываясь от передачи лингвистической формы. Предполагается, что это необходимо делать лишь в тех случаях, если

1. Буквальный перевод дает совершенно искаженный смысл.
2. Заимствованное слово создает семантическую пустоту, которая заполняется неверным содержанием. Например, испанские миссионеры употребляли слово Dios, а индейцы считали, что это еще одно имя бога солнца.
3. Формальное соответствие порождает семантическую темноту «Обрезание сердца».
4. Формальное соответствие приводит к двусмысленности, которая не входила в намерения автора.
5. Формальное соответствие вызывает нарушение грамматики или стилистики языка реципиента [де Ваард, Найда, 1998, с. 44—47].

Эта доктрина породила ряд интересных и популярных переводов на многие языки: France Courant, Contemporary English Version, New International Version (далее NIV), Good News Bible (далее GNB), New Jerusalem Bible (далее NJB), Gutenachricht Bibel и многие другие. Библейские общества продолжают развивать теорию Ю. Найды, совершенствуя методы компонентного анализа, тем не менее не выходя за чисто лингвистические рамки и отвергая филологический подход к переводу [Wilt, 2003; Noss, 2007; Adruni & Hodgson, 2004]. Библейские общества издают серию «Helps for Translators prepared under the auspices of the United Bible Societies», в которой публикуются пособия по переводу каждой книги, к примеру: J. Reiling, J. L.

Swellengrebel. «A Translator's Handbook on the Gospel of Luke Handbook on Luke», London, 1971; B. M. Newman, P. C. Stine. «A handbook on the Gospel of Matthew», United Bible Societies, 1992; B. M. Newman, P. C. Stine. «A Handbook on Jeremiah», United Bible Societies, 2003, и т. п., содержащие **практические советы по реализации доктрины функционального перевода**. Пособия построены следующим образом: в двух колонках приводятся два перевода, один из них «формальный», другой — «динамический». Далее разъясняются недостатки первого и достоинства второго, даются советы по подбору эквивалентов. В основе доктрины лежит метод компонентного анализа. В качестве образца, которому надо следовать приводится Good News Bible (другое название Today's English Version), издаваемая в различных редакциях с 1966 г. по сегодняшний день.

Традиция перевода на русский язык Библии, и так не очень богатая, была прервана, и в конце XX в., вместо того чтобы обратиться к опыту отечественных школ перевода и применить его для перевода СП, переводчики Библии обратились к доктрине функционального перевода, которая разрабатывалась в первую очередь для младописьменных народов, не имеющих собственной литературной традиции. Применялась она и для создания переводов на английский язык для тех, кому он неродной. Одним из образцов которого и является GNB.

Основные теоретические тезисы, которые выдвигают Ю. Найда и Я. де Ваард, в ряде случаев отражают закономерности подбора лексических эквивалентов.

Скажем, перевод талантов в золотые монеты создает у читателя нужное представление о том, что речь идет о серьезной сумме:

NA (Здесь и далее греческий текст приводится по изданию Nestle Aland Novum Testamentum Graecae ed. 27) Mat 25:15; 27: καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἓν, ἐκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν. εὐθέως

ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἔμὸν σὺν τόκῳ

Синодальный перевод (далее Синод.) Mat 25:15; 27:

и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью.

Перевод РБО (далее РБО) Mat. 25:15; 27:

Одному он дал пять тысяч золотых, другому две тысячи и третьему тысячу — каждому по силам, а сам уехал.

Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами.

GNB Mat 25:15; 27:

He gave to each one according to his ability: to one he gave five thousand gold coins, to another he gave two thousand, and to another he gave one thousand. Then he left on his trip.

Well, then, you should have deposited my money in the bank, and I would have received it all back with interest when I returned.

NIV Mat 25:15; 27:

To one he gave five talents of money, to another two talents, and to another one talent, each according to his ability. Then he went on his journey.

Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest.

Талант серебра являлся большим капиталом, если учесть, что драхма (в таланте 6000 драхм) являлась щедрой поденной платой квалифицированному рабочему. Таким образом, речь идет не просто о крупной сумме денег, а о целом состоянии. При сохранении просто меры веса «талант» многие читатели представляют себе просто монету. При переводе в «золотые» теряется античная единица измерения, из перевода исчезает культурная реалия, замененная функциональным эквивалентом.

На этом примере, как и на следующих, мы видим, что перевод В. Н. Кузнецовой «Радостная Весть», теперь публикуемый под названием «Библия. Современный перевод», как раз выбирает ту же модель, что и GNB, хотя, как это демонстрирует NIV, есть более элегантное решение: оно сохраняет реалию, но не позволяет понять, что талант — это «одна монета». Надо отметить, что вслед за GNB перевод РБО вводит анахронизм «банк». Несмотря на то что обмен валюты, займы и прочие финансовые операции существовали в эпоху античности, не совсем корректно вводить термин «банк», связывая это с нынешними финансово-экономическими институтами, которые в такой форме не существовали в эпоху Нового Завета в Палестине. Ростовщичество по отношению к соплеменникам было запрещено Втор. 23: 19–20. Происходит идеологическая подмена, финансовые операции, которые были допустимы только по отношению к иноплеменникам Лев. 25: 35–36, представлены как существование банков, которые появились и были признаны законными значительно позже.

Функциональная замена реализуется в большинстве переводов стиха Быт 49:12. При «прямом» подборе эквивалентов глаза у Иуды будут красными от вина, и поскольку в предыдущих стихах он привязывает осленка к виноградной лозе, то вместо богатого племенного вождя рождается образ законченного алкоголика.

Gen 49:12 BHS הקלילי עיניו מן ילכו וישגים מן הלב:

Синод: блестящи очи от вина и белы зубы от молока.

РБО: А глаза его — темнее вина, молока белее зубы его.

NIV: His eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk.

Всегда ли нужно раскрывать метафоры для создания нужного образа — вопрос не однозначный. В своей книге Ю. Найда и Я. де Ваард настаивают, что всегда, приводя следующий пример из Послания к римлянам 12:20 [де Ваард, Найда, 1998, с. 44]:

ΝΑ ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρὸς σου, ψώμιζε αὐτόν ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν ἀνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

GNB: Instead, as the scripture says: «If your enemies are hungry, feed them; if they are thirsty, give them a drink; for by doing this you will make them burn with shame».

РБО: Наоборот, «если твой враг голоден, накорми его, жаждет — напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда»

Тем не менее многие переводчики оставляют слова о горячих углях. Это несколько сложно, но у читателей, привыкших к развитым метафорам, не вызовет трудностей, а создаст очень красивый и яркий образ.

Синод: Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угля.

NIV: On the contrary: «If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head».

NJB: And more: If your enemy is hungry, give him something to eat; if thirsty, something to drink. By this, you will be heaping red-hot coals on his head.

Мы видим, что ранние переводы (Библия короля Иакова и Синадальный перевод), ориентированные на передачу формы, сохраняют метафору; современные переводы NIV и NJB, умеренно подходящие к вопросу функционального замещения, поступают также. Раскрыта метафора в GNB и следующем за ней во многих переводческих решениях переводе РБО.

Значительно сложнее выполнить поиск функциональных эквивалентов в случае, описанном следующим образом: «Когда заимствованное слово создает семантическую пустоту, которая заполняется неверным содержанием. Так, например, испанские миссионеры употребляли слово Dios, а индейцы считали, что это еще одно имя бога солнца...» Концепция функционального перевода предполагает, что проблему «возмещения» пустоты можно решить простым подбором эквивалентов или созданием новых образов вроде «высший хозяин» или «самый главный Бог». Тем не менее подобный подход создает больше проблем, чем решений. Библия — это элемент цивилизации, несущая собственную идеологию и оформившая во многом идеологию современного европейского общества. Совмещение же с другим мировоззрением создает путаницу, смешение взглядов и ценностей.

Проблема осмысления «Dios» в качестве одного из новых имен бога солнца лежит не в переводе, а в недостатке миссионерской и вообще образовательной — цивилизационной деятельности испанских конкистадоров.

В качестве еще одного примера рассмотрим концепт святости. Святое — это то, что принадлежит Богу. Священник קֹהֵן выступает носителем этой святости. Этот термин авторы Синодального перевода перевели по-разному. Там, где речь идет о священниках Яхве, везде переведено как «священник», там же где речь идет о священниках других культов — «жрец». Решение довольно остроумное, но спорное. Действительно, священник Ветхого Завета — это человек, приобщенный к святости и осуществляющий кровавую жертву. Он мало похож на православных священников, осуществляющих бескровную жертву, и, как ветхозаветные священники, является «проводником» святости. Последнее качество наиболее важное. Однако в переводе РБО « קֹהֵן » везде передано как «жрец», в частности и по отношению к одной из ключевых фигур книги Бытия — Мельхиседеку. В современном переводе РБО Быт 14:18 он «жрец Бога Вышнего». Термин «жрец» действительно описывает «функцию» ветхозаветного священника, но не раскрывает суть его действий внутри отношений Бога и Израиля.

Ю. Найда и Ян де Ваард, как их последователи, совсем не уделяют внимания вопросам жанра и стиля перевода. Они концентрируются только на подборе эквивалентов и отмечают, что должно совпадать не только лексическое значение, но и коннотации. Если оригинал использует бранную лексику, значит, она должна быть бранной, если это послание, то его надо переводить как послание и т. п.

Подобный подход в отношении русского языка крайне спорен. У носителей русской литературной нормы сложилось вполне четкое представление о том, в каком типе речи какие языковые единицы допустимы. Это выражено в достаточно четко очерченных функциональных стилях. Реализуя концепцию динамического перевода, предписывающую отказаться от архаизмов и передачи стилистических оттенков ради ясности смысла посредством функционального замещения, мы рискуем создать просто шокирующие переводы. Синодальный перевод вслед за церковнославянским переводит греческое πόρνη лексемой «блудница», которую современная русская лексикография относит к устаревшей лексике; лексема несомненно является книжной, она лишена ярко выраженной пейоративной коннотации. В современном русском переводе мы видим следующее.

Евр 11:31

NA: Πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ' εἰρήνης.

Синод: Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными.

РБО: Благодаря вере проститутка Рахав, приютившая лазутчиков, не погибла вместе с неверными.

GNB: It was faith that kept the prostitute Rahab from being killed with those who disobeyed God, for she gave the Israelite spies a friendly welcome.

Перевод РБО следует за GNB и вводит лексему «проститутка», уже имеющую пейоративную окраску и встречающуюся в современном русском языке в переносном значении. Однако тот же термин πόρνη в Откровении передан словом «шлюха». Лексема «шлюха» представлена в словарях русского языка с пометами просторечие и вульгарное, таким образом, лексема в переводе хотя и делает высказывание более экспрессивным, начинает выполнять не свойственную оригинальному тексту функцию — характеризует говорящего, в данном случае ангела, через его речь. Получается, что автор Послания к евреям выбирает выражения, а ангел в Откровении нет.

Откр 17:15

NA Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλώσσαι.

GNB: The angel also said to me, «The waters you saw, on which the prostitute sits, are nations, peoples, races, and languages».

РБО: Он говорит мне: — Реки, которые ты видишь, — у них сидит Шлюха — это народы, толпы, племена и наречия.

Синод: И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки.

Авторов перевода Ветхого Завета также не устроила лексема «блудница», видимо, как архаичное, «шлюха» и «проститутка», как содержащие пейоративные коннотации, и они использовали вообще в качестве эквивалента малопонятный эвфемизм «публичная женщина»

Иисус Навин 6:17

רק רחב הזונה תהיה היא וכל אשור אמה בבית כי תהבאתה את המלכים אשר שלחנו

РБО: Лишь Раав, публичную женщину, оставьте в живых, вместе со всеми, кто будет у нее в доме, — за то, что она спрятала наших разведчиков.

Синод: только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме; потому что она укрыла посланных, которых мы посылали.

GNB: Only the prostitute Rahab and her household will be spared, because she hid our spies.

Переводчики, воплощающие эту концепцию на русский язык, не хотят видеть достижения русского формализма. Происходит отказ от попыток определить жанровые черты оригинального текста и найти и подобрать для целевого языка ту форму, которую читатель смог бы идентифицировать как жанр, использовать те языковые средства и те приемы, которые носитель литературной нормы готов видеть в би-

блейском тексте. С точки зрения вопросов жанра и стиля Ю. Найда и его последователи остаются в плену у дилеммы Шлейермахера: «Переводчик может либо, насколько это возможно, оставить в покое автора и подвести к нему читателя, либо, насколько это возможно, оставить в покое читателя и подвести к нему автора». Эта дилемма в доктрине динамического перевода решается однозначно: нужно упростить текст, раскрывая метафоры, и понизить уровень языка, уровень культурной и идеологической информации до уровня некоего «среднего читателя». Исчезает видение Библии как элемента цивилизации, как элемента культуры, которую необходимо познать. Процесс интерпретации идет только в одном направлении — подстраивание текста под возможности читателя.

Как мы видим, современные русские переводы выбрали вербоцентрическую доктрину функционального перевода, создававшуюся в первую очередь для языков младописьменных. В английских переводах эта доктрина реализуется в переводах, ориентированных на людей, для которых английский язык не является родным. Основная цель Ю. Найды и его последователей — создание миссионерских переводов, в этом случае подобный тип перевода может быть оправдан. Для русского языка на современном этапе его развития такой подход не представляется уместным. У носителей русской литературной нормы уже сложилось представление о том, каким должен быть библейский текст, сформировался своего рода функциональный стиль. Нарушение этого стиля сниженной лексикой, экспрессивным синтаксисом, парафразами может привести к неприятию перевода читателями. Попытки же при помощи функциональных замен решить идеологические проблемы ведут к подмене культурных концептов, вместо ключевой фигуры для понимания отношения Бога и человека — священника появляется жрец, вместо ростовщиков, которые имеют негативную коннотацию как в Новом Завете, так и в нашей культуре, появляется «банк». Такой подход приводит к снижению цивилизационной функции библейского текста, искажению представления о древних реалиях и упрощению языка.

Литература

- де Ваард, Найда, 1998 — *Де Ваард Я., Найда Ю.* На многих языках заговорят. СПб., 1998.
- Arduni & Hodgson, 2004 — *Similarity and Difference in Translation* ed. Stephano Arduni and Robert Hodgson, Rimini, 2004.
- Nida, 1964 — *Nida E. Toward a Science of Translating*, Leiden, 1964.
- Noss, 2007 — *A history of Bible translation* ed. Philip A. Noss, Roma, 2007.
- Omanson, Ellington, 2001 — *Roger L. Omanson, John Ellington, A Handbook on the First and Second Books of Samuel*, UBS, 2001.
- Wilt, 2003 — *Bible Translation: Frames of Reference*. Timothy Wilt (ed). Manchester: St Jerome Publishing, 2003.

de Waard & Nida, 1986 — *Jan de Waard & Eugene Nida Functional equivalence From one language to another*, New York, 1986.

Источники

- BHS — *Biblia Hebraica Stuttgartensia*, ed.: Karl Elliger, Wilhelm Rudolph Stuttgart, 1997.
- NA — *Novum Testamentum Graece*, post Eberhard et Erwin Nestle editione XXVII revisa, communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Stuttgart, 1993.
- Переводы:
- GNB — *Good News Bible (Today's English Version)*, American Bible Society, 1992.
- NIV — *The Holy Bible: New International Version*, HarperTorch, 1993.
- KJV — *The Bible: Authorized King James Version*, Oxford, 2008.
- NJB — *The New Jerusalem Bible*, Darton Longman and Todd, 1985.
- РБО — *Библия. Современный перевод*. М.: Российское библейское общество, 2011. — Перевод Библии на современный русский язык. Перевод книг Ветхого Завета осуществлен коллективом переводчиков с 1996 по 2010 г. (М. Г. Селезнев, В. Ю. Вдовиков, А. Э. Графов, А. С. Десницкий, Л. Е. Коган, Л. В. Маневич, Е. Б. Рашковский, Е. Б. Смагина, С. В. Тищенко, Я. Д. Эйделькинд), перевод книг Нового Завета осуществлен В. Н. Кузнецовой и ранее издавался под названием «Радостная Весть».
- Синод — *Синодальный перевод — перевод Священного Писания на русский язык, утвержденный Священным синодом и опубликованный полностью в 1876 г.* Цитируется по изданию: Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, М., 1989.

Е. С. Степашикина,

аспирант, ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» (Россия)

Секция «Фоносемантика»

Фоносемантика окказионального слова в публицистике А. И. Солженицына

В настоящее время в научной литературе публицистика А. И. Солженицына рассматривается в основном с позиций ее философского содержания и не имеет отдельных подробных исследований, посвященных анализу языковых особенностей этой части наследия писателя, что, на наш взгляд, является упущением. Данные лингвистического анализа, позволяющие на языковом уровне проследить реализацию мировоззренческих доминант писателя, способны углубить и расширить выводы работ внелингвистического характера.

Окказиональное словообразование является одной из характерных черт публицистического стиля А. И. Солженицына, о чем неоднократно упоминали исследователи его творчества. Традицион-

ное изучение только структурно-семантической и функциональной стороны подобных единиц кажется нам недостаточным. Ведущий исследователь поэтики писателя А. В. Урманов не раз отмечал повышенный интерес автора к выразительным возможностям отдельного слова, а среди важнейших особенностей его прозы выделял в том числе и актуализацию «всех эстетических возможностей слова: образных, смысловых, экспрессивных, *фоносемантических* (курсив мой. — Е. С.), интонационно-мелодических; обостренное восприятие внутренней формы слова» [Урманов, 2000, с. 131]. Таким образом, изучение взаимосвязи звучания и значения окказионального слова А. И. Солженицына должно быть направлено в первую очередь на раскрытие эстетической ценности данного явления, т. е. на рассмотрение фоносемантических явлений с точки зрения их художественной значимости.

Настоящая статья посвящена исследованию роли звуко-смысловой составляющей при комплексном анализе окказионализмов. Первый этап научного рассмотрения неязыковой лексики базируется на принципе сопоставления (структурного и семантического) производящей и производной основ с целью определения средств создания окказиональности авторской единицы. С точки зрения словообразования таким средством является формант. Следовательно, при фоносемантическом подходе к анализу окказионализма ключевой для раскрытия особенностей языковой личности будет именно фонетическая «разница» между исходным и продуцированным словом, а точнее, «разница» между фонетическими структурами их словообразовательных формантов. Исходя из этого, целью данного исследования является не установление наличия/отсутствия звукоизобразительного происхождения всего окказионализма, а изучение указанной выше «разницы» с позиций звуко-символизма с последующим выяснением причин выбора автором конкретных фонетических средств.

Подобный подход к анализу предполагает обращение к таблицам фонетической (синестетической) значимости звуков и их сочетаний в русском языке. В нашей статье мы используем характеристики звуков, предложенные в работах Т. С. Беловой [Белова, 2009, с. 54–60], Е. Н. Фадеевой [Фадеева, 2004, с. 42–44], Н. В. Бартко [Бартко, 2002, с. 28]. Таким образом, фоносемантическое рассмотрение окказиональных образований в публицистике А. И. Солженицына опирается на данные субъективного звуко-символизма, постулирующего выявляемую экспериментальным путем связь определенных звуков и значений в психике человека.

На первом этапе исследования мы сделали выборку всех окказионализмов из нескольких известных публицистических произведений А. И. Солженицына («Нобелевская лекция», 1972 г.; «Жить не по лжи!», 1974 г.; «Как нам обустроить Россию?», 1990 г.). После словарной проверки правомерности отнесения этих единиц к неязыковым их

количественное соотношение стало следующим: 1) окказионализмы-глаголы (21 единиц, или около 33%), 2) субстантивные окказионализмы (17 единиц, или около 27%), 3) адъективные окказионализмы (17 единиц, или 27%), 4) адвербиальные окказионализмы (8 единиц, или 13%). В настоящей статье рассматривается самая многочисленная группа авторских неологизмов — глаголы.

На втором этапе мы расклассифицировали единицы по способам образования, опираясь на данные Русской грамматики-80, а также на исследования в области окказионального словотворчества Е. А. Земской [Земская, 2009], И. С. Улуханова [Улуханов, 1996], А. Ф. Журавлева [Журавлев, 1982].

Третий этап исследования связан с добавлением фоносемантического компонента к анализу уже расклассифицированных единиц. При определении того или иного значения, потенциально вносимого автором в конкретное новообразование, мы обращались также к рассмотрению контекстуальных связей внутри статьи, что способствовало подтверждению или опровержению нашей догадки, опирающейся на данные таблиц соотношения звука и значения (см. выше).

Логично предположить, что среди выделенных нами групп окказионализмов-глаголов большей степенью фонетической значимости словообразовательного форманта обладают единицы, образованные с помощью транспрефиксации и депостфиксации. Ведь они репрезентируют сознательную замену одного фонетического облика другим, более подходящим, по мнению писателя, для передачи его идеи. Более подробное изучение таких слов подтверждает нашу мысль. Рассмотрим пример: «*Надо теперь жестко выбирать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, — и духовным и телесным спасением нашего же народа. <...> Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ*» [Солженицын, 2005, с. 11] (*вы-мертвлять←у-мертвлять, о-мертвлять; вы-//о-,у-*). Сравним значения замещающихся звуков, приведенные в таблицах, с информацией, получаемой из контекста. Т. С. Белова: [о,у] — пассивные, удаленные; [в] — быстрый, активный; [ы] — пассивный, холодный, страшный. Н. В. Бартко: звонкость [в] — «сильный»; Е. Н. Фадеева: [ы] — сильный, суровый, темный, зловещий и т. д. Таким образом, за [в] исследователи закрепляют качества «активный», «сильный»; за [ы] — «страшный», «суровый», «зловещий». Контекст подтверждает ощущения, передаваемые звуками [вы]: слова «жестко», «великая», «губящая» содержат сему «активный, сильный, зловещий, страшный». Следовательно, А. И. Солженицын, заменяя префикс, усиливает экспрессивность всего слова, подчиняет его фонетический облик своей идее губительности имперского устройства для ослабленной России (ср.: «...нет у нас сил на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. <...> Она [империя] размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель» [Солженицын, 2005, с. 11]). Обозначенные качества

сочетания звуков [вы] согласуются и с контекстом, еще в одном примере: «За три четверти века так **выбедняли** мы, засквернели, так устали, так отчаялись, что у многих опускаются руки, и уже кажется, только вмешательство Неба может нас спасти» [Солженицын, 2005, с. 19] (**вы**-беднять←о-беднять (Ушаков); **вы**-//о-). Слова «так», «засквернели», «отчаялись», «устали» содержат в своем значении сему «сильный, активный». Окказиональное слово вкуче с контекстом передает идею разрушительного воздействия существовавшего политического строя (ср.: «Семьдесят лет влачась за слепородной и злокачественной марксо-ленинской утопией, мы положили на плахи или спустили под откос... треть своего населения» [Солженицын, 2005, с. 7]).

Еще несколько примеров. «Когда ж **послабилося** внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот „весь мир“» [Солженицын, 2001, с. 21] (**послабилося**←о-слабилося; **по**-//о-). Т. С. Белова: [п] — тусклый, слабый, тихий, короткий; Н. В. Бартко: глухость [п] — «слабый»; Е. Н. Фадеева: [п] — медлительный. Прибавление звука [п] придает окказионализму сему слабости и медлительности, что подтверждается контекстом (паронимическая аттракция слов «поширяться» и «постепенно») и в конечном итоге выражает авторское представление о советском режиме как давящей глыбе (ср.: «Из-под глыб»). В другом примере символизм менее отчетлив. «„Права человека“ — это очень хорошо, но как бы нам самим следить, чтобы наши права не **поширялись** за счет прав других?» [Солженицын, 2005, с. 35] (**по**-ширяться←рас-ширяться; **по**-//рас-). Обращаясь к анализу контекста и учитывая уже реализованную в другом примере ассоциацию [п] — «слабый», можно предположить, что в данном случае прибавление [п] способствует вместе с вопросительной интонацией и выделительно-ограничительной частицей «бы» созданию специфического характера солженицынского дидактизма — предупреждения о возможной ошибке. Употребление приставки рас- с «сильным, грубым, стремительным» звуком [р] (Т. С. Белова: [р] — большой, грубый, сильный; Н. В. Бартко: дрожание [р] — «сильный»; Е. Н. Фадеева: [р] — сильный, стремительный) разрушило бы гармонию всей фразы.

Исследование структуры транспрефиксальных окказионализмов показало, что все они (6 ед.) информативны с точки зрения фоносемантического отношения. Выдвигаемое учеными положение о звукоизобразительной важности начального звука в слове [Белова, 2009, с. 36] подтверждается в ходе анализа окказионализмов А. И. Солженицына. Замена префикса способствует усилению экспрессивности слова (т. е. увеличению способности слова передавать субъективное отношение создателя к сообщаемому). Важно отметить, что именно фоносемантический подход к анализу транспрефиксальных новообразований позволяет приблизиться к достижению главной цели

любого лингвистического исследования произведения — раскрытию языковой личности художника.

Среди окказионализмов, образованных традиционными способами словопроизводства, наиболее ярко фонетическая значимость представлена в группе префиксальных единиц, что вполне закономерно в соответствии с положением об особой фоносемантической важности начальных звуков в слове. Рассмотрим несколько примеров. «И хоть не отпущено нам времени размышлять о лучших путях развития и составлять размеренную программу, и обречены мы колотиться, метаться, затыкать пробоины, **обтесняют** нас первосуточные нужды, вопиющая каждая о своем, о своем, — не должны мы терять хладнокровия...» [Солженицын, 2005, с. 19] (**об**-тесн-я-ть←*об-тесн-и-ть←тесн-и-ть; модель: префикс об- + основа глагола). («И с вузовских гуманитарных кафедр поныне самоуверенно вещают все те же, кто десятилетиями **оморачивал** студентам сознание. Десятки тысяч образованцев у нас огрязнены лицемерием...» [Солженицын, 2005, с. 34] (**о**-морач-и-ва-ть←*о-мороч-и-ть←мороч-и-ть; модель: префикс о- + основа глагола)). Попытаемся определить функцию префикса в новообразованиях. Т. С. Белова: [о] — круглый; [п] — быстрый, подвижный; Н. В. Бартко: лабиализованность [о] — «сильный»; взрывность [п] — «быстрый», «сильный». Контекст приведенных примеров не противоречит значениям, приписываемым звукам префиксов. Усиление степени экспрессии окказионализма способствует передаче на фонетическом уровне мысли о неотложности в сложившейся обстановке введения мер, предложенных А. И. Солженицыным в статье «Как нам обустроить Россию?».

В ходе анализа установлено, что все префиксальные глаголы-окказионализмы (5 ед.) поддаются продуктивному звуко-символическому осмыслению.

Учитывая особую роль префикса в окказиональных образованиях, рассмотрим единицы, образованные приставочным способом, сложными суффиксацией. «...Вся иррациональность искусства... его **сотрясающее** воздействие на людей — слишком волшебны, чтобы исчерпать их мировоззрением художника. <...>Искусство **растепляет** даже захлаженную, затемненную душу к высокому духовному опыту» [Солженицын, 2001, с. 18] (**рас**-тепл-я-ть←рас-тепл(ый)-я-ть; модель: префикс рас- + основа имени прилагательного + суффикс -я-). При анализе транспрефиксальных образований уже доказывалось, что приставка рас- несет в себе семы «сильный, стремительный, активный, большой, грубый». Суффикс -я- звучит как [а], находится в ударной позиции. Т. С. Белова: [а] — большой, сильный; Е. Н. Фадеева: [а] — сильный, стремительный. Следовательно, сочетание рас- и -я- должно привносить в слово значение «стремительный, сильный, активный». Анализ контекста («сотрясающее воздействие», «слишком», «даже») подтверждает наше предположение. Таким об-

разом, префиксально-суффиксальный окказионализм «растеплять» уже на фоносемантическом уровне передает идею А. И. Солженицына о всемогущей силе искусства (литературы) (ср.: «Против многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства» [Солженицын, 2001, с. 33]).

Другой пример: «*Возразят: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам **закляли** рты, нас не слушают, не спрашивают*» [Солженицын, 2001, с. 96] (**за-кляп-и-ть**←кляп; модель: префикс за-+основа имени существительного+суффикс -и-). Окказионализм образован с помощью префикса за- и безударного суффикса -и-. Т. С. Белова: [з] — быстрый, активный; Н. В. Бартко: звонкий, [з] — сильный; Е. Н. Фадеева: [з] — сильный, стремительный. Суффикс -и- безударный, представлен гласным звуком, что дает основание предположить малую степень его фонетической информативности. Сопоставив данные контекста и таблицы значений, отмечаем наличие фонетической значимости префикса, вносящего в окказионализм сему «сильный, интенсивный, активный», что не противоречит идее А. И. Солженицына о тотальной внешней несвободе (лжи) в СССР (ср.: «*Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет не через меня!*» [Солженицын, 2001, с. 97]).

Фоносемантическое значение третьего окказионализма распознается труднее. «*Да уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их. <...> Как у нас все теперь **поколесилось** — так все равно „Советский Социалистический“ развалится...*» [Солженицын, 2005, с. 9] (**по-колес-и-ть-ся**←**по-колес(о)-и-ть-ся**; модель: префикс по- +основа имени существительного + суффикс -и- + постфикс -ся). Производящую основу окказионализма «поколеситься» можно определить двояко: от «колесить» и от «колесо». Субстантивная производящая основа кажется нам более оправданной в контексте статьи А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?». Если рассматривать основу «колесить» в качестве производящей, то оба значения этого глагола (1. «Ездить, делая ненужные отклонения в стороны», 2. «Много ездить по разным направлениям» (по Д. Н. Ушакову)) не согласуются с идеей автора. В статье А. И. Солженицын заявляет, что для спасения России необходимо отделить часть союзных республик, обосновывая это тем, что «уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой!» [Солженицын, 2005, с. 9]. После следует предложение с окказионализмом «Как у нас все теперь поколесилось — так все равно „Советский Социалистический“ развалится» [Солженицын, 2005, с. 9]. Учитывая контекст, мы считаем, что фраза «все поколесилось» имеет значение «все начало двигаться как колеса» или «все начало двигаться как на колесах», не присущее глаголу «колесить», т. е. мотивирующим является слово «колесо». (Вообще образ колеса как символа времени, общественных

потрясений очень значим у А. И. Солженицына — ср. «Красное колесо».) Подобный тип словообразования (префиксально-суффиксально-постфиксальный от основ имен существительных и прилагательных) описывается в Русской грамматике-80, где отмечается, что с помощью ряда префиксов, а также суффикса -и- и постфикса -ся образуются окказиональные глаголы от существительных и прилагательных. Приведем значения звуков, из которых состоит каждая из трех морфем. Т. С. Белова: [п] — слабый, нежный, тихий; [и] — слабый, нежный, тихий; [с'] — слабый, маленький, тихий. Е. Н. Фадеева: [п] — медлительный, печальный; [и] — светлый, нежный; [с'] — светлый, тихий. Н. В. Бартко: глухой [п] — слабый; передний ряд [и] — слабый; фрикативный [с] — медленный. Предположим, что общее значение, вносимое формантом, сводится к «тихий, нежный». Этимологическое значение корня -колес- сводится к «двигаться вокруг, вращаться, блуждать» (др.-рус. коло «телега»; др.-прусс. kelan; греч. «ось», «двигаюсь вокруг»). Учитывая, что фонетическое значение латерального [л] содержит сему «плавное», а также он используется для передачи движения [Воронин, 2009, с. 70], можно предположить, что звуковое значение форманта призвано усилить скрытое фоносемантическое значение корня. Внутри контекста новообразование способствует раскрытию характера политических изменений так, как это видит автор: движение жизни подобно движению колеса — быстро («так», «разогнаны», «не остановить») и плавно.

Подводя итог нашим рассуждениям, отметим, что наше исследование является попыткой продемонстрировать важность фоносемантического комментария при традиционном анализе окказиональных слов. Определенная ограниченность исследования (связанная с небольшим объемом рассматриваемого материала, выборочностью текстов для анализа, выделением лишь одной части речи) не мешала нам прийти к выводу о целесообразности и продуктивности применения фоносемантического анализа к рассмотрению неязыковых единиц.

Краткие выводы: 1. Наибольшую фонетическую значимость демонстрируют глагольные новообразования, полученные с помощью субституции (транспрефиксации), что логично, так как сознательная замена звучания отвечает конкретным авторским задачам. Именно фоносемантический подход к подобным единицам позволяет приблизиться к раскрытию загадки авторского миромоделирования. Звукоинформативность и экспрессивность в них тесно связаны. 2. Среди окказионализмов-глаголов, образованных традиционными способами словопроизводства, наивысший интерес при фоносемантическом подходе представляют префиксальные единицы. 3. Прежде чем пытаться определить фоносемантику того или иного новообразования, нужно провести его функциональный анализ. Говорить о наличии фонетического значения можно только применительно к словам, вы-

полняющим экспрессивную задачу. 4. Окказионализмы — носители звуко-символического значения еще на уровне форманта передают стремление писателя на фонетическом уровне строить «целостный, синкретически нерасчлененный, многозначный образ бытия» [Урманов, 2000, с. 132].

Литература

Бартко, 2002 — Бартко Н. В. Английские звукоизобразительные RL-глаголы: фоносемантический анализ: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. СПб., 2002.

Белова, 2009 — Белова Т. С. Сопоставительный анализ системы звукоизобразительных средств итальянского и русского языков: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. М., 2009.

Воронин, 2009 — Воронин С. В. Основы фоносемантики / Предисл. О. И. Бродович. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2009.

Журавлев, 1982 — Журавлев А. Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации / А. Ф. Журавлев // Способы номинации в современном русском языке. М.: Наука, 1982. С. 45—108.

Земская, 2009 — Земская Е. А. Словообразование как деятельность / Отв. ред. Д. Н. Шмелев. Изд. 4-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Левицкий, 2009 — Левицкий В. В. Звуковой символизм. Мифы и реальность: Монография. Черновцы: Черновицкий национальный университет, 2009.

Солженицын, 2001 — Солженицын А. И. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 7: В Советском Союзе. 1967—1974; На Западе. 1974—1989. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2001.

Солженицын, 2005 — Солженицын А. И. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8: Публицистика: На Западе. 1990—1994; В России. 1994—2003. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2005.

Улуханов, 1996 — Улуханов И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. М., 1996.

Урманов, 2000 — Урманов А. В. Поэтика прозы Александра Солженицына. М.: Прометей, 2000.

Фадеева, 2004 — Фадеева Е. Н. Фоносемантическая характеристика индивидуального стиля автора: На примере поэтической речи XX века: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Тула, 2004.

Т. С. Тайманова,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Пленарный доклад, направление «Зарубежные литературы»

Жанна д'Арк как «место памяти» русской поэзии

6 января 2012 г. Франция праздновала 600-летие своей национальной героини. Приходится признать, что ее имя по прошествии веков стало неким общим местом. Вот строки из «Шума времени» О. Мандельштама: «Ко мне нанимали стольких французенок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно.

<...> В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д'Арк... и сколько я ни пытался, будучи любознательным, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна» [Мандельштам, 1991, с. 52]. Здесь образ Жанны — некий штамп, как и слова «прекрасная Франция». Об опошлении этого образа писала и А. Ахматова в воспоминаниях о Париже: «Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. Et Jehanne, la bonne Lorraine, / Qu'Anglois brulerent a Rouen... Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса. <...>» [<http://ahmatova.ouc.ru/amedeo-modigliani.html>]. Очевиден контраст между красотой строк Ф. Вийона и нелепостью безвкусных сувениров.

Историк Г. Крумайх также писал о «заштампованности» образа Жанны, «удобного» для историков и политиков всех мастей — правых и левых, роялистов и демократов, интернационалистов и шовинистов [Krumeich, 1993]. Мы же, отказавшись от слова «штамп», поговорим о том, как он используется в литературе, ведь Жанна д'Арк, как Фауст и Дон Жуан, — «вечный спутник» мировой литературы. Это ведет к понятию мифологемы, использованному А. Лосевым для анализа распространения ряда сюжетов в художественном творчестве [Лосев, 1991], а также к понятиям архетипа и коллективного бессознательного, лежащим, по мнению К. Г. Юнга, в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том числе и художественной [Юнг, 1997]. В мифологии эти явления называют «мотивами», а во французской социологии — «коллективными представлениями». Идеи о коллективных представлениях, развитые французским социологом М. Хальбваксом, тесно связаны с понятием коллективной памяти, а оно, в свою очередь, является ключевым в свете новой исторической науки, продолжающей традиции Школы Анналов и отличающейся антропологическим подходом, согласно которому память о событии для историка подчас важнее, чем само событие.

Еще в первой половине XX в. Хальбвакс отметил, что коллективная память является идентифицирующим признаком той или иной социальной группы [Halbwachs, 1997]. Этим объясняется неоднородность представлений об истории Франции: каждая группа претендует на свою версию истории. Вот почему последователь Л. Февра Ф. Бродель задал сакраментальный вопрос: «Что такое Франция?» «Франция — это память», — отвечает на этот вопрос П. Нора в знаменитом коллективном проекте «Места памяти» (1984—1992), темы разделов которого могут эпатировать читателя, воспитанного на классической историографии: здесь и вино, и виноградники, и Эйфелева башня, и, конечно, Жанна д'Арк. Французский медиевист М. Винок подробно освещает в этом разделе состояние иоаннитических штудий во Франции.

Он говорит о мобильности памяти о Жанне д'Арк, о ее вариациях во времени и пространстве, о том, как историческая личность постепенно превращается в миф и возникают различные модели интерпретации этого образа, например католическая, республиканская или националистическая. Винок основывается как на научных материалах, так и на отражении образа Жанны в искусстве: музыке, живописи, скульптуре, кино и, конечно, литературе. В общественном сознании Жанна олицетворяет Францию, она видится нам глазами Мишле и Клоделя, Пеги, Барреса и Жореса. В свете исторической антропологии их толкования тоже составляют историю Франции.

На основании теории Хальбвакса о коллективной памяти как идентифицирующем признаке определенной социальной группы мы попытались объединить поэтов в такую группу, вносящую немалую лепту в осмысление исторических событий. Недаром один из провозвестников Школы Анналов и исторической антропологии Ш. Пеги писал, что истинный историк — всегда поэт, ибо «лишь поэту свойственно, лишь поэту дано одним словом выразить... объять подлинную суть происходящего, глубинную суть истории» [Réguy, 1988, p. 343].

Ранее мы исследовали реализацию представлений о Жанне д'Арк в произведениях некоторых французских писателей и поэтов, например Ш. Пеги, А. Франса и П. Клоделя [Тайманова, 2005; 2006 и др.]. Но уникальность образа Жанны д'Арк заключается в его христианской универсальности. Это, пожалуй, единственный персонаж западноевропейской истории, чей архетип оказался достаточно устойчивым и в славянском менталитете и укоренился в русской литературной традиции, начиная с перевода В. Жуковским в 1821 г. «Орлеанской девы» Ф. Шиллера.

По-видимому, коллективное представление о Жанне помогало русским поэтам активировать, говоря терминами Юнга, в сознании читателя те или иные парадигмы данного архетипа. Не оставившись на несметном количестве прямых и косвенных упоминаний Жанны в русской поэзии, обозначим вехи, которые нельзя обойти. Это поэзия Серебряного века, некоторые образцы советской поэзии, бардовская песня и, наконец, стихи, опубликованные в интернете.

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахромы.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,

В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

[http://modernlib.ru/books/pasternak_boris_leonidovich/stihotvoreniya_i_poemi/read/]

Так начинается поэма Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (ок. 1925). В статье «Об образе Марии Спиридоновой в прологе поэмы Б. Л. Пастернака „Девятьсот пятый год“» историк Я. В. Леонтьев [<http://socialist.memo.ru/firstpub/y06/leont01.htm>] назвал прототипом героини пролога участницу революции 1905 г. Марию Спиридонову, легендарную эсерку, написавшую в тюрьме, в ожидании смертного приговора, что она «из породы тех, кто смеется на кресте» [цит. по: Лавров, 1996, с. 145]. М. Пришвин писал о ней: «Маруся, страдающая душа, как в святцах, мученица нетленная» [Пришвин, 1991, с. 358]. Н. Клюев свидетельствовал о тайном почитании «новомученицы» Марии на Тамбовщине [Клюев, 1908, с. 63]. После многочисленных арестов (и до, и после революции), каторги, ссылки, тюрем она была расстреляна в 1941 г. органами НКВД.

И правда, есть нечто общее в судьбе французской святой и русской революционерки, всю жизнь борющейся за социальную справедливость, преданной и казненной своими же соратниками. У Пастернака присутствуют атрибуты, ассоциирующиеся с Орлеанской Девой: вождь, социалистка (как, например, Жанна Ш. Пеги), а удел каторжанки окружен ореолом безвинного мученичества. Но образ Жанны имеет здесь и иное измерение: «Революция, вся ты как есть». Кажется, что Пастернак преклоняется перед «первопутком» российской истории, но с присущим настоящему поэту провидческим даром наделяет ее вторым ликом — «лицом василиска».

Итак, если во французской литературе Жанна олицетворяет народное начало (у Мишле), святость (у Клоделя), социализм и патриотизм (у Пеги), а расстановка акцентов зависит от исторического периода, то для русского поэта в 1925 г. центральным мотивом стал образ революции, хотя религиозная трактовка тоже не исключена.

Близкое восприятие Жанны находим у О. Мандельштама, где он пишет о знаменитой актрисе В. Комиссаржевской. Начало статьи — о революции: «Революция — сама и жизнь, и смерть, и терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук...» Далее — об актрисе в образе Гедды Габлер: «В чем секрет обаяния Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? <...> В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра» [Мандельштам, 1991, с. 94—95].

Историческое видение поэта составляющей его творческой концепции. Мандельштам задумывался над тем, как передать «шум времени», какую роль в этом играет память, как поэт должен запечатлеть культуру своего времени, т. е., по сути, о том, что Нора называл «места памяти».

Судьба Жанны д'Арк, ее мученическая смерть на костре нашли отклик и у А. Ахматовой. В сложной, незаконченной, сожженной во время Отечественной войны пьесе «Энума Элиш» (1942), где проза перемежается со стихами, Ахматова использует образ Жанны, описывая страх, мучающий героиню: на вопрос Гостя, только ли Последняя Беда ее пугает, дается ответ: «Нет. Я боюсь всего, как Жанна. J'ai eu peur du feu» [<http://ahmatova.ouc.ru/enuma-elish.html>]. То есть с Жанной у поэтессы ассоциируются огонь, непосильные тяготы и страдания, пожар.

Ироничная юная свидетельница канонизации Жанны, А. Ахматова, пройдя испытания и муки «со своим народом», в конце жизни имела полное право написать в стихотворении «Последняя роза» (1962):

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.

[<http://ahmatova.ouc.ru/poslednjaja-roza.html>]

Немалое место Жанна д'Арк занимает и в творчестве М. Цветаевой. В трогательном, но фактографически точном стихотворении «Руан» (4 декабря 1917 г.) лирическая героиня поэтессы превращается в историческую Жанну.

И я вошла, и я сказала: — Здравствуй!
Пора, король, во Францию, домой!
И я опять веду тебя на царство,
И ты опять обманешь, Карл Седьмой!
<...>

И был Руан, в Руане — Старый рынок...
— Все будет вновь: последний взор коня,
И первый треск невинных хворостинок,
И первый всплеск соснового огня.

[<http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poetry.txt>]

История Жанны передана образно и лаконично, создается ощущение присутствия поэта. Воскрешается вся символика, связанная с французской героиней, но при этом ощущается глубоко личная лирическая нота. Позже главное место в творчестве Цветаевой займет любовная лирика, но Жанна останется ее лирической героиней. Поэтесса будет ассоциировать с битвой свои любовные переживания.

Так, в стихотворении от 8 октября 1918 г. читаем:

Был мне подан с высоких небес
Меч серебряный — воинский крест.

Был мне с неба пасхальный тропарь:
— Иоанна! Восстань, Дева — Царь!

И восстала — миры побороть —
Посвященная в рыцари — Плоть.

Подставляю открытую грудь.
Познаю серединную суть.
Обязуюсь гореть и тонуть.

[<http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poetry.txt>]

Лирическая героиня стихотворения «Любовь! Любовь! Куда ушла ты?..» (1918) оставляет дом, чтобы, облачившись в воинские латы, стать «Голосом и гневом», «Орлеанской Девой» [<http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poetry.txt>].

В стихотворении «Пригвождена к позорному столбу...» (1920) нет имени Жанны, а лишь атрибуты, с ней связанные: позорный столб, знамя, полк, толпа, голуби, красный нимб Руана. Оно целиком принадлежит к жанру любовной лирики, и из элементов парадигмы, связанной с архетипом Жанны, использованы только жертвенность и страдание, возможно безвинное, но совершенно лишенное общественной значимости, сугубо личное. Героиня даже готова выпустить из рук свое знамя, если возлюбленный встанет на сторону противника. Это категорически противоречит характеру и образу Жанны, и исторической, и литературной — вспомним основную коллизию драмы

Шиллера — Жуковского, где Жанна влюбляется в английского воина, но не становится предательницей.

Цветаева обращается к образу Жанны не только в стихах. В работе «Поэт о критике» (1926) эпиграфом к главе «Кого я слушаюсь» служат слова Жанны о голосах, которые ею руководят: «J'entends des voix, disait-elle qui me commandent». Цветаева пишет: «Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего — спорю, когда приказующего — повинуюсь» [<http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poet.txt>]. А в главе «Кого я слушаю» читаем: «Ни один поэт, от рождения, не знает почвенных наслоений и исторических дат. Что я знаю от рождения? Душу своих героев. Одежды, обряды, жилища, жесты, речь — т. е. все, что дается знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и археолога. В поэме об Иоанне д'Арк, например: Протокол — их / Костер — мой» [<http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poet.txt>]. Ее слова явно перекликаются с процитированным выше высказыванием Пеги о способности поэта проникнуть в суть истории, недоступную ученым архивистам.

В литературной критике образ Жанны использовала не только Цветаева. С. Есенин в статье «Ярославны плачут» (1914—1915), посвященной женской поэзии периода Первой мировой войны, делит поэтов, пишущих о войне, на тех, кто, как Ярославна, рыдает на крепостной стене (М. Лохвицкая, Н. Львова, Т. Щепкина-Куперник), и тех, кто «загремели с призывом Жанны д'Арк» (М. Трубецкая, Е. Хмельницкая). «Нам одинаково нужны Жанны д'Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами» [<http://feb-web.ru/feb/esenin/texts>]. Есенин использует самую яркую и распространенную парадигму архетипа Жанны — ее патриотизм и борьбу с иноземным захватчиком.

От поэтов Серебряного века принял эстафету Ар. Тарковский (1907—1989), посещавший в юности поэтические вечера Северянина, Бальмонта, Сологуба. В стихотворении «Дерево Жанны» (1959) реалии, связанные с ее именем (волшебный дуб, голоса, коронация дофина, костер), — это лишь символы, свойственные его философичной и пантеистической поэзии. Используя образ Жанны, поэт призывает слушать голос своей души, отказаться от тщетной суеты жизни, следовать своему предназначению.

Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна Д'Арк.
Какие голоса тогда поют!

[<http://lib.ru/POEZIQ/TARKOWSKI/stihi.txt#51>]

Стихотворение проникнуто внутренним диссидентством. К. Кедров в статье «Сталкер русской поэзии» верно сказал, что «Арсений Тарковский был сталкером русской поэзии, выводящим из мертвой зоны в бессмертие» [<http://izvestia.ru/news/325940>].

Рамки данной статьи не позволяют остановиться на всех ипостасях Жанны в советской поэзии. Кроме «Рабфаковки» (1925) М. Светлова, где ощущаются свойственные поэту мотивы эскапизма, или «Лозунгов Жанны Д'Арк» В. Солоухина, написанных в 1975 г. на пике интереса к литературе о Великой Отечественной войне, имя Жанны встречаются и у Е. Евтушенко, который ассоциирует ее с народовойлкой В. Фигнер, и у поэта-песенника Н. Добронравова, для которого она символ мужества хрупкой русской женщины.

Интересен мало известный песенный цикл барда В. Долиной «7 песен Жанны» (1974). Долина поет от лица своей героини, проживая все этапы жизни Жанны, словно проходящие перед ее глазами на пороге смерти. Первая строфа первой песни задает тон всего цикла — противопоставление белого и черного:

Светлое распяты
Над черными дверьми.

[<http://bards.ru/archives/part.php?id=18175>]

Деревенская девочка сидит на лугу и плетет венки... из терновых веток. Жанна поет о своей тяжелой миссии, о долге самоотречения:

Я спасти отчизну должна.
Девочка, не мать, не жена.

[<http://bards.ru/archives/part.php?id=18175>]

Но строки:

Что моя страна
Без меня — одна?
А со мною — несчастна она...

[<http://bards.ru/archives/part.php?id=18175>]

уже наполнены современным гражданским звучанием. Очевидно, они, как и многие бардовские песни, связаны с диссидентским движением России 1970-х гг. Что из многочисленных парадигм образа Жанны могло дать пищу для диссидентства? Конечно, мотив предательства, мотив безответной любви к Родине:

Родина, родина! Как я горела!
Родина, родина, как ты смотрела...

Родина, родина, как я кричала!
Родина, родина, как ты молчала...

[<http://bards.ru/archives/part.php?id=18175>]

Очень молодая, почти ровесница своей героини, Долина понимала, чем была судьба поэта-диссидента в тогдашней России.

В наше время нельзя игнорировать такой феномен, как поэзия в Сети. Существуют сайты, посвященные Жанне д'Арк, где можно найти как классику, так и современную поэзию, отчасти любительскую, и даже рок-оперу [<http://jannadark.ru/>; <http://jehanne.unavoce.ru/index.htm>].

В чем причина интереса молодежи к средневековой героине? На какие вопросы нашего времени может ответить ее история? В первую очередь это морально-этические и экзистенциальные проблемы: жертва, подвиг, действие, предательство, страдание и, конечно, смысл жизни. Для Л. Башко Жанна символизирует жертвенность как меру действия. Крестный путь как единственный путь, дарованный нам свыше:

Спасены,
На сожженье преданной,
Всё, как встарь,
Путь один для всех заповеданный —
Крест и даль.

[<http://stihi.ru/2007/09/26/2145>].

С. Брель стихотворение «Жанне» начинается именно с актуальности:

Жанна! Печали наши —
лишь совпадение дат.

Его взгляд на подвиг не совсем обычен: героизм одного человека — это расплата за подлость и малодушие другого («Подвиг — позора плод»). Брель говорит о страданиях как об этической мере жизни и заканчивает строкой: «Боже, подай невзгод!» [<http://jannadark.ru/zhanne-dark-sergej-brel>]. И. Фещенко-Скворцова отвечает ему «Монологом Жанны д'Арк», заключительная строка которого созвучна тональности поэзии Бреля:

Не дай истлеть
Без того костра.

[<http://jannadark.ru/zhanny-dark-irina-skvorcova>]

Если в советский период парадигма святости Жанны не была востребована, то теперь, в связи с религиозным возрождением, ее

диалог с Небом становится важной составляющей образа. В цикле из семи поэм «Жанна Д'Арк» молодая петербургская поэтесса Н. Пискунова, постигая духовный подвиг своей лирической героини, пытается принять идею смерти и мученичества и дает духовный завет своему поколению:

Послушай! Учись жить жадно —
Лови каждый день в силки!
Живи, как жила Жанна —
Огонь опалит виски.
<...>
Живи как она — верой,
Прочувствовав благодать.

[<http://stihi.ru/2002/06/15-679>]

Есть и иной подход к образу Жанны д'Арк. Поэтесса под псевдонимом Ярина делает Жанну героиней новой эпохи и новой страны:

Жанна д'Арк примеряет доспех от кутюр,
В модном салоне остригает под мальчика волосы,
Следит, чтоб не испортился маникюр
И чтоб для вступительной речи остаться в голосе.

Символ нового века — вывески банков.
Зимний каток на Дворцовой площади.
«Взять кредит или выбить парочку грантов
На дело священной войны?» — Жанна д'Арк озабочена.
<...>

Жанна мечтает о месте в сонме святых.
Рвет наброски речей и на картах Таро гадает —
Выпадают все время, вот странность, костры, костры и костры.
Лечащий врач с интересом за ней наблюдает.

[<http://stihi.ru/2008/06/09/635>]

Это яркий пример постмодернизма в современной русской поэзии. Все здесь подвергается насмешке. Сакральный исторический сюжет вывернут наизнанку. Ирония граничит с цинизмом. Героиня Средневековья становится достоянием масскультуры. Но горечь этих строк оставляет место надежде.

Итак, на российской почве сюжет о Жанне д'Арк продолжает развиваться и находит все новые интерпретации. Сегодня ее подвиг вдохновляет осетинских девушек, молодых блогерш из Чечни, как он всегда вдохновлял революционеров и бунтовщиков. Русские поэты не рассматривают Жанну д'Арк как специфически французское яв-

ление культуры, а делают ее своей, вписывая в контекст собственной национальной истории. Так французское «место памяти» — Жанна д'Арк — стало и российским «местом памяти».

Литература

- Клюев, 1908 — *Клюев Н.* В черные дни (Из письма крестьянина) // Наш журнал. 1908. № 1.
- Лавров, 1996 — *Лавров В. М.* Мария Спиридонова: террористка и жертва террора. М., 1996.
- Лосев, 1991 — *Лосев А. Ф.* Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Мандельштам, 1991 — *Мандельштам О.* Четвертая проза. М., 1991.
- Пришвин, 1991 — *Пришвин М. М.* Дневники. [Кн. 1:] 1914—1917. М., 1991.
- Тайманова, 2005 — *Тайманова Т. С.* Жанна д'Арк — героиня Шарля Пеги и Поля Клоделя // Матер. междунар. конф. «Встреча с Клоделем на земле Пушкина: Неизведанная Вселенная». Н. Новгород, 2005.
- Тайманова, 2006 — *Тайманова Т. С.* Жанна д'Арк: мифологема и архетип (Пеги, Клодель, Франс) // Аналитика культурологии. 2006. № 2 (6).
- Юнг К. Г. и др. Человек и его символы. М., 1997.
- Halbwachs, 1997 — *Halbwachs M.* La Mémoire collective. Paris, 1997.
- Krumeich, 1993 — *Krumeich G.* Jeanne d'Arc à travers l'histoire. Paris, 1993.
- Péguy, 1988 — *Péguy Ch.* Œuvres en prose complètes. T. II. Paris, 1988.
- <http://ahmatova.ouc.ru/>
- <http://bards.ru/>
- <http://jannadark.ru/>
- <http://modernlib.ru/>
- <http://feb-web.ru/>
- <http://izvestia.ru/>
- <http://jannadark.ru/>
- <http://jehanne.unavoce.ru/>
- <http://lib.ru/>
- <http://socialist.memo.ru/>
- <http://stihi.ru/>

Е. С. Тихонова,

канд. ф. наук, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (Россия)

Ф. М. Митлянский,

Московский государственный университет (Россия)

Секция «История языка (романо-германский цикл)»

Обстоятельства времени в «Старшей ливонской рифмованной хронике»

В настоящем исследовании система обстоятельств времени в «Старшей Ливонской рифмованной хронике» (СРХ) анализируется и

сопоставляется с системой обстоятельств времени в рыцарском эпосе (на примере «Парцифалья» и «Песни о нибелунгах»).

СРХ представляет собой анонимный рифмованный источник из 12 017 строк, написанный в средневерхненемецкий (свн.) период, в конце XIII в., на одном из средненемецких диалектов. Это один из основных источников по истории крестоносной экспансии в Балтийском регионе в XII—XIII вв.

Рифмованные хроники — характерный и более доступный способ запечатления исторических событий для рыцарей. Их зачитывали вслух во время трапез (не на латыни, а на «народном» языке), а также дарили представителям крупной знати. Возможно, авторы рифмованных хроник рассчитывали, что, услышав историю борьбы христиан против язычников в Пруссии или в Ливонии, описанную на родном языке и в эпической традиции, адресат увидит возможность стяжать славу Парцифалья или Ланселота.

СРХ начинается с краткого пересказа Библии, с сотворения мира, что типично для хроник. Потом читатель переносится в Ливонию, где рыцари свершили много подвигов ради насаждения христианства, а Господь сотворил много чудес. События хроники охватывают около ста лет, и их можно условно группировать по периодам правления магистров, каждый из которых является одним из основных героев повествования. Разделение на главы осуществил издатель Л. Майер [Meyer, 1848]. Погодные записи в СРХ отсутствуют, даты встречаются лишь несколько раз, а события не всегда изложены в хронологическом порядке [Матузова, Назарова, 2002, с. 38].

Традиционно считается, что СРХ представляет собой подражание рыцарскому эпосу, причем автор не отличался большим мастерством, а применял формульные выражения «как готовые языковые штампы», механически нанизывая их друг на друга [Бегунов, Клейненберг, Шаскольский, 1966, с. 201]. Как показал наш анализ, СРХ изобилует признаками как рыцарского эпоса (формульные выражения и собственно формулы, устойчивые эпитеты, авторские комментарии), так и устной речи (фразеологические единицы: парные формулы, пословицы, сравнения).

Поскольку по форме СРХ имитирует рыцарский эпос, мы исходили из предположения, что параллели могут проследиваться также и в темпоральной организации текста.

При анализе мы опирались на классификацию обстоятельств времени современного немецкого языка Е. В. Гульги и Е. И. Шендельс [Гульга, Шендельс, 1969, с. 65 и сл.]. В исследованном отрывке СРХ длиной в 868 строк (стр. 2299—3166; ок. 7% всего текста) насчитывается 50 показателей времени, представленных 87 реализациями. Мы остановились на этом фрагменте, поскольку он освещает период укрепления Немецкого Ордена в Ливонии после включения в его

состав остатков ордена Меченосцев. Кроме того, в данном отрывке рассказывается о правлении одного из самых талантливых магистров Ливонии — Дитриха фон Грюнингена, а также содержится много сведений об образовании литовской государственности [Gudavičius, 1999, 48f.].

В употреблении и в составе обстоятельств времени СРХ демонстрирует как значительное сходство с рыцарским эпосом, так и различия. Так, для всех рассмотренных текстов наиболее характерны одни и те же показатели следования, представленные достаточно однородным набором лексем. Данные отношения являются наиболее типичными для СРХ, что объясняется принадлежностью этого произведения к композиционно-речевой форме «повествование».

Состав показателей предшествования в СРХ и в «Песни», и «Парцифале» также совпадает. Нехарактерной для двух последних текстов является отсылка к предтексту в авторской речи и повествовании: *die ûch von êrsten sint genant* «которые вам названы первыми» (2763), *in den vor genanten walt* «в прежде названный лес» (2941), *als er dâ vor hatte gesehen* «как он видел прежде» (3029), *als man ûch ê las* «как вам прежде читали» (3118). Этот вид отношений, однако, в «Песни» и «Парцифале» также представлен относительно большим числом примеров, что, возможно, объясняется высоким авторитетом прошлого и важностью сообщения о нем, как и необходимостью при чтении вслух освежить в памяти аудитории произошедшие ранее события.

В отличие от «Песни» и «Парцифала», в СРХ показатели кратности действия являются относительно немногочисленной группой, в которой практически полностью отсутствуют столь характерные для вышеуказанных текстов наречия *immer/ie* «всегда» и *nimmer/nie* «никогда», *aber* и *wider* «снова» и конструкции «местоимение *all-* + темпоральное существительное» со значением «снова и снова» (*alle tage*, *alle zît* и т. п.).

Количество показателей локализации и длительности действия и число их реализаций в исследованном отрывке СРХ примерно одинаково. В «Песни» и «Парцифале», напротив, показателей локализации действия почти вдвое больше.

Предложные конструкции с существительным *zît* «время, час» (*zu einen zîten* «однажды», *bî sîner zît* «в своё время»), наиболее часто передающие в СРХ отношения локализации действия, мало распространены в исследованных нами ранее произведениях, где им более свойственна семантика следования. Локализация действия чаще осуществляется в этих текстах с помощью наречий, соотносящих действие с моментом речи как «вчера — сегодня — завтра» (*hiute*, *morgen*, *fruo*).

Длительность действия во всех трех текстах чаще всего характеризуется с помощью темпоральных существительных с количественными числительными в обстоятельственной функции (*anderhalbez jâr* «полтора года», *in vumf wochen mê* «еще пять недель»). Самое частотное в «Песни» и «Парцифале» наречие с семантикой длительности *lange* «долго» и его антоним *nicht langer* «недолго», как и наречия с семантикой «вечности» *immer/ie* «все время» и *nimmer* «никогда», напротив, в СРХ отсутствуют.

Одновременность представлена в СРХ наименьшим количеством примеров — двумя реализациями наречия *bin(nen) des* «в это время», и говорить о каких-либо закономерностях не представляется возможным.

Отдельно следует рассматривать коннекторы *dô/dâ* и *nû* — средства когезии, примыкающие по своей семантике к показателям следования. Согласно Н. Р. Вольфу, *dô* как коннектор находится в начале предложения, непосредственно за ним следует глагол в 3 л. ед. или мн. ч. претерита, или он встречается в формуле ввода прямой речи с глаголом говорения [Wolf, 1978, 36f.]. В словаре М. Лексера также отмечено противительное значение «но» [Lexner, 1992]. В СРХ, однако, *dô* относительно редко расположено в начале строки (14 примеров из 55), чаще оно находится в ее конце (24 примера из 55), который регулярно совпадает с концом предложения или синтагмы, и где *dô* рифмуется, как правило, с наречием *vrô* «рад» (1). В 17 случаях *dô* инкорпорировано в строку и, вероятно, является темпоральным наречием «тогда». Особенно явно темпоральная сема выступает при противопоставлении другим обстоятельствам времени (2):

(1) *von Grûningen brûder Dÿterîch // wart des landes meister dô. // er was gotes êre vrô.* (2336—2338) — Брат Дитрих фон Грунинген стал магистром страны тогда. Он находил радость в почитании Бога.

(2) *Einen brûder man dô kôs, // der wart sider wol bekant* (2332—2333) — Одного брата тогда избрали, который позже стал хорошо известен.

Для *nû* в СРХ характерно употребление в прямой речи (9 примеров из 16) и авторских рассуждениях (6 примеров), в последних — в формульных фразах типа *als ich ûch nû sagen sol* «Как я вам теперь должен сказать» (2344, 2457). По аналогии с *dô* можно предположить, что в тех случаях, когда *nû* инкорпорировано в строку и принадлежит прямой, а не авторской речи (3 примера), оно также является темпоральным наречием, уточняющим время действия:

(3) *gote sal ein êre nû geschehen // vor der selben burge hie.* (2524—2525) — Нам должно теперь восславить Господа перед этим самым замком здесь.

Следует отметить, что, кроме темпоральных обстоятельств, идея времени в исследованном отрывке выражается также с помощью че-

тырех темпоральных существительных — *tac* «день», *morgen* «утро», *ende* «конец», *unzît* «неподходящее, плохое время», — которые в предложении функционируют как подлежащее, предикатив или объект и обозначают наступление какого-либо темпорального отрезка (4) либо «качественное» время (5):

(4) *Dô des strîtes ende was, // dô irbeizeten nider ûf daz gras // die brûdere unde ir helfer dô.* (2663—65) — Когда наступил конец битвы, тут опустились на траву братья и их помощники.

(5) *wer den strît volberten mac // der tût dem vienden bôsen tac.* (3089—3090) — Кто может довести бой до конца, тот устроит врагу тяжелый день.

Входящее в обстоятельственную предложную конструкцию существительное *unzît* само обладает оценочной семой, усиленной с помощью прилагательного *grôz* «большой»:

(6) *der kummentûr und die brûdere sîn // brâchte zû einem strîten// zû grôzen unzîten* (3092—3094) — Комтур и его братья начали сражение в очень неудачное время.

Таким образом, наибольшее число общих черт между СРХ и рыцарским эпосом обнаруживают показатели длительности действия и предшествования. Прочие группы темпоральных показателей обнаруживают параллели или в своем составе, или в количественном соотношении. Особенно следует отметить практически полное отсутствие в проанализированном фрагменте СРХ наречий *ie/immer* и *nie/nimmer* как показателей кратности («всегда — никогда») и длительности («все время — никогда») действия, а также расположение коннектора *dô* в конце строки.

В целом в СРХ прослеживается общая для средневерхненемецкого рыцарского эпоса тенденция распределения обстоятельств времени, что дополнительно подтверждает тезис о стилистическом уподоблении СРХ такого рода памятникам.

Литература

Бегунов, Клейненберг, Шаскольский, 1966 — Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Письменные источники о Ледовом побоище // Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища / Отв. ред. Г. Н. Караев. М.; Л.: Наука, 1966. — С. 169—240.

Гулыга, Шендельс, 1969 — Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М.: Просвещение, 1969.

Матузова, Назарова, 2002 — Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестonosцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. М.: Индрик, 2002.

Gudavičius, 1999 — Gudavičius E. Lietuvos istorija. Vilnius, 1999.

Lexner, 1992 — Lexner M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Mit einer Einleitung von Kurt Gärtner. — Stuttgart, 1992. 3 Bde.

Meyer, 1848 — Meyer L. (Hrsg.) Livländische Reimchronik von Dittlieb von Alnpeke, in das Hochdeutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von L. Meyer. Reval, 1848.

Wolf, 1978 — Wolf N. R. Satzkonnectoren im Neuhochdeutschen und Mittelhochdeutschen. Prolegomena zu einer kontrastiven Textsyntax // Sprachwissenschaft 3 (1978). — S. 16—48.

К. А. Филиппов,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Пленарный доклад,

направление «Романо-германский цикл»

Заметки об эстетике немецкого историко-грамматического дискурса XVIII в.

Истоки современного немецкого научного дискурса следует искать в эпохе, пронизанной просветительскими тенденциями, определявшими общественную, политическую, культурную и научную жизнь европейских государств. Именно эпоха Просвещения, охватившая всю Европу и продолжавшаяся весь XVIII в., знаменует переход от невежества и научной косности к пониманию решающей роли разума и науки в познании природы человека и общества.

М. М. Бахтин, говоря о пространстве и времени в произведениях Гёте, пишет о необходимости исторического подхода к эпохе Просвещения: «При таком подходе XVIII век раскрывается как эпоха могучего пробуждения чувства времени, прежде всего чувства времени в природе и в человеческой жизни. До последней трети века преобладают циклические времена, но и они при всей их ограниченности взрывают плугом времени неподвижный мир предшествующих эпох. И в этой взрыленной циклическими временами почве начинают раскрываться и приметы исторического времени. Противоречия современности, утрачивая свой абсолютный, богом данный, вечный характер, раскрывают в современности историческую разновременность — пережитки прошлого и зачатки, тенденции будущего» [Бахтин, 1979, с. 217].

Эстетические черты историко-грамматического дискурса XVIII в. можно определить только в опоре на документальные свидетельства этого периода. Примечательно, что среди текстов, оказавших наибольшее воздействие на развитие европейской науки, В. Г. Адмони называет тексты, в которых документально зафиксированы достижения в математике и астрономии, а также в филологии и логике [Адмони, 1994, с. 105—106]. Данное наблюдение В. Г. Адмони относится к периоду становления современной западноевропейской науки, которая, по словам автора, «начинает свое мощное поступательное движение,

начиная с XVI в., достигает огромных высот в XVII в. и затем все быстрее и быстрее приводит к невероятным успехам на широчайшем фронте» [Адмони, 1994, с. 106].

Из большого числа образных выражений, именующих немецкое Просвещение, я выберу два самых ярких выражения, которые, на мой взгляд, затрагивают существо обсуждаемой темы: *Aufklärung in Deutschland = Jahrhundert der Vernunft & Jahrhundert des Geschmacks*. Такое обозначение немецкого Просвещения встречается во многих работах немецких авторов, я всего лишь обращаюсь к ним, чтобы не только подчеркнуть общие закономерности развития европейской науки и культуры XVIII в., но и показать своеобразие эстетических взглядов немецких ученых. Иными словами, Просвещение в Германии представляет, с одной стороны, «столетие разума», а с другой стороны, «столетие вкуса». Эти стороны немецкого историко-грамматического дискурса XVIII в. **находятся друг с другом не в альтернативных (взаимоисключающих), а в комплементарных (взаимодополняющих) отношениях.**

Немецкое Просвещение занимает выдающееся место в истории европейской науки и культуры, причем осознание данного факта пришло не сразу. Некоторая ясность в этот вопрос была внесена только в период позднего Просвещения, когда свою позицию по данному вопросу высказали несколько выдающихся немецких представителей науки и культуры. Удивительно, что поводом к полемике о сущности просвещения послужила статья малоизвестного автора, напечатанная в журнале *Berlinische Monatsschrift*.

В декабрьском номере этого ежемесячного журнала за 1783 г. была опубликована статья берлинского пастора Иоганна Фридриха Цёлльнера (**Johann Friedrich Zöllner**), **выступившего против заключения браков гражданскими властями.** Эта статья стала ответом на выступление анонимного автора в сентябрьском номере журнала в пользу института гражданского брака. В интересах государства Цёлльнер выступил на защиту церковного брака и полемизировал с автором и его сторонниками, кроме всего прочего, по поводу того «смятения в умах и сердцах людей», которое вызывает само слово «Просвещение» [Kant u.a., 2006, S. 3].

Это выступление, вероятно, осталось бы незамеченным, если бы не провокационный вопрос, поставленный автором в примечаниях к статье: «Что такое просвещение? На этот вопрос, который почти так же важен, как вопрос: Что такое истина? — вероятно, следовало бы ответить прежде, чем приступать к просвещению! И все же я нигде не смог найти ответа на этот вопрос!» (*Was ist Aufklärung? Diese Frage, die beinahe so wichtig ist, als: Was ist Wahrheit? sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge! Und doch habe ich sie nirgends beantwortet gefunden!*) [Kant u.a., 2006, S. 3].

Этот вопрос, поставленный до той поры никому не известным протестантским пастором в статье о гражданском браке, помещенный к тому же в сноске внизу страницы, имел важные последствия и оказался чрезвычайно плодотворным для истории европейской философии. Ответ современников Цёлльнера не заставил себя долго ждать.

Первым в полемику вступил философ Мозес Мендельсон, поместивший в сентябрьском номере берлинского журнала за 1784 г. сочинение «О вопросе: что значит просвещать?» (*Über die Frage: Was heißt aufklären?*). Для языковедов наиболее важным представляется та часть его ответа, в которой он связывает между собой понятия «просвещение», «культура», «образование» и «язык»: «Язык достигает просвещения благодаря наукам и достигает культуры благодаря общественному обращению, поэзии и красноречию. Благодаря первому фактору (т. е. просвещению. — К. Ф.) он становится более удобным в теоретическом, благодаря второму фактору (т. е. культуре. — К. Ф.) — в практическом использовании. Оба фактора вместе придают языку образованный вид» (*Eine Sprache erlanget Aufklärung durch die Wissenschaften und erlanget Kultur durch gesellschaftlichen Umgang, Poesie und Beredsamkeit. Durch jene wird sie geschickter zu theoretischem, durch diese zu praktischen Gebrauche. Beides zusammen gibt einer Sprache die Bildung*) [Mendelssohn, 2006, S. 4—5].

Следующим оппонентом выступил Иммануил Кант со своим афористичным разъяснением вопроса «Что такое просвещение?» (*Was ist Aufklärung?*). Знаменитый философ сформулировал своеобразный девиз всей эпохи Просвещения: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (*Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung*) [Kant, 2006, S. 9].

Для Канта путь к просвещению предполагал свободу (*Freiheit*) и публичное использование разума (*öffentlicher Gebrauch der Vernunft*). Философ проводил четкую границу между частным и публичным применением разума: «...Применение священником своего разума

перед своими прихожанами есть лишь частное его применение, ибо эти прихожане составляют только домашнее, хотя и большое, собрание людей. И ввиду этого он, как священник, не свободен и не может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение. В качестве же ученого, который через свои произведения говорит с настоящей публикой, а именно с миром, стало быть при публичном применении своего разума, священник располагает неограниченной свободой пользоваться своим разумом и говорить от своего имени» (*Der Gebrauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht, ist bloß ein Privatgebrauch; weil diese immer nur eine häusliche, obzwar noch so große, Versammlung ist; und in Ansehung dessen ist er, als Priester, nicht frei, und darf es auch nicht sein, weil er einen fremden Auftrag ausrichtet. Dagegen als Gelehrter, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der Welt, spricht, mithin der Geistliche im öffentlichen Gebrauche seiner Vernunft, genießt einer uneingeschränkter Freiheit, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu sprechen*) [Kant, 2006, S. 13].

Приведенная выше цитата интересна тем, что Кант дает в ней краткую характеристику научно-исследовательского подхода, характерного для всей эпохи Просвещения. Хотелось бы еще раз подчеркнуть ключевые слова Канта, характеризующие позицию ученого, пытающегося проникнуть в тайны природы и общества: 1) ученый говорит с миром посредством своих произведений, 2) применение разума должно осуществляться публично, 3) в своей деятельности ученый пользуется неограниченной свободой и 4) говорит от своего имени.

Последующие участники полемики дополнили картину о том, что же такое просвещение. Писатель и поэт Христоф Мартин Виланд поставил шесть вопросов о сущности просвещения и сам подробно ответил на них. Он сравнивал просвещение со светом, при котором вещи предстают в истинном облике. На вопрос, что такое просвещение, он ответил: «Это знает любой, кто при помощи пары видящих глаз научился различать, в чем разница между светлым и темным, между светом и тьмой. В темноте либо вообще ничего не видно, либо по крайней мере ясно видно не в такой мере, чтобы предметы можно было правильно опознать и отличить друг от друга: как только вносят свет, вещи предстают в истинном облике» (*Das weiß jedermann, der vermittle eines Paars sehender Augen erkennen gelernt hat, worin der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, Licht und Finsternis besteht. Im Dunkeln sieht man entweder gar nichts oder wenigstens nicht so klar, daß man die Gegenstände recht erkennen und voneinander unterscheiden kann: sobald Licht gebracht wird, klären sich die Sachen auf*) [Wieland, 2006, S. 23]. Немецкий теолог Андреас Рим видел в просвещении потребность человеческого разума (*Aufklärung ist ein Bedürfnis des menschlichen Verstandes*) [Riehm, 2006, S. 29]. Фридрих

Шиллер призывал «наберись смелости стать умнее» (*Erkühne dich, weiser zu sein*). [Schiller, 2006, S. 55].

Приведенные выше мысли были высказаны немецкими просветителями во второй половине XVIII в. Но необходимо заметить, что намного ранее Готфрид Вильгельм Лейбниц подчеркивал: «Мы тем свободнее, чем больше поступаем сообразно рассудку, и тем больше поработены, чем больше поддаемся страстям» [Энциклопедия афоризмов, 2007, с. 7]. (*Wir sind um so freier, je mehr wir der Vernunft gemäß handeln, und um so mehr geknechtet, je mehr wir uns von der Leidenschaft regieren lassen*) [http://www.sprueche-und-zitate.org/html/zitate_leibniz.html].

Теперь обратимся к характеристике второго основания, придающего (наряду с опорой на разум) устойчивость и многообразие всему историко-грамматическому дискурсу XVIII в., а именно к категории вкуса (**Geschmack**). В разное время и в разных городах Германии издаются журналы с примечательными названиями:

- „**Geschmack und Sitten**“ (Göttingen 1752);
- „**Bibliothek für Denker und Männer von Geschmack**“ (Gera 1783—1791);
- **Berlinisches Archiv der Zeit und Ihres Geschmacks** (Berlin 1795—1800);
- „**Amalthea**“. Im Untertitel: „Zeitschrift für Wissenschaft und **Geschmack**“ (Leipzig 1788—1789);
- **Monatsschrift für Deutsche**. Im Untertitel: „Zur Veredelung der Kenntnisse, zur Bildung des **Geschmacks**, und zu froher Unterhaltung“ (Leipzig 1800—1802).

Швейцарский теолог и философ Иоганн Георг Зульцер создает первую энциклопедию на немецком языке, в которой представлены практически все стороны эстетики того времени. В почти 900 словарных статьях автор представляет основные понятия и характерные черты эстетики таких областей, как литература, риторика, изобразительные искусства, архитектура, танец, музыка, сценическое искусство. Иными словами, энциклопедия Зульцера — монументальное произведение эпохи немецкого Просвещения.

Зульцер дает следующее определение категории вкуса: «Вкус в своей основе не что иное, как способность чувствовать прекрасное, точно так же, как разум — способность познавать истинное, совершенное и правильное... Прекрасным называют то, что... нашей силой воображения представляется нам приятным; то, что нравится, даже если не знаешь, что это такое или для чего это служит». (*Der Geschmack ist im Grunde nichts anders, als das Vermögen das Schöne zu empfinden, so wie die Vernunft das Vermögen ist, das Wahre, Vollkommene und Richtige zu erkennen; das sittliche Gefühl, die Fähigkeit das Gute zu fühlen... Man nennet dasjenige Schön, was sich, ohne Rücksicht auf irgend eine andre Beschaffenheit, unsrer Vorstellungskraft auf eine angenehme Weise darstellt;*

was gefällt, wenn man gleich nicht weiß, was es ist, noch wozu es dienen soll) [Sulzer, 1771, S. 461].

Нельзя обойти своим вниманием также философское понимание категории вкуса Кантом. Для меня достаточно двух классических положений немецкого философа, взятых из его работы «Критика способности суждения» (*Kritik der Urtheilskraft*) (1790).

- «Суждение вкуса есть эстетическое суждение» [Кант, 1966, с. 202].
- «Вкус — это способность судить о прекрасном» [Там же].

Из немалого числа выдающихся представителей немецкого Просвещения выберем четыре имени, оказавших, на мой взгляд, самое непосредственное влияние на развитие всей европейской науки и культуры. Это Готфрид-Вильгельм Лейбниц (1646—1716), Христиан Вольф (1679—1754), Иоганн Кристоф Готшед (1700—1766), Иоганн Кристоф Аделунг (1732—1806).

Готфрид-Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — один из самых значительных ученых Европы, философ, математик, юрист, дипломат, «последний универсальный ученый Германии», как называют его в библиографических справочниках.

Важнейшие научные достижения Лейбница: независимо от Ньютона он создал математический анализ — дифференциальное и интегральное исчисление; обосновал комбинаторику как науку. Лейбниц задолго до Зигмунда Фрейда привел доказательства существования подсознания человека. Ему принадлежат многочисленные чисто прикладные проекты (от создания арифмометра до проекта подводной лодки).

Дополнительно следует заметить, что в 2007 г. все эпистолярное творчество Лейбница, содержащее около 15 000 писем, направленных к примерно 1100 адресатам, специальным постановлением ООН было внесено в список Всемирного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.

Христиан Вольф (1679—1754) — одна из наиболее влиятельных фигур в немецкой науке XVIII в. Современники видели в нем идейного продолжателя Готфрида-Вильгельма Лейбница. Стремление подчеркнуть роль разума, логических законов и форм мышления прослеживается в самом названии многих произведений Х. Вольфа, которые начинались словами «Разумные мысли» (*Vernünfftige Gedanken*) (ср. приведенные выше работы Лейбница). Именно Х. Вольф, почетный член Петербургской академии наук (1725), стал научным наставником Ломоносова во время его пребывания в Германии (1736—1740 гг.).

Крупный немецкий писатель и теоретик литературы эпохи Просвещения Иоганн Кристоф Готшед (1700—1766) был признанным последователем Лейбница и Вольфа. Своим преподаванием и литературно-журналистской деятельностью Готшед содействовал развитию не-

мецкой литературы, театра и риторики. Готшед — один из создателей немецкого просветительского классицизма. Его художественное мировоззрение носило рационалистический характер, в поэзии и литературе наибольшее значение он придавал поучительности. Его девизом были ясность, простота, правдоподобие.

Иоганн Кристоф Аделунг (1732—1806) — немецкий филолог, сыгравший значительную роль в унификации немецкого литературного языка. Его труды способствовали становлению в Германии науки о языке. Его главный труд — Грамматико-критический словарь немецкого языка (первое издание 1774—1786 гг.). Значение Аделунга для Германии своеобразным способом отмечено братьями Гримм в их «Словаре немецкого языка»: это единственное имя собственное, зафиксированное в этом выдающемся труде. Ср.: «ADELUNG, m. *vir nobilis*, ahd. adalunc, und gangbarer mansname, der wohlklingende eigennamen eines mannes, der voraus durch sein wörterbuch ein hohes verdienst um unsere sprache sich errungen hat» [*Deutsches Wörterbuch, 1854, S. 178*] («благозвучное имя человека, который благодаря своему словарю заслужил наше глубокое уважение своей заботой о нашем языке»).

Лейбниц одну из своих работ, написанных на немецком языке (*Unvorgreifliche Gedanken, betreffend der Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache*), начинает словами: «Известно, что язык является зеркалом разума и что народы, если они хотят возвысить свой разум, одновременно должны хорошо владеть языком, как показывают примеры греков, римлян и арабов» (*Es ist bekandt, daß die Sprache ein Spiegel des Verstandes, und daß die Völcker, wenn Sie den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben, welches der Griechen, Römer und Araber Beyspiele zeigen*) (цит. по: [Pietsch, 1908, S. 327]). Знаменитая метафора Лейбница «Язык есть зеркало разума» стала ключевой для понимания позиции ученых-просветителей в области языка.

В §57, говоря о главных характерных чертах языка, Лейбниц пишет: «Богатство — это первое и самое необходимое свойство языка, оно состоит в том, чтобы не было недостатка, а, наоборот, было избытке удобных и выразительных слов, служащих для любого случая, с той целью, чтобы все можно было представить точно и реально и одновременно как бы нарисовать живыми красками» (**Reichthum** ist das erste und nöthigste bey einer Sprache und bestehet darin, dass kein Mangel, sondern vielmehr ein **Überfluss** erscheine an bequemen und **nachdrücklichen** Worten, so zu allen Vorfälligkeiten dienlich, damit man alles **kräftig** und eigentlich vorstellen und gleichsam mit lebenden Farben abmahlen könne) (цит. по: [Pietsch, 1908, 343]).

Я хочу обратить ваше внимание на некоторые слова в приведенных выше цитатах, они характеризуют необходимые свойства языка: зеркало разума (*ein Spiegel des Verstandes*), богатство (*Reichthum*), избытке (*Überfluss*), выразительный (*nachdrücklich*), крепкий (*kräftig*).

Лейбниц представил свое понимание знакового характера языка: «Однако при использовании языка особо нужно отметить то, что слова являются знаками не только мыслей, но и вещей и что знаки нам нужны не только для того, чтобы сообщить наше мнение другим, но и помочь самим нашим мыслям» (*Es ist aber bey dem Gebrauch der Sprache auch dieses sonderlich zu betrachten, dass die Worte nicht nur der Gedancken, sondern auch der Dinge Zeichen seyn, und dass wir Zeichen nöthig haben, nicht nur unsere Meynung andern anzudeuten, sondern auch unsern Gedancken selbst zu helfen*) [Pietsch, 1908, S. 328].

В понимании Лейбница, слова — это «разменные монеты» (*Rechen-Pfennige*), «векселя разума» (*Wechsel-Zeddel des Verstandes*), используемые вместо образов и вещей [Pietsch, 1908, S. 329]. При этом слова должны быть «хорошо оформленными, хорошо различимыми, доступными, употребительными, легко произносимыми и приятными» (*wohl gefasset, wohl unterschieden, zulänglich, häufig, leichtfließend und angenehm*) [Pietsch, 1908, S. 329].

Вольф в 1726 г. представил собственное описание своих философских трудов, вышедших на немецком языке (*Ausführliche Nachricht des Autoris von seinen eigenen Schriften / die er in deutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weisheit heraus gegeben*). В этом произведении мы находим много положений, созвучных мыслям Лейбница о роли разума в изучении природы и общества, а также развивающих его концепцию языка.

В 4-й главе этой книги под названием «О свободе философствования, которой пользуется автор» (*Das 4. Capitel. Von der Freyheit zu philosophiren, deren sich der Autor bedienet*) немецкий ученый неоднократно говорит о личной ответственности исследователя за результаты научного поиска. При этом он сначала ссылается на свой собственный опыт, а уже затем формулирует общее правило, содержащее главный смысл научного поиска. Ср.: «В поисках истины я ориентировался на себя, а не на других» (*Ich habe mich in Beurtheilung der Wahrheit nach mir und nicht nach andern gerichtet*) [Wolff, 1733, S. 126—127]. Там же он говорит о причинах, по которым он пользуется немецким языком при написании философских произведений: «Философские тексты на немецком языке я написал на тот случай, чтобы мои слушатели могли бы пользоваться ими на занятиях. Потому что со мной, как и с другими профессорами, случалось так, что мои лекции (речи) конспектировались неправильно, так что часто в них или не было видно никакого смысла, или же часто был смысл, совсем противоположный моему пониманию» (*Die deutsche Schriften von der Welt-Weisheit habe ich hauptsächlich zu dem Ende geschrieben, damit sich meine Zuhörer derselben in den Collegiis bedienen könnten. Denn es gieng mit mir wie andern Professoribus, daß meine Discourse unrecht nachgeschrieben worden, so daß öftters entweder gar kein Verstand herauskam, öftters aber ein Verstand, der meinem Sinne gantz entgegen stund*) [Wolff, 1733, S. 23].

Наконец, в главе 4 Вольф высказывает мысль, достойную включения в энциклопедию знаменитых фраз немецкой эпохи Просвещения: «Разуму нельзя приказать» (*Der Verstand lässet sich nicht befehlen*) [Wolff, 1733, S. 130].

И две цитаты из этого же произведения: ср. «Ведь поскольку немецкий язык не так беден, чтобы заимствовать слова и выражения из других языков, то нет никакой необходимости вводить в него чужие слова и выражения. Я обнаружил, что наш язык много более подходит наукам, чем латинский язык, и что на чистом немецком языке можно делать доклады о том, что на латыни звучит весьма варварски» (*Ja da unsere deutsche Sprache nicht so arm ist, daß sie aus andern Sprachen Wörter und Redens-Arten entlehnen muß; so ist gar keine Noth vorhanden, warum wir fremde Wörter und Redens-Arten darein bringen wollen. Ich habe gefunden, saß unsere Sprache zu Wissenschaften sich viel besser schickt als die Lateinische, uns daß man in der reinen deutschen Sprache vortragen kan, was im Lateinischen sehr barbarisch klinget*) [Wolff, 1733, S. 27].

В § 21 Вольф определяет основную черту своего подхода к преподаванию наук: «Ибо я занимаюсь науками и пытаюсь при помощи ясных понятий сделать слова понятными и с помощью сильных доводов убедить читателя в истине того, о чем я говорю» (*Denn ich handle Wissenschaften ab und suche durch Deutlichkeit der Begriffe die Worte verständlich zu machen, und durch kräftige Gründe den Leser von der Wahrheit dessen, was ich vortrage, zu überzeugen*) [Wolff, 1733, S. 51].

В приведенных цитатах снова ключевыми оказываются слова разум (*Verstand*), понятный (*verständlich*), не бедный (*nicht so arm*), внятность, понятность (*Deutlichkeit*), чистый (*rein*), крепкий (*kräftig*). Отдельного упоминания заслуживает убежденность Вольфа в возможности и необходимости использования родного языка в науке: «Наш язык много более подходит наукам, чем латынь».

Крупный немецкий писатель и теоретик литературы эпохи Просвещения Готшед (1700—1766) был признанным последователем Лейбница и Вольфа. Наиболее значительным трудом в области грамматики считается его книга «*Grundlegung einer deutschen Sprachkunst*», которая вышла в свет в 1748 г. и служила образцом учебника по грамматике многие десятилетия, см., например: [Götttert, 2010, S. 215].

Уже в самом названии учебника Готшед закладывает свое видение немецкой грамматики; ср.: «*Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, nach den Mustern der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abgefasst*». Ориентация писателя на лучшие образцы текстов немецких писателей «прошлого и нынешнего веков» позволяет некоторым авторам назвать позицию Готшеда «просвещенным разумным вариантом старого образца» (*eine aufgeklärt vernünftigen Variante des alten Musters*) [Gottsched, 1752, S. 248].

Готшед стремился к созданию совершенного языка, это видно хотя бы из того, что одна из глав его грамматики называется «*Von der Vollkommenheit einer Sprache überhaupt*». В этом разделе, кроме всего прочего, перечисляются черты, создающие совершенный облик языка. В § 3 говорится: «Насколько богатство и изобилие составляют первую сторону совершенства языка, настолько очевидно, что вторую особенность составляет понятность языка. Потому что язык — это средство, с помощью которого люди выражают свои мысли, и притом с намерением, что они будут понятны другим людям» (*Wie nun der Reichthum und Überfluß die erste Vollkommenheit einer Sprache abgeben: so ist es auch gewiß, daß die Deutlichkeit derselben die zweyte ist. Denn die Sprache ist das Mittel, wodurch man seine Gedanken, und zwar in der Absicht ausdrücket, daß sie von andern verstanden werden sollen*) [Gottsched, 1752, S. 50]. В четвертом параграфе Готшед добавляет еще одно свойство: «Третье свойство языков — это краткость, или выразительность, т. е. способность несколькими словами выразить множество мыслей» (*Die dritte gute Eigenschaft der Sprachen ist die Kürze, oder der Nachdruck; vermöge dessen man, mit wenigen Worten, viele Gedanken entdecken kann*) [Gottsched, 1752, S. 51].

По мнению Л. Айхингера, основу грамматики Готшеда составляет «правильный разумный язык образованных людей» (*die gebildete, ge-regelte Sprache der Vernunft*) [Eichinger, 2011, S. 250]. Ср. высказывание Готшеда: «Грамматика вообще — это обоснованные указания, как следует говорить и писать на языке какого-либо народа, в соответствии с его лучшим диалектом и в согласии с лучшими писателями» (*Eine Sprachkunst überhaupt ist eine gegründete Anweisung, wie man die Sprache eines gewissen Volkes, nach der besten Mundart desselben, und nach der Einstimmung seiner besten Schriftsteller, richtig und zierlich, sowohl reden, als schreiben solle*) [Gottsched, 1752, S. 37].

Взгляды представителя позднего немецкого Просвещения И. К. Аделунга носят явно выраженные черты сходства с грамматическими воззрениями Готшеда. Главный лексикографический труд Аделунга — создание «Грамматико-критического словаря немецкого литературного языка» (*Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart*), работа над которым заняла 12 лет (1774—1786). Во всех произведениях Аделунга, включая его словарь, видны черты просветительских идей XVIII в.

В работе *Umständliches Gebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schule* (1782) Аделунг, обращаясь к школьным учителям, пишет: «Грамматика присуща разумному и научному сообщению в той же степени, что любая другая наука, и обязанность любого учителя грамматики — дать всем понятиям в языке высшую, какую только возможно, степень понятности и разъяснить начала всей явлений, насколько это позволяет природа вещей» (*Die Sprachlehre ist des vernünftigen und wissenschaftlichen Vortrages eben so sehr fähig als*

eine jede andere Lehre, und es ist die Pflicht eines jeden Sprachlehrers, allen Begriffen in der Sprache den höchsten nur möglichen Grad der Deutlichkeit zu geben und die Gründe aller Erscheinungen aufzusuchen, als die Natur der Sache es gestattet) [Adelung, 1782, S. 116].

По словам Л. Айхингера, одного из авторитетных современных немецких исследователей творчества Аделунга, в оценке того, что можно считать хорошим стилем немецкого языка, взгляды Аделунга не намного отличаются от концепции Готшеда. Немецкий автор видит много соответствий между оценками нормативного немецкого языка двумя выдающимися учеными-просветителями. Так, признаки хорошего стиля, упоминаемые Готшедом в своих трудах (*deutlich, artig, ungezwungen, vernünftig, natürlich, edel, wohlgefaßt, ausführlich, wohlgeknüpft, wohlangeheilet*), во многом соответствуют характеристикам, приводимым в своих работах Аделунгом (*Hochdeutsch, Sprachrichtigkeit, Reinigkeit, Klarheit, Deutlichkeit, Angemessenheit, Präzision, Würde, Wohlklang, Einheit*). И только четырем признакам языка в трактовке Аделунга нет соответствия в концепции Готшеда, а именно: *Hochdeutsch, Sprachrichtigkeit, Reinigkeit, Einheit* [Eichinger, 2011, S. 258].

Завершить свой краткий экскурс в историко-грамматический дискурс XVIII в. я хочу следующим рассуждением и примером. При определении эстетических взглядов историко-грамматического дискурса XVIII в. следует учитывать не только основные тенденции, определявшие развитие науки и культуры европейского Просвещения, но и разнообразие концепций, применяемых авторами при решении частных задач. Примером такого совмещения общих принципов и частных способов может служить фрагмент, содержащийся в словарной статье *Das Zeitwort* главного произведения Аделунга. В этом тексте автор называет причину, по которой он предпочитает латинский термин какому-либо немецкому слову: «нелегко найти подходящее немецкое слово, которое выражало бы основное содержание с точностью и вкусом (разрядка моя. — К. Ф.)» (*so wird sich wohl nicht leicht ein schickliches Deutsches Wort ausfindig machen lassen, welches auch nur den Hauptbegriff mit Präcision und Geschmack ausdrückte*) [Adelung, 1801, S. 1681]. Два вышеназванных критерия — точность (т. е. опора на разум) и вкус (т. е. ориентация на личные пристрастия автора) — полностью соответствуют основным понятиям эпохи Просвещения.

Таким образом, главные движущие идеи эпохи Просвещения — опора на разум и свобода творчества — обусловили появление крупных достижений во многих областях науки и культуры. Грамматические концепции Лейбница, Вольфа, Готшеда, Аделунга позволили заложить основы современного немецкого языкознания, которые затем были продолжены трудами братьев Гримм, Вильгельма Гумбольдта и других выдающихся немецких лингвистов.

Литература

Адмони, 1994 — Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. М.: Наука, 1994.

Бахтин, 1979 — Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; Текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; Примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. Изд. 2-е. М.: Искусство, 1979.

Кант, 1966 — Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.

Энциклопедия афоризмов, 2007 — Энциклопедия афоризмов и мыслей великих людей / Сост. А. Семенов. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007.

Adelung, 1808 — Adelung J. Chr. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen- 4. Theil, von Seb — Z. — Wien: Anton Pichler, 1808.

Adelung, 1782 — Adelung J. Chr. Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. 1. Band. — Leipzig, 1782.

Deutsches Wörterbuch, 1854 — Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Erster Band. Leipzig, 1854.

Eichiger L. M. Vom Glück, Regeln zu befolgen — Adelung im Stil des 18. Jahrhunderts // Aufklärer, Sprachgelehrter, Didaktiker: Johann Christoph Adelung (1732—1806) / Hrsg. von H. Kämper, A. Klose, O. Vietze. — Tübingen; Günter Narr Verlag, 2011. S. 247—270.

Göttert, 2010 — Göttert K.-H. Deutsch. Biografie einer Sprache: 4. Aufl. Berlin: Ullstein, 2010.

Gottsched, 1752 — Gottsched J. Chr. Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, nach den Mustern der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abgefasst, und bey dieser dritten Auflage merklich vermehret von Johann Christoph Gottscheden. Leipzig, 1752.

Kant, 2006 — Kant I. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung! // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 8—17.

Kant u. a., 2006 — Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006.

Mendelssohn, 2006 — Mendelssohn M. Über die Frage: Was heißt aufklären? // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 3—7.

Pietsch, 1908 — Pietsch P. Leibniz und die deutsche Sprache // Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. — 4. Reihe. 1908. Heft 30. S. 313—356.

Riehm, 2006 — Riehm A. Aufklärung ist ein Bedürfnis des Menschlichen Verstandes // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 28—36.

Schiewe, 2007 — Schiewe J. Zum Wandel des Wissenschaftsdiskurses in Deutschland // Reden und Schreiben in der Wissenschaft / Hrsg. von P. Auer und H. Baßler. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2007. S. 31—49.

Schiller, 2006 — Schiller Fr. Über die Grenzen der Vernunft // // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklä-

rung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 53—56.

Sulzer, 1771 — Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der Schönen Künste. Erster Theil. Leipzig. 1771.

Wieland, 2006 — Wieland Chr. M. Sechs Fragen zur Aufklärung // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 23—27.

Wolff, 1733 — Wolff Chr. Christian Wolffens / Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften / die er in deutscher Sprache von verschiedenen Theilen der Welt-Weisheit heraus gegeben. 2. Ausgabe. Frankerfurt am Mayn, 1733.

Е. А. Филонов,

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Секция «Поэтика классического и неклассического нарратива»

Повествование Н. В. Гоголя: история и перспективы изучения

Теория повествования — на сегодняшний день одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей литературной теории. Ее категориальный аппарат разрабатывается и в практическом анализе конкретных текстов, и в теоретической полемике. Логика развития любого научно-теоретического направления требует в определенные моменты «подведения итогов» и создания неких промежуточных обобщений, которые могли бы стать отправной точкой его движения на следующем этапе.

При этом важным представляется вопрос о форме такого обобщения. Среди подобных работ, посвященных проблеме повествования, можно назвать, например, обобщение по типу «энциклопедии» (такова книга Н. А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литературе XIX—XX веков» [Кожевникова, 1994]); обобщение по типу «учебника» (такова «Нарратология» В. Шмида [Шмид, 2003]).

В данной статье предлагается опыт теоретического обобщения несколько иного рода: эволюция принципов научного описания художественного нарратива прослеживается на примере истории изучения повествовательного творчества конкретного писателя.

В исследовательской литературе, посвященной творчеству Н. В. Гоголя, нарратологическая проблематика традиционно занимает одно из центральных мест. Постоянное внимание исследователей к характерным для прозы Гоголя формам и законам повествования — от пионерских работ формальной школы до современных нарратологических исследований — дает основания к тому, чтобы сделать традицию изучения гоголевского нарратива предметом рефлексии.

Основа для научного описания повествования Гоголя (как, собственно, и основа современной теории прозы) была создана в работах формальной школы. Особая востребованность Гоголя в культуре русского модерна сказалась в появлении целого ряда посвященных его творчеству и личности критико-эссеистических опытов [см.: Сугай, 1987]. На этом фоне работы формалистов могут быть восприняты как декларация научно-аналитического подхода (в противоположность критическому) к литературному тексту. В связи с принципиальной для исследователей формальной школы концентрацией внимания на изучении поэтической структуры текста вопрос об организации гоголевского повествования впервые предстал в их работах как научная проблема [см.: Эйхенбаум, 1969; Слонимский, 1923].

Б. М. Эйхенбаум в классической работе «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (1918 г.) определяет гоголевский текст как *воспроизводящий* сказ. Главная особенность этой формы — предельная семантическая нагруженность элементов повествовательного и стилистического уровней текста по сравнению с фабулой. Отбор и группировка повествовательных и стилистических приемов подчинены установке на создание иллюзии устного произнесения (исполнения) текста. Это и есть источник смыслового осложнения текста на уровне наррации. Такое представление о поэтике нарратива в разной степени распространено Б. М. Эйхенбаумом и на другие тексты Гоголя.

В 1925 г. вышла статья В. В. Виноградова «Гоголь и Натуральная школа» [Виноградов, 1976, с. 191—227], в которой сформулированы два актуальных направления изучения гоголевского стиля (предмет своего исследования В. В. Виноградов обозначает именно как стиль — см. об этом далее). Первое из них связано с вопросом о *композиционных функциях стилистических приемов*. Эта формулировка возникает в полемике с исследователями, «каталогизировавшими» стилистические приемы Гоголя, извлекая их из контекста. Отрицая такой подход, В. В. Виноградов, кажется, солидаризируется с формалистами в убеждении, что смысл приема может быть понят только как цель его использования в произведении. Второе направление исследования, обозначенное В. В. Виноградовым как выяснение «динамики гоголевского стиля» [Виноградов, 1976, с. 192], рождается уже в полемике с формальной поэтикой. Критику В. В. Виноградова вызывает ее неисторичность.

Обозначив две эти исследовательские установки, В. В. Виноградов реализует их в детальном анализе стилистической системы Гоголя. Характеризуя гоголевский стиль как «оркестр голосов», постоянно чередующихся, В. В. Виноградов обозначает его универсальную особенность — неоднородность, обусловленную смешением в повествовании нескольких стилистических линий, затем прослеживает, как модифицируются основные компоненты гоголевского стиля на про-

тяжении всего творчества писателя и какой логике подчинены их изменения.

Исследование В. В. Виноградова охватывает весь творческий путь Гоголя — от «Ганца Кюхельгартена» до «Выбранных мест...», представляя его как эволюцию единой поэтической системы. В этом смысле следование установке на «выяснение динамики гоголевского стиля» очевидно. Работа В. В. Виноградова над разрешением второй задачи, обозначенной им как описание «композиционных функций стилистических приемов», требует определенного комментария.

Координаты своего методологического подхода В. В. Виноградов устанавливает, используя три понятия: *стиль*, *композиция* и *сюжет*. Объем и содержание этих понятий в данном случае весьма специфичны, тем важнее попытаться соотнести их с терминами, существующими в сегодняшнем литературоведческом дискурсе для обозначения тех же или близких категорий¹. Та сфера, которую В. В. Виноградов обозначает как *сюжет*, находится, условно говоря, на пересечении мотивики и стиля (в лингвистическом понимании): понятие *сюжет* связывается у В. В. Виноградова с мотивной структурой произведения, а также со специфически трактуемой категорией символа. Термином *композиция* обозначается совокупность синтагматических отношений элементов на разных уровнях текста.

Изучение *стиля* художественного произведения тесно связывается В. В. Виноградовым с задачами описания его сюжета (символики) и композиции. При таком подходе в число объектов анализа попадает не только художественный стиль (в современном лингвистическом понимании), но и уровень наррации.

Характерное для работ В. В. Виноградова понимание нарративности связано с представлением о наличии в повествовательном тексте (в отличие от драматического) некоего опосредующего сознания, преломляющего изображаемый мир в повествовании.

Анализ повествовательной структуры текста при таком подходе возможен как описание субъектной организации повествования, и элементы такого описания мы находим в работе В. В. Виноградова. Если же попытаться определить, к какой из обозначенных им сфер (сюжет/композиция) он относит эту проблематику, станет очевидным, что вопрос о повествовательном субъекте появляется в его исследовательской системе именно на пересечении синтактики и семантики — как одна из граней проблемы сюжетных и композиционных функций стилистических приемов.

Таким образом, работа В. В. Виноградова открывает два направления исследования гоголевского повествования. Это, во-первых,

¹ Речь идет, конечно, не о прямом отождествлении, но лишь о возможности соотнесения некоторых аналитических категорий В. В. Виноградова с категориями современной поэтики.

рассмотрение его как эволюционирующей системы; во-вторых, разработка проблемы взаимодействия сюжетного и нарративного уровней текстовой организации. Вторая задача реализуется В. В. Виноградовым в соответствии с таким пониманием нарративности, в рамках которого основной структурной особенностью повествовательного текста признается наличие опосредующей инстанции — повествователя¹.

Книга Г. А. Гуковского «Реализм Гоголя» [Гуковский, 1959], создававшаяся во второй половине 1940-х гг., затрагивает широкий круг проблем истории и теории литературы, для нашего же рассмотрения интересна содержащаяся в ней целостная и вполне законченная концепция гоголевского повествования.

В своем описании нарративной системы Гоголя Г. А. Гуковский исходит, по сути, из выдвинутого В. В. Виноградовым тезиса об основополагающем значении для гоголевского повествования его неоднородности. Принимая это положение за отправную точку, он рассматривает повествование Гоголя в контексте эволюции всей художественной системы писателя.

Говоря о теоретическом значении работы Г. А. Гуковского, необходимо отметить два момента. Во-первых, разрабатывая проблему субъектной организации гоголевского повествования, поставленную В. В. Виноградовым, Г. А. Гуковский подходит к анализу нарративных уровней текста и их взаимодействия. Во-вторых, в рассматриваемой работе начинает оформляться проблема читателя как вопрос, попадающий в сферу нарратологической проблематики.

Рассматривая повествовательную организацию «Вечеров на хуторе...», «Старосветских помещиков», «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и др., Г. А. Гуковский описывает такую ситуацию, при которой рассказчик одновременно изображает — и изображается, оценивает — и оценивается. Таким образом, описываются фактически два уровня повествовательной организации текста — план рассказчика (и его адресата — слушателя или наивного читателя) и план, который, пользуясь сегодняшней терминологией, можно обозначить как уровень абстрактного автора и имплицитного читателя. Именно на уровне абстрактного автора возникает сатирическая установка в тексте, где рассказчик-«пошляк» с восторгом описывает «пошлую» действительность.

Такой подход к анализу повествовательной структуры текста, разработка которого применительно к гоголевскому творчеству начата Г. А. Гуковским, оказался очень продуктивным и породил в гоголе-

¹ Сводить значение анализа В. В. Виноградова целиком к описанию субъектной организации нарратива было бы большим упрощением — здесь же важно остановиться главным образом на тех методологических установках В. В. Виноградова, которые получили дальнейшее развитие в истории изучения гоголевского повествования.

ведении целую традицию. Проблеме взаимодействия нарративных уровней в гоголевском повествовании посвящены, в частности, отдельные главы коллективной монографии «Поэтика сказа» [Поэтика сказа, 1978] и книги В. Ш. Кривоноса «Проблема читателя в творчестве Гоголя» [Кривонос, 1981]. Выделяя в гоголевском повествовании два коммуникативных плана («рассказчик — слушатель» и «автор — читатель») и прослеживая, как эти особенности нарративной организации влияют на семантическую структуру текста, авторы этих работ следуют, конечно, не только методологическим установкам Г. А. Гуковского. Здесь актуализируется и разработанная М. М. Бахтиным концепция сказа, в рамках которой установка на изображение чужого сознания понимается как центральный сказовый принцип [Бахтин, 1979а, с. 220—223].

Следующий этап изучения гоголевского повествования связан с разработкой нового понимания нарративности, которое В. Шмид обозначает как структуралистское (в противоположность классическому) [Шмид, 2003, с. 13]. Центральной нарратологической категорией в рамках такого подхода признается категория события.

В работах В. М. Марковича на новом теоретическом уровне был поставлен впервые обозначенный еще В. В. Виноградовым вопрос о сюжетных функциях повествовательных приемов (понятие сюжета связывается теперь не с мотивикой и символикой, но как раз с событийностью). Наиболее полно и детально В. М. Марковичем описан нарратив Петербургских повестей [Маркович, 1989]: неоднородность повествования возникает здесь как чередование двух установок — на книжно-письменную и на устно-разговорную речь, а также как постоянное изменение дистанции между повествователем и изображаемым миром, повествователем и читателем. Эти особенности гоголевского повествования отмечались и другими исследователями. Новизна же подхода состоит в том, что эти принципы нарративной организации Петербургских повестей получают интерпретацию с точки зрения их влияния на событийную структуру текста — на уровне повествуемого мира и на коммуникативном уровне (уровне абстрактного автора и имплицитного читателя).

В плане изображаемого неустойчивость позиции повествователя работает на создание мира, в котором естественные законы природы деформируются, в котором царит хаос, а следовательно, мира, в котором событийный статус любого происшествия весьма зыбок. На коммуникативном уровне действует стратегия, направленная на то, чтобы «втянуть» читателя в организованный таким образом мир: позиция повествователя остается неустойчивой на протяжении всего текста, стало быть, и читатель не может занять определенной позиции по отношению к повествуемому — следствием этого становится то, что утверждаемая текстом двойственность, противоречивость человека и мира воспринимается читателем не как некий взгляд на

действительность, сообщаемый повествователем, — с которым читатель может согласиться или не согласиться — но как имманентное свойство самой действительности (не только художественной, но и его собственной).

Таким образом, В. М. Маркович идет по пути, изначально намеченному В. В. Виноградовым, — по пути выяснения сюжетно-композиционных функций повествовательных приемов. Но эту исследовательскую установку он обогащает новым пониманием нарративности: в круг вопросов, рассматриваемых при анализе повествования, попадает не только проблема субъектной организации текста, но и проблема его событийной организации. Причем событийность как свойство повествовательного текста рассматривается на двух уровнях: как событие в повествуемом мире и как событие повествования. В первом случае актуализируется предложенная Ю. М. Лотманом концепция события как «пересечения границы семантического поля» [Лотман, 2005, с. 224], во втором случае — концепция коммуникативного события, разрабатывавшаяся М. М. Бахтиным [Бахтин, 1979б].

Последующая систематическая разработка такого подхода на материале гоголевского творчества связана с именами М. Дрозды, который осуществил последовательный анализ повествовательной структуры «Мертвых душ», отвечающий перечисленным методологическим установкам [Дрозда, 1994], и С. В. Овечкина, которому принадлежит соответствующее исследование трех циклов гоголевских повестей [Овечкин, 2011].

Так, М. Дрозда рассматривает нарратив «Мертвых душ» в аспекте взаимодействия в нем двух тенденций. Одна из них — это тенденция к сопоставлению текста с внелитературной реальностью. Она выражена таким обликом повествователя, для которого характерно ограниченное знание (его горизонт соотносится с горизонтами героев; время рассказа соответствует времени действия и т. д. и т. п.). Другая — тенденция к экспликации фикциональной природы текста. Внимание здесь заострено на его поэтической структуре: здесь появляется всезнающий повествователь, функционирует ряд приемов, обнажающих семантическую структуру текста. Напряжением, возникающим между двумя этими тенденциями, создается особая коммуникативная установка: это «борьба постоянно ощущаемой похожести текста на практический коммуникат с одинаково постоянным отрицанием ее» [Дрозда, 1994, с. 379].

В работе С. В. Овечкина «Повести Гоголя: принципы нарратива» дается последовательное систематическое описание нарратива гоголевских повестей. Неоднородность гоголевского повествования понимается автором (вслед за В. В. Виноградовым) как его конститутивная особенность. Эта особенность описывается и интерпретируется в монографии с точки зрения ее сюжетных функций, под которы-

ми понимается, во-первых, влияние ее на выстраивание события в повествуемом мире, во-вторых, на выстраивание события коммуникации — т. е. конечной исследовательской целью С. В. Овечкина становится описание коммуникативных стратегий нарратива гоголевских повестей. Так, для повествования «Вечеров на хуторе...» центральное значение имеет динамика «сказовое — книжное»: вторжение книжного элемента в сказ характерного рассказчика может в определенных ситуациях восприниматься как событийно значимое расширение горизонта текста. Для нарратива повестей «Миргорода» такое значение получает динамика, создаваемая совмещением в границах одного текста повествовательных стратегий, характерных для разных жанровых схем и традиций. Для Петербургских повестей значимой оказывается игра с компетенцией повествователя (ее результатом становится такая герменевтическая ситуация, при которой наррация деконструирует историю) [Овечкин, 2011].

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно полное и подробное описание гоголевского повествования, ориентированное на выяснение сюжетных функций повествовательных приемов (для гоголевских текстов центральным таким приемом-особенностью является неоднородность нарратива).

Какие же лакуны остаются в изучении гоголевского повествования в настоящий момент?

Помимо выяснения сюжетных и композиционных функций стилистических и повествовательных приемов, В. В. Виноградовым было намечено еще одно направление анализа, обозначенное им как выяснение «динамики гоголевского стиля» [Виноградов, 1976, с. 192]. Этот путь и представляется актуальным до сих пор. В монографических работах и работах, посвященных отдельным произведениям Гоголя, движение повествования представлено не как эволюционный процесс, руководимый некоей единой логикой, но как ряд синхронных срезов. Задачи же описания эволюции повествования требуют выявления и описания логики изменений на каждом этапе движения системы, описания природы изменений и тех процессов, которые их подготавливают.

Логика развития рассмотренной традиции изучения гоголевского повествования указывает пути разрешения этих задач.

Почти все произведения Гоголя объединялись автором в некие крупные межтекстовые единства: «Вечера на хуторе» — новеллистический цикл, «Миргород» — сборник, Петербургские повести — рецептивный цикл, возникший в рамках одного тома собрания сочинений, составленного самим автором, книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» пока трудно соотносить с каким-либо из традиционных жанров, но и она является неким сверхтекстовым единством. Такие

сложные структуры разных типов последовательно «сменялись» в гоголевском творчестве одна другой [см. Шрага, 2009].

Представляется возможным применить систему методологических установок, сложившуюся в работах В. М. Марковича, В. Шмида, М. Дрозды и др., к анализу этих межтекстовых единств, т. е. подойти к описанию взаимодействия нарративного и сюжетного уровней в масштабах сверхжанровой структуры — а не в рамках одного текста, как это уж делалось. Исследовательская задача при таком подходе может быть сформулирована следующим образом: проследить, как та или иная динамика на уровне наррации и ее презентации влияет на выстраивание «макрособытия», «макросюжета» (возникающего на уровне цикла, сборника и т. д.) и на выстраивание коммуникативного события (т. е. на выстраивание коммуникативных стратегий нарратива в масштабах межтекстового единства)¹.

Литература

Бахтин, 1979а — Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979.

Бахтин, 1979б — Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

Виноградов, 1976 — Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976.

Гуковский, 1959 — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.

Дрозда, 1994 — Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы. // Russian Literature. Amsterdam, 1994. Vol. 35. № 3/4.

Кожевникова, 1994 — Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX веков. М.: Институт русского языка РАН, 1994.

Кривонос, 1981 — Кривонос В. Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981.

Лотман, 2005 — Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство—СПб., 2005.

Маркович, 1989 — Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л.: Художественная литература, 1989.

Овечкин, 2011 — Овечкин С. В. Повести Гоголя. Принципы нарратива // Проза Н. В. Гоголя. Поэтика нарратива. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 7—157.

Поэтика сказа, 1978 — Муценко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978.

Слонимский, 1923 — Слонимский А. Л. Техника комического у Гоголя. Пг.: Academia, 1923.

Сугай, 1987 — Сугай Л. А. Гоголь в русской критике конца XIX — начала XX веков: автореф. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1987.

Филонов, 2011 — Филонов Е. А. Неоднородность повествования в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: сюжет цикла // Проза Н. В. Гоголя. Поэтика нарратива. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 158—182.

Шмид, 2003 — Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.

¹ Применительно к «Вечерам на хуторе...» такая работа уже проделана [см. Филонов, 2011].

Шрага, 2009 — Шрага Е. А. Прозаическая циклизация и ее роль в русском литературном процессе 1820—30-х гг. Дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2009.

Эйхенбаум, 1969 — Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л.: Художественная литература, 1969. С. 306—326.

С. Л. Фокин,

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (Россия)

Секция «История зарубежных литератур.
Зверь и человек в западноевропейских и американских
литературах»

«Собаки» Шарля Бодлера (предварительные замечания)

Этот опыт толкования мне хотелось бы представить в виде развернутого, сложносоставного комментария, захватывающего несколько уровней текста и контекста заключительной поэмы последней книги Шарля Бодлера (1821—1867) «Сплин Парижа» (1868). Таких уровней можно выделить по меньшей мере шесть. Они образуют некую иерархию и, как в случае с любым законченным текстом, приобретают полноту смысла лишь в литературной целостности, разяснить которую призван этот этюд. При этом я не ставлю своей задачей дать полный реальный комментарий к поэме, элементы которого можно найти в издании «Плеяда» [Baudelaire, 1975, p. 1350—1353] или в недавнем русском сборнике прозы Бодлера, подготовленном М. Ясновым и Е. Баевской [Бодлер, 2011, с. 222—223]. Собственно, мои размышления призваны дополнить существующие комментарии и, надеюсь, позволят восполнить некоторые смысловые упущения, допущенные комментаторами.

С моей точки зрения, в поэме «Добрые собаки» обнаруживаются шесть существенных смысловых элементов, и все они, как один, замыкаются на проблему жанра, т. е. на литературную форму произведения. Оговорюсь сразу, что я выношу за рамки этого этюда достаточно сложный историко-литературный вопрос о том, является ли Бодлер основоположником жанра поэмы в прозе. Тем не менее замечу, что если первопроходцем на путях обращения к опытам поэтической прозы его действительно назвать нельзя, то создателем по-настоящему новой, современной, необыкновенно актуальной поэтической формы его признать все равно придется, тем более что именно она была остро востребована в последующем литературном становлении, что особенно заметно в плане гротескного реализма и поэтики черного юмора у Жарри и сюрреалистов [Бахтин, 2008].

Прежде всего, важно то, что сам Бодлер сознает себя создателем новой литературной формы, о чем свидетельствует в первую очередь необычайно двусмысленное и абсолютно фарсовое посвящение задуманной книги Арсену Уссе (1815—1896), законченному литературному парвеню и вертопраху, принадлежавшему, правда, к сильным мира французской литературы того времени, а также гораздо более серьезное, буквально исповедальное упоминание в этом же посвящении Алоизиуса Бертрана (1807—1841), автора знаменитого «Гаспара из Тьмы» (1842), книги талантливых средневековых стилизаций, которую следует рассматривать в виде гораздо более действенной литературной модели «Сплина Парижа», нежели легкомысленные писания Уссе. Не что иное, как ясное сознание истории и небывалой новизны жанра, подтверждает, что Бодлер со знанием дела создает новую поэтическую форму, экспериментируя с элементами литературной традиции и прикладывая вновь созданное, с одной стороны, к осмыслению совершенно новой социально-политической реальности Франции середины века, тогда как с другой — к абсолютно оригинальному психологическому типу литературной личности, которую он вырабатывает в себе в нескончаемых борениях и заигрываниях с литературным парижским бомондом. Это сознание традиции и новизны являет себя как в программном посвящении, так и в отдельных моментах метатекста, равно как в отдельных поэтических миниатюрах самой книги, где поэт открыто или скрыто играет с жанровыми моделями своих поэм. Словом, одна из главных филологических проблем «Сплина Парижа» не столько в том, чтобы установить действительные, а не мнимые литературные источники жанра, ибо зачастую в тексте присутствуют как первые, так и вторые, сколько в том, чтобы понять, что причудливая, замысловатая, почти барочная поэтика последней книги Бодлера диктуется *этикой* поэта и что только через поиск единства поэтического и этического можно попытаться представить толкование «Малых поэм в прозе».

Как уже говорилось, мне представляется, что единство поэмы «Добрые собаки» сказывается на шести поэтических уровнях, из которых, собственно, и складывается форма этой поэмы Бодлера. Оговорюсь, что целиком эта шестиуровневая конструкция задействована далеко не во всех поэмах «Сплина Парижа», однако по отдельности выделенные уровни дают о себе знать во всех текстах книги. Важно также сразу указать, что эта новая поэтическая форма сознательно противопоставляется поэтике «Цветов Зла», так что всю книгу «Сплин Парижа» необходимо воспринимать как своего рода «пандан» или даже строго параллельный негативный дублет первого поэтического произведения, который включает в себя даже опыты прямого перевода отдельных стихотворений «Цветов Зла» в поэтической прозе. Чуть утрируя, можно сказать, что поэт кошек и котов, славу которого снискал себе Бодлер еще при жизни, превращается

в «Сплине Парижа» в поэта собак или даже в поэта-собаку. Таков в голословном виде главный тезис этого этюда, который я попытаюсь в дальнейшем обосновать

Утверждая эстетический и тематический параллелизм «Цветов Зла» и «Сплина Парижа», необходимо сказать несколько слов о русской традиции восприятия последней книги поэта: в этом отношении нам следует ясно сознавать, что общепринятый перевод названия книги «Парижский сплин» кричаще противоречит той почти «геометрической» симметрии замысла, которой руководствовался поэт в работе над этими поэмами. Иными словами, как нелепо в отношении первой книги Бодлера говорить по-русски о «злых цветах», поскольку «цветы» суть не что иное, как язык, знаки, письмена, иероглифы или символы фигуры «Зла», которая, в свою очередь, отличается подчеркнуто метафизическими и теологическими характеристиками, так несообразно говорить о «парижском сплине», поскольку в книге Бодлера речь идет строго о Париже как имени существительном, о Париже как сущности и субстанции, о Париже как реальном городе, имя которого графически в названии второй книги соответствует понятию Зла, вынесенному в заглавие первой книги. Мы должны сознавать, что место абстрактной фигуры Зла во второй книге занимает именно конкретный Париж, тогда как Сплин из одного из элементов Зла, каким он был в первой книге, превращается в особый психофизический язык, на котором говорит большой современный город и который осваивает по ходу дела поэт, существующий там в абсолютном одиночестве среди себе подобных, купаясь в «человеческом множестве». В свете этих замечаний наглядно обнаруживается нелепость традиционного русского перевода заглавия поэмы как «Хорошие собаки»: в «пиесе» Бодлера речь идет не о детском вопросе, что такое хорошо и что такое плохо, а о философском противопоставлении «Зла» и «Добра», речь идет именно о «добрых собаках» в противоположность «злым»: «Осторожно, злая собака!»

Итак, следует полагать, что перевороту во взгляде на предмет поэтического осмысления — реальный Париж вместо метафизического Зла, экзальтированным возвеличиванием которого грешила первая книга, — строго соответствовал переход к поэтической прозе, такты и бестактность, ходы и выходки которой были не в пример более созвучными гулам, крикам и перебранкам большого города, нежели формы классического сонета или александрийского стиха. Словом, какофоническая аритмия «Малых поэм в прозе» была призвана в мыслях поэта передать пульс, биение сердца, урчание живота и судороги чресл современного большого города, о чем он сам говорил в упоминавшемся посвящении, мечтая о прозе «поэтической, музыкальной, без ритма и без рифмы, достаточно гибкой и довольно отрывистой для того, чтобы соответствовать лирическим движениям

души, волнениям грезы, перепадам сознания». И Бодлер сразу подчеркивал: «Именно из продолжительного знакомства с громадными городами, из перекрестья их несчетных отношений рождается этот навязчивый идеал» [Baudelaire, 1975, p. 275—276].

Вот почему необходимо также заметить, заканчивая это отступление о сложившейся традиции перевода, что, как несообразно замыслу поэта русское название «парижский сплин», так неверно переводить второе название книги «Стихотворения в прозе». Не говоря уже том, что громоздкое русское словосочетание бросает на книгу французского поэта совершенно бесполезную тень И. С. Тургенева, в нем размывается жесткость оксюморонной конструкции, избранной Бодлером для определения формы своих опытов: *poèmes en prose*. Более того, переводить русским словом «стихотворения» то, что на французском языке емко называется «роэме», филологически некорректно. Ибо именно против стиха, «*vers*», против парной рифмы, против классической версификации Бодлер выдвигает жанр поэмы в прозе: в «Сплине Парижа» работает не поэтика стихотворения, не эстетика стихосложения, не культ метра, а новая этика поэзии, где само слово «поэма» обозначает не столько определенный литературный жанр, сколько формулу новой поэтичности, где поэтика произведения неотделима от этики поэта. «Поэма» здесь — не столько литературная форма, сколько необходимое условие формирования литературного высказывания, главной целью которого является не красота, не безобразие, не «падаль» или «флакон», а принуждение поэзии к мысли о настоящем. Условие необходимое, но недостаточное — вот почему мысль о настоящем нуждается в гибкой, изворотливой, живой, мускулистой прозе, которая была бы под стать своему предмету — характерным типам и характерным топосам большого города.

И последнее замечание в отношении второго названия «*Petits poèmes en prose*»: с моей точки зрения, прилагательное «малые», которое в русских переводах зачастую просто опускается, имеет крайне существенное, хотя и двойственное значение, в общем усиливающее оксюморонный, почти шутовской, характер названия. Действительно, во французской словесности, как, впрочем, и в русской, жанр «роэме» традиционно предназначен для воспевания великих дел, великих людей, великих страстей. Определение «малый» с ходу сбивает настрой на всякую величественность, собственно это определение задает одновременно и формальные, и содержательные характеристики текстов Бодлера, первые читатели которых буквально поражались тому, насколько «жестокими», «колкими» буквально «режущими» по живому были эти тексты. Двойственность определения «малые» сказывается в том, что оно относится не только и даже не столько к размеру формы, поскольку поэмы, из которых состоит книга, крайне различны по объему — от нескольких строчек знаменитого «Чужака» до нескольких страниц пьесы «Добрые собаки», которой завершается

книга. Определение «малые» относится также к самому предмету поэзии: речь идет о своеобразной поэзии «мелочей», о поэзии «малых дел» и «мелких забот» «маленького человека» в большом городе, словом, речь идет о подлинной прозе жизни. Очевидно, впрочем, что это нарочитое мелкотемье не препятствует, а благоприятствует тому, что в стихии этого «анекдотического» или «бурлескного» «реализма» «Малых поэм в прозе» закипают нешуточные страсти и разгораются пылкие метафизические прения об истинном предназначении искусства и человека.

Итак, для начала представим эти шесть уровней поэмы «Добрые собаки», используя для этого по возможности сжатые формулы и для наглядности противопоставляя их соответствующим элементам в «Цветах Зла»: во-первых, речь идет о поэтике имени собственного в противовес мифопоэтике, когда имена реальных людей, литературных друзей или недругов, культурных кумиров автора или идолов околотературной толпы выполняют те же поэтические задачи, которые решали в первой книге фигуры Каина, Авеля, Икара или святого Петра; во-вторых, речь идет о поэтике конкретного, реального, городского топоса в противовес искусству расплывчатых, томных и воздушных интерьеров; в-третьих, речь идет преимущественно о поэтике сюжетной, городской сценки, уличного происшествия или скверного анекдота в противовес искусству изысканной поэтической композиции, сосредоточенной там, «где все — лад и красота, роскошь и срамота»; в-четвертых, речь идет о поэтике новой лиричности, парадоксальной музыкальности, складывающейся из ритмичных повторов и диссонансных переключек, в противовес искусству рифмы, эстетике стихосложения и технике метра; в-пятых, речь идет о депозитизации самой лексики, о поиске живого, крепкого слова в лучших раблезианских традициях, явно противоречивших утонченной поэтике «эмалей и камней», под знак которой Бодлер предупредительно размещал свою первую книгу, чем, как известно, изрядно перепугал мэтра Готье; в-шестых, наконец, речь идет о разработке нового типа поэтической субъективности, различные фигуры которой вовсе не дорожат высоким званием поэта, коим случалось злоупотреблять автору «Цветов Зла»: в «Сплине Парижа» в фигурах поэта-повествователя мы гораздо чаще угадываем полунищего бродягу, а не беспечного поэта-фланера, видим не сомнительного героя альковных сцен, не вдохновенного певца Лесбоса, не томного защитника Альбатроса, а встречаем поэта-проходимца, хулигана и скандалиста. Иными словами, здесь перед нами не тот изысканно-утонченный поэт истомных кошек, звание которого прочно закрепилось за Бодлером после известной статьи Р. Якобсона и К. Леви-Стросса [Якобсон, Леви-Стросс, 1975, с. 231—255], а задиристый фигляр и баламут, на спор, за кружкой английского эля, в один присест слагающий гимн во славу бродячих собак. Более того, можно даже сказать, предваряя дальнейшие комментарии, что со-

всем не собачья жизнь бродячих собак занимает здесь нашего поэта: наоборот, именно собачья жизнь поэта становится главной темой произведения, а главным действующим лицом в этом фарсе под названием «Добрые собаки» является сам Бодлер, выступающий здесь под маской поэта-собаки и философа-киника, главного ценителя всех собачьих радостей.

В настоящем этюде хотелось бы остановиться на самом первом уровне, смысловой организации поэмы «Добрые собаки». Это уровень имен собственных: в пьесе Бодлера все имена говорят, более того, переключаются, спорят друг с другом, словно бы переругиваются или даже лают, образуя своеобразное и крайне сложное смысловое пространство, чем-то напоминающее карнавальное «площадное слово», о котором писал Бахтин в книге о Рабле. Для четырех страниц текста этот ряд имен собственных более чем внушителен: с одной стороны, перед нами имена более или менее известных деятелей литературы и искусства, имена художников, поэтов, мыслителей — Жозеф Стевенс, Бюффон, Стерн, Нестор Рокплан, Сент-Бёв, Сведенборг, Виргилий, Феокрит, Пьетро Аретино; с другой стороны, в предпоследней строке поэмы в упоминании «псов-философов» Бодлер включает в галерею персонажей своей «пиесы» целую философскую школу — древнегреческих философов-киников во главе с Сократом или Диогеном, который, как известно, доводил до предельного радикализма некоторые положения сократической философии. Именно в этой связке главной темы поэмы, на поверхностном уровне представляющей собой гимн во славу неких добрых собак, с фигурой сократического философа, более того, «философа-собаки», бросающего вызов всему полису или, по меньшей мере, политическим установлениям своего времени, Бодлер соединяет поэтику пьесы с этикой своего индивидуального существования. Повторю, здесь переругиваются друг с другом все, буквально каждое культурное имя; здесь звучит подлинное культурное многоголосие, раздерганный, расхристанный хор, где одно имя говорит одно, а другое — совершенно другое, в результате чего вся пьеса предстает в виде широкомасштабного предприятия по переименованию культурных, литературных и моральных ценностей.

Характерный и, наверное, самый показательный пример — переключка первого и второго абзаца. Да, словно говорит сначала поэт-повествователь, я восхищаюсь, Бюффоном, и мне не стыдно за это восхищение перед современными молодыми писателями, гонящимися за литературной модой, т. е. поэт-повествователь говорит, что он скорее на стороне традиции, чем авангарда, скорее на стороне Старых, а не Новых. Но затем позиция повествователя усложняется, поскольку, говорит он, не Бюффона, автора знаменитой «Естественной истории», он берет себе в провожатые по миру собак и высокой европейской культуры, а английского моралиста Стерна, снискавшего

себе славу великого мизантропа и горемычного борца с высокими идеалами европейского Просвещения. Одновременно, через эту прямую отсылку к именам Бюффона и Стерна, Бодлер устанавливает, точнее, даже утверждает один из самых живительных источников жанра своей поэмы: его идеал не просветитель Бюффон с его ученой и занудной «Естественной историей», с его умильными и несколько утомительными рассказами о мире животных и пышной, цветущей природе, нет, его идеал — это Стерн-фарсёр, Стерн-буффон, иронично высмеивающий просветительские рассказы. Образ осла с миндальным печеньем в зубах, заимствованный из «Сентиментального путешествия», только усиливает буффонадную стихию всей поэмы, где поэт, псевдо-Бюффон, заявляющий о себе в первых строчках, постепенно превращается в буффона-киника и в конце концов в философа-киника, в поэта-собаку, который облаивает современный литературный мир, рассказывая свою незамысловатую на первый взгляд и местами грубоватую историю про бездомных псов. Собственно, именно это внутреннее превращение, трансформация поэта в буффона, в клоуна, в шута и составляют внутренний сюжет поэмы, точнее говоря, главную движущую силу того опыта поэтической субъективации, становления самим собой, который предпринимает Бодлер в этой «пиесе». Словом, Бюффоном можешь ты не быть, а стать собакой ты обязан: вот предельная максима Бодлера-философа, которая утверждается как в поворотах повествования, так и в разворотах собственно собачьей темы в поэме. Вместе с тем это не просто отвлеченная эстетическая установка: посильное превращение поэта в собаку является условием возможности формирования поэтического высказывания, в силу которого поэт действительно может позволить себе говорить о собаках.

Разумеется, поэтика имен собственных в «Добрых собаках» не сводится к переключкам Бюффона, Стерна, поэта-буффона и философа-собаки. Не менее заняты конфронтация имен заурядного литератора Нестора Рокплана и боготворимого автором «Цветов Зла» Сент-Бёва: здесь к спору подключается и сам Бодлер, выставляя себя уже не под маской безымянного поэта-повествователя, а в местожении первого лица: «только мы с Сент-Бёвом». Этот автобиографизм повествования необыкновенно усиливается, когда под развязку истории поэт вставляет исторический анекдот про Пьетро Аретино, итальянского писателя-моралиста, снискавшего себе славу комедиями в прозе «Придворная жизнь», «Лицемер», «Философ», форма которых также подключается к поэтике малых поэм в прозе: дело в том, что самого автора «Цветов Зла» один критик назвал в свое время «современным Аретино, использующим истинный талант в трактовке непристойных сюжетов» [Baudelaire, 1975, p. 1353].

Второй уровень поэтической организации текста «Добрых псов» — это уровень топонимов, здесь тоже имеет место игра, переключка

разноголосых топосов: с одной стороны, читатель книги под названием «Сплин Парижа» узнает характерные парижские места: в первую очередь это Пале Рояль, но даже цитата из Нестора Рокплана вызывает в мыслях парижскую редакцию «Ля Пресс», где был напечатан упоминавшийся фельетон; с другой стороны, по мере развертывания повествования читатель убеждается, что дело происходит все-таки в Бельгии, в тупой, самодовольной и в высшей степени деляческой Бельгии, где даже собаки превращаются в тягловых животных и служат не человеку-поэту, не человеку-воину, не человеку-охотнику, а человеку-торгашу, мяснику или булочнику. В этой поэтике топоса достаточно отчетливо обнаруживается одна из формообразующих оппозиций поэмы: оппозиция Парижа, города истинного сплина и бродячих собак, которые гуляют сами по себе, и Брюсселя, города развитого торгашеского духа, где все, даже искусство, служит выгоде и сведению человека к функции служебного, рабочего животного, точнее, к разведению людей и животных по разные стороны баррикад, разделению их на противоположные классы: с одной стороны, богатые, хозяева, господа с их бессмысленными мопсами и болонками, с другой стороны, бедняки и бродячие собаки, псы-фланеры и псы-попрошайки, псы-любовники и псы-акробаты, с которыми связывает себя братскими узами нищий поэт.

Литература

Бахтин, 2008 — Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 4 (1). М.: Языки славянских культур, 2008.

Бодлер, 2011 — Бодлер Ш. Стихотворения в прозе (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники / Пер., коммент. Е. Б. Баевской. СПб.: Наука, 2011.

Якобсон, Леви-Стросс, 1975 — Якобсон Р., Леви-Стросс К. «Кошки» Шарля Бодлера / Пер. Г. К. Косикова // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975.

Baudelaire, 1975 — Baudelaire Ch. *Oeuvres complètes*. Т. 1 / *Texte établi, présenté et annoté par C. Pichois*. Paris : Gallimard, 1975.

Черепанова О. А.

д-р филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

И. И. Срезневский и Славянское Возрождение XVIII—XIX вв.

(по материалам «Путевых писем И. И. Срезневского из славянских стран 1839—1842 гг.»)

Заседание, посвященное 200-летию со дня рождения акад. И. И. Срезневского

Одним из важных этапов в научной судьбе И. И. Срезневского было путешествие по славянским странам, которое он совершил в

1839—1842 гг. по поручению Харьковского университета. По сути, это была первая полевая славистическая научная экспедиция, и в задачи ее входил сбор этнокультурных, историко-научных сведений о славянских народах, знакомство с их языками и диалектами в живом общении с жителями разных стран, городов и местностей, с простыми людьми и деятелями зарождающейся славистики. В то время только восточные славяне, включая часть польских земель, входивших в состав России, имели сильное самостоятельное государство. Южные и западные славяне не имели собственной государственности. Сербь и болгары находились под властью Османской империи, хорваты и словенцы, чехи, словаки, частично поляки жили на территории Австрийской империи, лужичане и также частично поляки жили в Пруссии и Саксонии. Время с конца XVIII в. и практически весь XIX в. — это время Славянского Возрождения. Оно выражалось в стремлении к национальному самоопределению, к сохранению и развитию национальной культуры, к национальному просвещению, формированию и развитию литературных языков славянских народов. В это время популярной становится идея панславянства, идея единства всех славянских народов. Этой идеей в значительной мере была инспирирована поездка трех молодых ученых из Московского (О. М. Бодянский), Петербургского (П. И. Прейс) и Харьковского (И. И. Срезневский) университетов по славянским странам, по разным маршрутам, но с близкими задачами. Идеи славянского братства обеспечивали российским ученым во всех славянских землях радушный прием и помощь в выполнении научных задач.

Трехлетнее путешествие И. И. Срезневского расширило его научный кругозор и дало импульс и материал для многих его последующих научных трудов. Один из интересных и значимых результатов поездки И. И. Срезневского — это дошедшие до нас путевые письма Срезневского [Срезневский, 1895]. Письма адресованы матери Срезневского Елене Ивановне Срезневской (в девичестве Кусковой), с которой у Измаила Ивановича всю жизнь сохранялись самые теплые и душевные отношения. Писем всего 66, многие весьма велики по объему и датированы несколькими числами. В письмах описываются маршруты следования Срезневского (см. Приложение), его работа по сбору историко-культурного, этнографического и фольклорного материала, даются зарисовки некоторых специфичных деталей быта, строений, экипажей и под. В деталях описывается быт Срезневского и даже распорядок его дня. Особый интерес представляют его заметки о личностях тех коллег, ученых, с кем ему приходилось иметь дело.

Письма Срезневского и в настоящее время читаются с большим интересом. К ним неоднократно обращались¹, но преимущественно как к источнику биографических сведений о Срезневском. Вместе с тем они имеют самостоятельное историко-культурное, научное значение, ценны как факт языковой культуры эпохи, как живое свидетельство определенного, очень важного этапа в жизни славянства нового времени — эпохи Славянского Возрождения.

Эпоха национального возрождения и просвещения, переход к национальным литературным языкам проходил у разных славянских народов разновременно. Так, например, о начале активных возрожденческих процессов у болгар можно говорить со времени появления «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарского в 1762 г., у словенцев — с появления Краинской грамматики А. Похлина в 1768 г. и т. д. Однако наиболее активными все эти процессы стали в середине XIX в., и Срезневский во время своих странствий по славянским землям стал их активным и заинтересованным свидетелем и участником. В его «Письмах...» мы находим упоминания и описания его общения и совместной работы с теми, чьи имена сейчас фигурируют в работах по истории славистики, чьи труды составляют основу славяноведения. Это сербо-лужицкий историк, этнограф, фольклорист и публицист Ян Эрнст Смолер (1817—1884), чешский писатель, ученый, общественный деятель Вацлав Ганка (1791—1861), деятель чешского Возрождения Ян Коллар (1793—1852), Варфоломей (Ерней) Копитар (1780—1844) — словенин, ученик Й. Добровского, учитель и вдохновитель Вука Караджича. Ему мы, среди прочего, обязаны паннонской теорией происхождения старославянского языка. Это Павел Йосеф Шафарик (1795—1861), один из основоположников сравнительного изучения славянских языков, автор теории происхождения глаголицы; Людевик Гай (1809—1879), деятель хорватского Возрождения, Людевик Штур (1815—1856), нормализатор словацкого литературного языка, один из инициаторов славянского съезда 1848 г. Наконец, это Вук Караджич (1787—1864) — основоположник современного сербского литературного языка, реформатор сербской орфографии. Названные имена далеко не исчерпывают круг деятелей Славянского Возрождения, с которыми знакомился и сотрудничал Срезневский в своем путешествии по славянским землям. С большинством из них у Срезневского были научные, а часто и дружеские отношения.

Срезневский остро ощущал состояние подавленности, в котором пребывала культура, письменность, язык славянских народов, находившихся под инокультурным и политическим прессингом. Об этом

¹ Русское и славянское языкознание в России XVIII—XIX вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Л., 1980. С. 73—106. Кондрашов Н. А. Измаил Иванович Срезневский (1812—188). 100 лет со дня смерти // Русская речь, 1980, № 2. С. 59—64. Богатова Г. А., Срезневский И. И. Книга для учащихся. М., 1985.

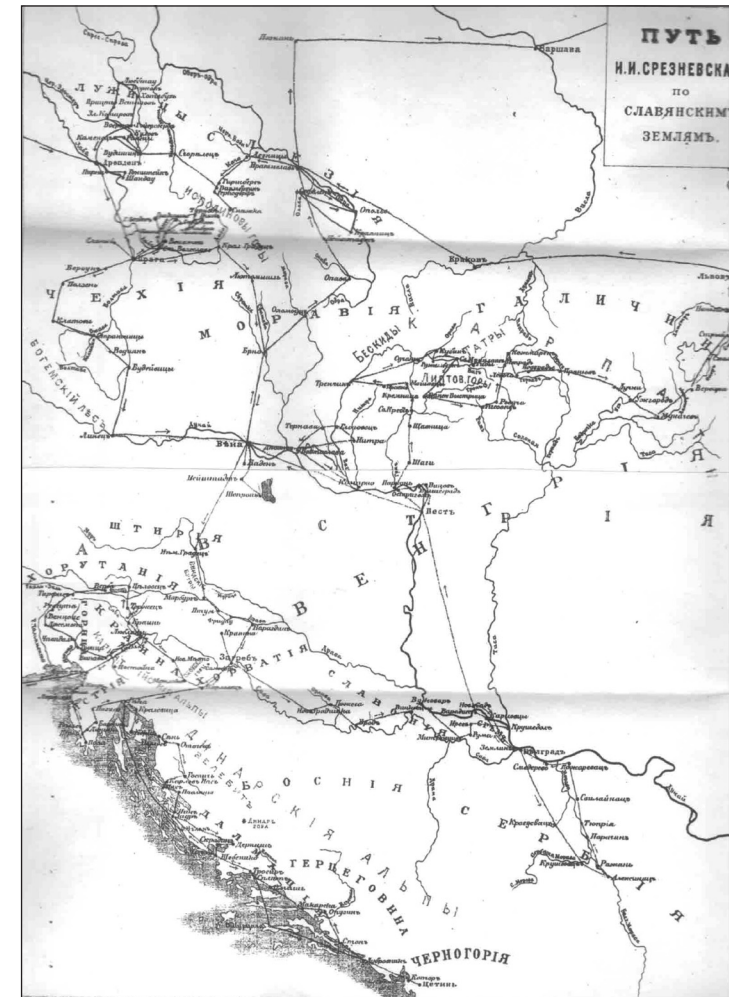


Рис. 1

свидетельствуют многие места в его письмах. Вот что он пишет из Братиславы: «И что тут должны терпеть Словаки, бѣда да и только. Даже и на православных Сербовъ хотятъ поднять руку и перевести и библию, и каноны, и всѣ церковные книги съ Старославянскаго на Мадьярскій, заставить молиться по Мадьярски. Все это дѣлается по закону, который они сами утверждаютъ...» [Срезневский, 1895, с. 283]. С горечью описывает Срезневский состояние монастырей в Сербии: «До послѣдняго времени послѣ Коссовской битвы всѣ монастыри Сербские

были во власти Турокъ и употребляемы как конюшни» [Срезневский, 1895, с. 258]. И даже житейские ситуации в культурной европейской столице — Праге свидетельствуют о бесправном состоянии славян. «Чешский балъ! Боже мой, что значить быть подвластнымъ народомъ! Позволение дать балъ получается от полиции... Говорить на балъ по Чешски, разумѣется, запретить нельзя; но ни пригласительныхъ блетовъ, ни списка танцовъ, ни кондитерскихъ, ни буфетныхъ листовъ по Чешски печатать не позволили. Плицмейстеръ не посовѣстился сказать, что онъ считаетъ покушение давать такой балъ револютомъ, а затѣвающихъ его революционерями» [Срезневский, 1895, с. 183].

Идея панславизма в различных славянских странах получила широкое развитие. В «Письмах...» Срезневского находим исполненные экспрессии описания собраний деятелей Славянского Возрождения, на которых в очень эмоциональных формах проявляли себя патриотические в рамках всего славянского мира настроения. Так, Срезневский описывает собрание по поводу дня тезоименитства Людевита Гая: «За вторымъ блюдомъ былъ тостъ за всѣхъ Славянь — Иллировъ, Русовъ, Чеховъ, Поляковъ, — и запѣли пѣсню, в которой стоитъ между прочимъ: „Богъ ди живи сви Славяне!“ . Тутъ и у меня слеза канула» [Срезневский, 1895, с. 241]. Песня «*Bože, živi sve sloveni*» распевалась тогда по всему югу; исполнялись сонеты Яна Коллара из его поэмы «*Slavy dcera*», в которой звучала идея Всеславии, соединившей все земли «*Od Carigradu k Petrovu...Ode Prahy k Moskvě, Kyovu...*». Характеризуя многих из деятелей славянской культуры и литературы, с которыми ему приходилось общаться, Срезневский подчеркивает их приверженность славянской идее. Так, говоря о Людевите Штуре, он называет его «одним из ревностных славян». Часть славянских народов в культурно-историческом отношении тянулась к России, в первую очередь, по свидетельству Срезневского, это сербы и словаки, но также и другие народы. Он описывает, какой радушной была его встреча со словенским поэтом и писателем Яном Голым (1785—1849): «А откуда Вы?» — «Я Русский путешественникъ» — «Русской? Русской? О Боже мой!» — и мы обнялись, какъ родные, какъ отецъ съ сыномъ» ... «Радость видѣть Русскаго одушевляла его. Голый обнималъ меня, цѣловалъ, жалъ руки. «Русской! О, вы, Русские, великий народъ, слава Славянь! Русской! Онъ утиралъ слезы» [Срезневский, 1895, с. 290]. Идеи славянского единения в разных славянских землях развивались не единообразно. Представителями иллирийского движения, которые, в частности, руководствовались положениями учения «о славянской взаимности» Яна Коллара, выдвигается идея единого литературного языка балканских славян. Не все деятели Славянского Возрождения столь же ревностно тянулись к России и видели в ней опору славянского мира. У ряда из них были сильны австро-венгерские тенденции. Уже упоминавшийся Людевит Гай, издатель газет «Новости хорватско-словенско-далматинские» (1835) и «Народные иллирийские новости»

(1836), один из создателей хорватского литературного языка на базе штокавского диалекта, видел будущее югославян в составе монархии Габсбургов. Также такой видный славист, как Ерней Копитар, был поборником католицизма и выступал сторонником единства империи Габсбургов. Даже у Вука Караджича, столь тесно связанного с Россией и российской наукой, присутствовали австрофильские тенденции. Все это, несомненно, было следствием исторически сложившегося деления славянского мира на *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*.

Срезневский в «Письмах...» говорит и о своей совместной работе с целым рядом славистов, с которыми он общался во время своего путешествия. Вместе с Яном Смолером и немецким профессором А. Гауптом Срезневский записывал лужицкие народные песни и поверья (к последним он обращался в своих более поздних работах, уже в России), участвовал в издании сборника лужицких песен. У Йосефа Шафарика Срезневский прошел определенную славистическую подготовку и принимал участие в издании «Славянских древностей» на чешском языке. Срезневский еще не знал, что Краледворская рукопись не является подлинной, а ее возможным автором является Вацлав Ганка, поэтому он восхищался вокальным исполнением песен из этого памятника на одном из ученых и дружеских собраний.

Из писем Срезневского читатель получает живое впечатление о личностях, чертах характера, деталях жизни и быта людей, с которыми он сталкивался. С теплотой пишет о Смолере, а вот о Копитаре у него другое мнение: «Былъ два раза у Копитара: съ нимъ едва ли буду иметь дѣло... Лучше не подходить, а то смотри и укусить» [Срезневский, 1895, с. 187]. Особенно много узнаем о Вуке Караджиче, с которым Срезневский был в рабочих и дружеских связях, особенно во время своего достаточно длительного пребывания в Вене. Он пишет, что даже переменил квартиру, чтобы быть ближе в Вуку. Караджич, несомненно, пользовался симпатией со стороны Срезневского. Об этом свидетельствует, например, следующий фрагмент «Писем...»: «Былъ у Вука Стефановича Караджича; онъ согласился мнѣ помогать в изучении Сербскаго языка. ... Этого Волчокъ мнѣ нравится, вотъ почему я переселился въ сосѣдство къ нему, чуть не дворъ обо дворъ» [Срезневский, 1895, с. 187]. С Вукомъ у Срезневского проходили длительные дружеские беседы в домашней обстановке, о чем узнаем из следующих строк: «Время мое идетъ по прежнему: дома, а вечеромъ приходитъ Вукъ, пьемъ чай и читаемъ Черногорския пѣсни. Эти чтения и бесѣды съ нимъ мнѣ очень полѣзны, и со стороны глядя, даже милы: старикъ (Караджичу в 1842 г., которым датировано письмо, было 55 лет. — О. Ч.) сниметъ свою деревянную ногу, ляжетъ на софу, гдѣ я заренѣ прготовлю ему подушку; а я у столика съ книгой и карандашомъ въ рукѣ» [Срезневский, 1895, с. 269]. Впоследствии своему другу, старшему коллеге и соратнику Срезневский посвятил статью 1846 г. «Вук Стефанович Караджич. Очерк биографический и

библиографический» (Московский литературный и ученый сборник. 1846. С. 339—369).

«Путевые письма...» Срезневского — это первое в славистике описание многих, почти всех славянских народов в их быте, обычаях и нравах. Их содержание и эмоциональный настрой в полной мере отвечали идеям и тенденциям эпохи Славянского Возрождения. Не будучи строго научным произведением, они тем не менее заложили основы современной славистики в ее широком понимании.

Из «Писем...» узнаем названия славянских народов, принятые в то время: Срезневский читал *краинскую* книгу, т. е. словенскую, беседовал со *слезаками*, т. е. жителями Силезии, записывал *штирийские* (также словенские) песни, «выговаривает *по-венедски* (так тогда немцы называли лужичан); он упоминает *чехо-славян*, *дольне-лужицкое* и *горно-лужицкое* наречия. Для обозначения языка употребляется слово *наречие*, говоры и диалекты квалифицируются как *местное наречие*. Автор употребляет термин *двуязычие*, говоря о языковой ситуации у лужичан.

«Путевые письма...» демонстрируют отсутствие устоявшейся терминологии славистики: *славянщина*, *славянство* как совокупное наименование всех славянских народов в единстве их культур (ср. современное Славия); *славяноцерковный язык* и *церковно-славянские писатели*.

В эпоху Возрождения остро стоял вопрос национальных языков славянских народов [Толстой, 1988]. В начале национального периода языковая ситуация характеризуется состоянием двуязычия, гомогенного или гетерогенного характера, или многоязычия. В это время общая особенность языков большей части славянских народов, особенно на Балканах, — суженное, ограниченное функционирование родного языка по причине зависимого положения народа, говорящего на соответствующем языке. Вследствие этого передовой интеллигенцией в качестве первостепенной осознавалась задача противопоставления родного языка чужому языку/языкам и доказательство его полноценности как средства общения; позднее — задача разграничения литературного языка и диалектов, создание национального литературного языка. Процессы в области национальных языков шли, с одной стороны, в результате спонтанного развития, с другой — были результатом целенаправленных усилий деятелей Славянского Возрождения.

Как можно судить по «Письмам...», для Срезневского этого периода характерен несколько романтический взгляд на славянские языки. Осознавая сложность языковой ситуации, он тем не менее прежде всего увлекается многообразием славянских языков и диалектов, его интересуют подмечаемые им черты сходства и различия в звуковом и лексическом составе разговорных языков славянского мира.

Автор вводит в свой текст фрагменты на различных славянских языках в звуковой записи («Помгай пѡнь бугъ!» — Га-га, пѡне! Джіен-

куіемъ!»), при этом едва ли не первым в нашей науке использует транскрипционные знаки: ^ («крышечку») как знак закрытого произношения гласного, ѣ как знак произношения у неслогового и некоторые другие.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что в литературно-письменном наследии середины XIX в. нет произведения, в котором бы звучало такое многоголосие славянских языков, как в «Письмах...» Срезневского. Помимо уже упомянутых текстовых вставок на славянских языках (польском, сербском), находим этнографизмы на чешском, сербском, польском, украинском языках: чеш. *рейдовак* (назв. танца), серб. *меана* (постоялый двор, гостиница), серб. *кметь* (сельский староста), укр. *свитка* (род одежды), пол. *горжаўка* (род алкогольного напитка, водка), серб. *едек* (упряжка запасных лошадей для путешествия) и др. Для усиления национального колорита Срезневский отдельные слова включает в текст в их местном звучании: *швентые* (святые), *Језус*, *матка Марэя*, приводит местные названия известных реалий: чеш. *коловратка* (шарманка), *слечинка* (барышня), *дивadlo* (театр), серб. *паланка* (небольшой городок), *ело* (еда) и др. В большинстве случаев автор толкует иноязычное слово, что делается, чтобы адресат понял, о чем идет речь, а возможно, в этом сказывается и будущий лексикограф.

Находясь на земле того или иного славянского народа, Срезневский в большей или меньшей степени овладевает его языком, отмечает характерные языковые и речевые черты, элементы сходства и различия между славянскими наречиями. Результатом этих наблюдений явилась статья «Обозрение основных черт сродства звуков в наречиях славянских», напечатанная в Журнале Министерства народного просвещения в 1845 г. (Ч. XLVIII, Отд. II. С. 149—186). Срезневский первым формулирует задачу создания сравнительной грамматики славянских языков.

Именно в годы странствий по славянским землям Срезневский накопил материал для своих более поздних исследовательских работ по истории традиционной культуры древних славян, славянского язычества и раннего христианства, дополненный впоследствии сведениями из памятников древнеславянской письменности. Такие работы, как «Об обожании солнца у древних славян» (Журнал Министерства народного просвещения, 1846. Ч. LI, Отд. II, С. 36—60), «Архитектура храмов языческих славян» (Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1846, № 3. С. 44—54), «Святылища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям» (Харьков, 1846), «Збручанский истукан Краковского музея» (Записки Императорского Археологического общества, 1854. Т. V. С. 163—183) и другие образуют значимый блок в научном наследии ученого и служат свидетельством исторического единства культуры славян.

В годы своих странствий Срезневский наблюдал и тонко чувствовал глубину традиционной народной культуры славян, историческую близость славянских языков, но он не был чужд и жизни современного ему общества. В период своего путешествия он был молод: ему было 27 лет, когда он отправился в свои странствия. Поэтому естественно, что в письмах имеются описания веселого времяпрепровождения в гостях, на балах и пикниках. Вот что он пишет из Сгорел(е)ца в сентябре 1840 г.: «Вчера воротился въ 11-ть, и мокрый, какъ губка. Подумае, дождь измочилъ: ничуть не бывало — плясалъ. Вчера было воскресенье. Я пошелъ къ Гаупту въ 3. Къ 5 собралось много, въ 6 заплясали и плясали до нѣтъ-мочи... Время прошло, какъ обыкновенно, очень весело: всѣ дурачились, дурачился и я, какъ бывало дома. Не только галопировалъ и вальсировалъ, но даже со Смоларёмъ дернулъ по Вендски, а потомъ и по Чешски польку и рейдовакъ, а потомъ и по Русски козачка» [Срезневский, 1895, с. 141—142]. Из «Писем...» узнаем милые детали быта людей, которые для нас теперь далекая история: «Работаю днемъ какъ должно; а придетъ вечеръ, прибѣжать дѣти Гаупта (дочь 12 лѣтъ Теодора, другая маленькая Матильда да 2 сынка Карлъ и Рудольфъ), и именемъ Маменьки говорятъ, что «картофель ждетъ». Черный картофель съ масломъ — это обыкновенный Гауптовский ужинъ» [Срезневский, 1895, с. 144].

Из всего разнообразия содержания «Писем...» И. И. Срезневского перед нами оживает трудная, важная и исключительно интересная эпоха Славянского Возрождения. Мы видим, как в противоречивости мнений, благородстве устремлений, неустанных трудах преданных своему делу и вдохновенных людей укреплялся, заявлял о себе в науке, в общественной и социальной жизни Славянский мир, определяя свою значимость в мировой истории. Деятели Славянского Возрождения, и прежде всего Измаил Иванович Срезневский, предстают перед нами не хрестоматийными портретами из учебников и научных монографий, а живыми людьми, в сердцах которых жило горячее чувство, побуждавшее их отдавать свои силы и знания общей идее национального возрождения славян.

Литература

Срезневский, 1895 — Путевые письма И. И. Срезневского из славянских стран 1839—1842 годов. СПб., 1895.

Толстой, 1988 — Толстой Н. И. Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (на материале сербохорватского, болгарского и словенского языков) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты. М.: Наука, 1981. С. 122—134.

Приложение

Карта маршрута И. И. Срезневского по славянским странам (по изд. «Путевые письма И. И. Срезневского из славянских стран 1839—1842 годов»). СПб., 1895.

З. К. Шанова,

канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Заседание, посвященное 200-летию
со дня рождения академика И. И. Срезневского

Болгарский язык в архивных материалах И. И. Срезневского

Измаил Иванович Срезневский (1812—1880) — один из самых значительных и ярких славистов XIX в., он занимался филологией, палеографией, этнографией, археологией, изучал быт и творчество славянских народов, исследовал памятники славянской письменности. И. И. Срезневский — один из первых открывателей и издателей произведений древнеболгарской и среднеболгарской литературы, среди которых есть очень важные памятники, например «Саввина книга» — кириллическая рукопись евангелия-апракоса XI в., созданного в северо-восточной Болгарии. Ему принадлежит первая публикация фрагментов среднеболгарского сборника 1348 г., составленного священноиноком Лаврентием при болгарском царе Иоанне-Алекサンドре, содержащего один из древнейших памятников славянской письменности «Написание о правой вере» Константина-Кирилла Философа. При работе над «Материалами для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневский использовал произведения древнеболгарских авторов Климента Охридского, Черноризца Храбра, Иоанна Экзарха и др. [Желязкова, 2002].

Собранные И. И. Срезневским грамоты, рукописи, воспроизведения памятников письменности, «в том числе таких, которые в настоящее время утрачены или местонахождение которых неизвестно» [Исторический очерк, 1958, с. 32], были переданы в дар Академии наук его вдовой Е. Ф. Срезневской и детьми В. И. и О. И. Срезневскими и хранятся в Рукописном отделе Библиотеки АН (БАН). Был передан и «его обширный научный архив, в настоящее время хранящийся в Архиве АН» [Исторический очерк, 1958, с. 32], куда он поступил из БАН в 1935 г. [Файнштейн, 1988, с. 64], — это Фонд 216, который состоит из 8 описей, содержащих биографические документы, рукописи трудов и материалы к ним, лекции по палеографии, по славянской филологии, рукописи ученых, присланные И. И. Срезневскому как редактору «Известий АН», переписку — письма Измаила Ивановича и письма к нему.

Архивные материалы позволяют проследить, как поступали и готовились к печати вновь открытые болгарские письменные памятники, как они обсуждались и изучались после публикации. Так, в письме А. Ф. Гильфердинга содержится сообщение о новой находке: «Путешествующий по славянским землям Турции сербский археолог

г-н Стефан Веркович поручил мне представить на благоусмотрение II отделения Императорской академии наук и напечатать в России некоторые найденные им памятники сербской и болгарской старины. Памятники эти, я уверен, заслуживают внимания славянских ученых... Житие Св. Иоанна Рильского, в краткой редакции, которое отличается от пространного его жития, написанного Евфимием, Патриархом Терновским; Житие Св. Михаила Воина, родом болгарина; Житие Св. Николая Воина, заключающее в себе известие о походе византийского императора Никифора в Болгарию в 811 г. Вот эти три сказания извлечены г. Верковичем из старинной минеи, писанной на бумаге и находящейся в монастыре Св. Прохора Пшинского близ Врани /постурецки Виварина...» (Опись 3. Ед. хр. 47).

Интерес представляет «Письмо к редактору II отделения Императорской академии наук касательно напечатанной в 22-м номере „Известий“ Болгарской грамоты, хранящейся в Академии наук». Письмо написано С. Н. Палаузовым, болгаринном, жившим в России, защитившим в 1852 г. в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию «Век болгарского царя Симеона» [Известия ОРЯС, 1852, с. 236], а речь в письме идет о Дубровницкой грамоте XIII в. С. Н. Палаузов приводит аргументы, подтверждающие вывод И. И. Срезневского [Известия ОРЯС, 1852, с. 348] относительно времени написания грамоты — при Асене II, а не при Асене I, как это было в публикации П. Й. Шафарика. С. Н. Палаузов пишет: «Грамота эта, помещенная также Шафариком в его сборник, отнесена им ко времени Асена I (1186—1196), восстановителя Болгарского царства и родоначальника второй династии болгарских царей. Оставляя в стороне лингвистическую важность этого памятника, текст которого объяснен Вами в подробности, осмеливаюсь с своей стороны присовокупить к Вашим объяснениям несколько моих примечаний, преимущественно исторических и топографических, как подтверждение той мысли, которая высказана Вами только слегка касательно времени этого драгоценного памятника болгарской старины» (Опись 3. Ед. хр. 143). Основной аргумент автора письма состоит в том, что названные в грамоте города не могли входить в состав Болгарии во время Асена I, они были завоеваны только при Асене II. Письмо и доводы С. Н. Палаузова были опубликованы [Известия ОРЯС, 1853, с. 109—112].

Древние болгарские тексты изучались под руководством Измаила Ивановича студентами. В архиве хранится работа студента Веселовского «Иоанн Экзарх Болгарский», в которой составлен «Алфавитный словарь к двум трудам Иоанна: а) по переводу Богословия Дамаскина; б) к грамматике, переведенной из того же писателя». В работе проводится анализ памятника, сравниваются списки XII и XIX вв. (Опись 3. Ед. хр. 285. 1853 г.).

И. И. Срезневский изучал и исследовал и живые славянские языки. В 1839 г. Измаил Иванович был направлен в славянские земли в числе молодых ученых, которым предписывалось в первую очередь заниматься практическим изучением языков, «следить за всеми возможными оттенками изменений» их по разным провинциям и в разных сословиях народа [Францев, 1916, с. 98]. Программа, или «Записка о путешествии по заграничным славянским землям», составленная при Московском университете и утвержденная Министерством народного просвещения, точно определяла время, страны и места, где должна была протекать работа ученых. За три года путешествий Измаил Иванович собрал интересный языковой и этнографический материал по западным и южным славянам. И. И. Срезневский, как и другие молодые славяноведы, включал в свои планы посещение Болгарии и изучение болгарского языка, однако беспокойная обстановка в Болгарии, находившейся тогда в составе Османской империи и страдавшей от притеснений турок, не позволила И. И. Срезневскому (как и О. М. Бодянскому и П. И. Прейсу) осуществить эти планы [Романски, 1937, с. 115—118].

Из всех славянских языков в первой половине XIX в. наименее изученным оставался болгарский. Отдельные наблюдения были сделаны Е. Копитаром (1813), отметившим наличие постпозитивного артикля у существительных болгарского языка, что отличает болгарский от других славянских и сближает с румынским и албанским. В. Караджич (1822) писал также и об отсутствии в болгарском языке именного склонения и инфинитива, П. И. Кёппен (1822) высказал мнение о наличии различных болгарских говоров (существует «не одно болгарское наречие») [Романски, 1937, с. 100—108].

После возвращения из путешествия по славянским землям Измаил Иванович опубликовал «Очерк болгарского книгопечатания» [Срезневский, 1846], где обобщил известные ему сведения о болгарском языке. Здесь он пишет и о некоторых «мимолетных замечаниях» о болгарском языке иностранных путешественников, побывавших в Болгарии, о посещениях Болгарии с научной целью Ю. И. Венелиным (1830—1831), который, как известно, написал «Грамматику нынешнего болгарского наречия», но она не была рекомендована к печати. (Эта грамматика издана в Болгарии к 200-летию Ю. И. Венелина — *Венелин Ю. Грамматика на днешното българско наречие*. София, 2002.)

И позже в «Известиях ОРЯС», в разделе «Библиографические записки», которые вел И. И. Срезневский, он отмечает: «Наречие болгарское не только почти совершенно не исследовано, но нет и материалов для исследования» [Известия ОРЯС, 1852, с. 66]. О недостаточной изученности болгарского языка или даже недостаточной представленности болгарского языкового материала пишет в студенческой работе, хранящейся в архиве Измаила Ивановича петербургского периода, его ученик П. А. Сырку, будущий исследователь болгарских средневековых

памятников. Он объясняет, почему, с его точки зрения, болгарский язык «ещё мало исследован учёным миром». Причин тому, как он считает, несколько, но главные две. Первая — это «малое знакомство ученых как с живым языком болгарского народа, так и с языком болгарских песен». А вторая состоит в том, что недостаточно описано «памятников болгарской литературы прошлых веков, а следовательно и языка» (Фонд 16. Описание 3. Ед. хр. 717. 1874 г.).

Тем не менее, как это показано и в «Очерке болгарского книгопечатания», библиографическом обзоре на новоболгарском языке с 1806 по 1845 г., «болгары уже имеют зачатки литературы, имеют уже столько книг, что прочитавший их со вниманием в состоянии судить о наречии болгарском довольно правильно» [Срезневский, 1846, с. 4]. В «Очерке» аннотировано более шестидесяти книг, в основном это учебная, переводная и религиозная литература. В архиве сохранился список из 46 болгарских книг, напротив некоторых названий стоит крестик, а внизу есть приписка: «Номера, перед которыми поставлен +, могут быть доставлены тотчас по востребованию» (Опись 1. Ед. хр. 438. Лист 25). Видимо, так приобретались болгарские книги для библиотеки Измаила Ивановича. Большая часть описанных И. И. Срезневским в «Очерке» книг находится в его мемориальной библиотеке, хранящейся в Славянском фонде БАН.

Архив содержит богатый материал, свидетельствующий об интересе И. И. Срезневского к языку и культуре болгар. Прежде всего это большое количество болгарской лексики. На двух листах собран словарь болгарских имен собственных (Опись 1. Ед. хр. 437. Лист 71—72). Значительные массивы болгарских слов хранятся в (Опись 1. Ед. хр. 438. Листы 1—26). На 64 листах находятся «Материалы для болгарского корнеслова, собранные с помощью 3. П. Княжеского, болгарина из Реки-Загры» (Опись 1. Ед. хр. 435) (о 3. Княжеском/Князском можно прочитать в письме В. Априлова — Опись 5. Ед. хр. 30. 19.12.1846). Опись 4. Ед. хр. 387, состоящая из 340 страниц, — это материалы к словарю болгарского языка Н. Герова. Среди документов есть запись И. И. Срезневского, которую можно считать инструкцией к составлению словаря: «Познакомьтесь ближе с материалами, собранными г. Геровым для Болгарского словаря, я условился с ним, по поручению отделения, о правилах, которых он будет держаться при составлении Словаря. <...> в Болгарском словаре, приготовляемом г. Геровым, дано будет место только словам и выражениям народным, впрочем употребляемым не только селянами, но и горожанами; и не исключительно словам славянского происхождения, но и иностранным, утвержденным в народе давним обычаем; болгарские слова будут объясняемы по-болгарски так же, как в Сербском словаре В. С. Караджича; к болгарским объяснениям будет прилагаяем краткий перевод русский; болгарские объяснения слов должны быть не только синонимические, но везде, где нужно

и возможно — этнографические, так же, как в словаре В. С. Караджича» (Опись 1. Ед. хр. 826). Отдельные части словаря Н. Герова печатались в «Материалах для объяснительного и сравнительного словаря и грамматики», но окончательно публикация словаря была завершена в 1905 г. уже после смерти автора.

Болгарско-русский словарь составлял и К. Жинзифов, о чем он пишет в письме к И. И. Срезневскому: «...Считаю нужным для себя сообщить Вам, что я принял на себя труд составить краткий болгаро-русский словарь, над которым и работаю, уже собрано несколько тысяч слов. Но я слышал, что в Петербургской академии наук находится словарь Неофита с греческими объяснениями... обращаюсь к Вам с просьбою: нельзя ли будет прибавить к тому словарю и собираемые мною слова, если только я не соберу по крайней мере до 2000 слов. Ваши советы относительно составления словаря будут для меня чрезвычайно полезны. ...Будучи уверен в том, что Вы глубоко сочувствуете бедному болгарскому народу... остаюсь Ваш покорнейший слуга Ксенофонт Жинзифов» (Опись 5. Ед. хр. 251. 17.08.1862). В другом письме К. Жинзифов пишет: «Я взялся составить словарь не для болгар, а для русских, т. е. словарь, который... мог быть хоть сколько-нибудь полезным пособием для желающих познакомиться с болгарским языком» (Опись 5. Ед. хр. 251. 04.09.1862).

Исследуя болгарский языковой материал, И. И. Срезневский пытается проследить закономерности фонетических изменений по говорам, например, есть замечание: «Болгарское наречие не везде удержало одинаковость, напротив того — развило в себе множество говоров, из которых особо отличны горные» (Опись 1. Ед. хр. 434. Лист 12). Записи болгарских слов отражают диалектные особенности их произношения: *кѣхър* — печаль, скорбь; *тѣрсја* — ищу; *млого* — много; *кат очи* — как будто, *синур* — граница и др. (Опись 1. Ед. хр. 438. Лист 1); *ице* — яйцо, *ичемик* — ячмень (Опись 1. Ед. хр. 435. Лист 22). В документе «К истории болгарского наречия» есть раздел «Судьбы болгарского наречия», где отмечается «отсутствие Ы» в болгарском языке, «переход А в Е — *месо*, *пет*, *ред*, *чедо*, *десет*», редукция в разговорном языке в безударном положении *e/i* и *o/u* и другие особенности (Опись 1. Ед. хр. 434). Есть наблюдения над употреблением артикля: «Нельзя сказать, чтобы член употреблялся постоянно. В некоторых случаях и некоторые слова вовсе его не принимают, но это исключения из общего правила» (Опись 1. Ед. хр. 434. Лист 10). В Описи 1. Ед. хр. 793. Лист 3 представлена таблица болгарских глаголов и их форм.

Исследуя живой болгарский язык, И. И. Срезневский видел, что «болгарское наречие не везде удержало одинаковость», что «наречие македонское, сохраняя вообще близость родственную с болгарским, отличается от него некоторыми важными чертами» (Опись 1. Ед. хр. 434. Лист 12). Одна из таких черт, о которых здесь говорится, — различное отражение юсов. Об одной особенности македонского

произношения пишет и К. Жинзифов в уже цитированном письме: «...кстати о слове *звезда* — оно имеет какое-то особенное произношение в Македонии (я македонец), как если бы было написано «*дзвезда*», или «*зидам*» — «*дзидам*» (Опись 5. Ед. хр. 251. 04.09.1862). В записке, принадлежащей студенту И. И. Срезневского из Болгарии К. Дмитриеву-Петковичу, также говорится о языковых отличиях двух областей Болгарии: «...болгарский язык разделяется на два наречия: фрако-дунайское, которое господствует в собственно так называемой Болгарии и Фракии, и македонское, которым говорят болгары в Македонии. ...Так во Фракии и Болгарии говорят: *мъж, вѣн, вътре*, в Македонии *маж* или *муж, вон, внатре* или *внутре*. ...во-вторых, буква Ъ в первом наречии произносится, как русское Я, иногда, как Е, во втором — всегда, как Е» (Опись 1. Ед. хр. 436. Лист 62—63). Особенностям македонского говора посвящена также и студенческая работа Г. Воскресенского «Замечания о звуковом и грамматическом строе македонского наречия» (Опись 3. Ед. хр. 324).

В архивных материалах содержится большое количество болгарских пословиц, которые И. И. Срезневский готовил к печати в «Известиях ОРЯС». Например, в (Опись 1. Ед. хр. 437. Листы 1—21, 25—28) собрано 260 болгарских пословиц, расположенных в алфавитном порядке. После публикации Измаил Иванович продолжал работать над языковым материалом, пополняя его и совершенствуя. В документах есть разделы «Варианты к академическим пословицам, напечатанным прежде», «Примечания к пословицам болгарским», «Пословицы из издания Богоева, из Цареградского Вестника».

Измаил Иванович собирал и болгарские народные песни, которые к нему поступали из разных источников — от болгар, от коллег-славистов, из опубликованных сборников славянских песен. Песни в архиве не всегда имеют указание на источник их происхождения, например «Разплакала се, море, гората» (Опись 1. Ед. хр. 436. Лист 58), «Стоян дружина набрал» (Опись 1. Ед. хр. 437. Лист 22—24). В архиве есть оттиск статьи П. Э. Задерацкого «Болгары, поселенцы Новороссийского края и Бессарабии» (Москвитянин. 1845. № 12. С. 159—187), в которой представлено несколько болгарских песен и их перевод на русский язык — «Што ми са люлей, белей...» («Что колышется предо мною, белеется...»), «Прочули са, прочули...» («Послышалось, пронесся слух...») и др. В этом же оттиске есть разделы этнографического содержания — «Жилища, стол, занятия и одежда болгар», «Забавы и увеселения болгар», «Нравы и обычаи болгар» (Опись 1. Ед. хр. 436).

С середины XIX в. в России стали выходить сборники с переводами болгарских песен на русский язык. В бумагах И. И. Срезневского есть запись, касающаяся сборника переводов Н. Берга «Песни разных народов» (М., 1854), в котором представлены четыре болгарские песни — одна песня взята из сборника И. Богоева «Български народни

песни и пословицы» (Пешта, 1842), а три песни, как отмечено в этой записи, — из «рукописного сборника, составленного г. Априловым. Сборник этот очень неудовлетворительный для филолога, потому что в нем язык песен изменен их понятием Априлова» (Опись 1. Ед. хр. 816. Лист 8). Болгарская правописная система не была урегулирована до конца XIX в., поэтому в болгарских песнях, полученных от болгар, было много разночтений в правописании. Об этом, в частности, пишет в письмах к И. И. Срезневскому П. А. Бессонов (в архиве сохранились 18 его писем), который не считал болгар «знатоками в языке» (Опись 5. Ед. хр. 68. 10.12.1855). Подготавливая к печати свою книгу «Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар» (М., 1855), П. А. Бессонов писал Измаилу Ивановичу: «Теперь же занимаюсь печатанием песней болгарских (до полутора-ста)... Считаю нелишним... переслать Вам при сем перечень опечаток, для большей точности при руководстве читающих» (Опись 5. Ед. хр. 68. 24.09.1854). Зная, что Измаил Иванович собирает болгарские песни, П. А. Бессонов обращается к нему с просьбой: «Журналы славянские кое-где печатали собранные Вами песни: нет ли болгарских или полуболгарских? Нет ли у Ваших знакомых? Одолжите» (Опись 5. Ед. хр. 68. 19.10.1855).

Исследования в области болгарского языка — часть многогранного творческого наследия И. И. Срезневского. Измаил Иванович описывал и издавал болгарские письменные памятники, публиковал в «Известиях ОРЯС» словник к словарю современного болгарского языка, произведения болгарского народного творчества — песни, пословицы, писал библиографические заметки о книгах болгарских авторов, а архивные документы — рукописи, черновики, письма помогают нам вникнуть в процесс работы при подготовке этих материалов к печати, позволяют приоткрыть не очень известные стороны деятельности И. И. Срезневского как ученого.

Литература

Желязкова, 2002 — Желязкова В. Н. Вклад И. И. Срезневского в изучение средневековой болгарской книжности // И. И. Срезневский и современная славистика: наука и образование. Рязань, 2002. С. 60—62.

Известия ОРЯС, 1852 — Известия Императорской академии наук по Отделению русского языка и словесности (ОРЯС). Т. II. 1852. Т. III. 1853.

Исторический очерк, 1958 — Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела БАН. Вып. II. XIX—XX в. / Отв. ред. член-кор. АН СССР В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1958.

Романски, 1937 — Романски Ст. Български въпроси в преписката на И. И. Срезневски с В. И. Григорович // Списание на Българската Академия на науките. Кн. LIV. Клон историко-филологичен и философско-обществен. 26. София, 1937. С. 95—176.

Срезневский, 1846 — Срезневский И. И. Очерк книгопечатания в Болгарии // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1846. Ч. LI. № 9. Отд. V. С. 1—28.

Файнштейн, 1988 — *Файнштейн М. Ш.* О документальном наследии И. И. Срезневского в ЛО Архива АН СССР // Всесоюзная конференция «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры» (К 175-летию со дня рождения академика И. И. Срезневского). 26—29 января 1988 г.: Тезисы докладов. Л., 1988. С. 64—65.

Францев, 1916 — *Францев Вл.* Срезневский и славянство. Славянское путешествие и первые годы профессорской деятельности И. И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Книга 1. Пг, 1916. С. 94—167.

Summary

Introduction (A. S. Asinovsky)

1. G. N. Akimova. On Paragraphs: A New Approach

The study of the syntactic structure of modern fiction is among the top issues in linguistics today. The paragraph is obviously a separate text unit, but its nature is still unclear. Therefore, the paragraph is especially interesting in these texts. A short story by Gavrilov is syntactically rigid: each paragraph consists of only one sentence, while the sentences are hardly connected semantically. It seems to be a new form of absurd narration.

2. K. V. Babaev. On Definition and Typology of Suppletion

The paper deals with the typological synchronic and diachronic analysis of the phenomenon of suppletion in world languages. Despite its relative cross-linguistics frequency, it has so far enjoyed little interest in academic literature. The classification of suppletion, the origins of the phenomenon and the ways of its diachronic development in language are the most interesting issues to discuss.

3. O. V. Vasilyeva. On Adverbs in the Dictionary of the Everyday Russian Language of Muscovite Russia (the 16th—17th centuries) and their Role in Style, Word Formation and History of Russian

The article studies the Russian adverbs of the 16—17th centuries using the Dictionary of Everyday Russian Language of Muscovite Russia (16—17th centuries). These adverbs are considered in their stylistic, historical and word-formative aspects.

4. S. V. Vlasov. Linguistic Norm and Word Selection in Various Editions of Richelet's Dictionary (1680—1769) and in the First Editions of the *Dictionnaire de l'Académie française*

This paper deals with the issue of linguistic purism in different editions of Richelet's Dictionary (1680—1769) and in the first editions of the *Dictionnaire de l'Académie française* with respect to vulgar and archaic words. The selection of normative or non-normative lexicon in these dictionaries is carried out by means of corresponding definitions pointing the non-normative character of the lexicon, rather than by rejection of such vocabulary. This fact refutes a widespread opinion that the idea of linguistic purism in the first French explanatory dictionaries was connected with elimination of vulgar and archaic words from the dictionary.

5. A. G. Grodetskaya. A Heroine in the End of the Novel: Rousseau, Goncharov, Chernyshevsky
The article focuses on the 8th ('Crimean') chapter of the final part of "Oblomov" and its comparison with the polemic finishing of Chernyshevsky's novel. In both oeuvres the collision is presented as correlated with "La Nouvelle Héloïse". It is also possible to compare the two stages of heart experience of Goncharov's main female characters with that of Rousseau. Olga's *grief of soul* (melancholy, boredom) in an idyllic situation of happy marriage, still remaining 'mysterious' for its interpreters, is regarded as rendering the state of mind of Rousseau's heroine at the end of his novel. Vera Pavlovna experiences the same 'mysterious' melancholy in her second idyllic marriage, and Chernyshevsky's "What Is to Be Done?" offers a recipe to cure it.
6. V. E. Dobrovolskaya. Roses and Sweets or Necklaces and Furs: Prohibitions and Prescriptions dealing with Presents (The Present and the Past of Tradition)
The author studies traditional rules of gift-giving while dating and courting. The changes in these rules in city culture of the 20–21th centuries are examined. The research employs the records made during the last twenty five years by people born in 1910th–1990th. The paper considers the situations requiring gift-giving according to the common rules of behaviour as well as the types of gifts. A special attention is given to the changes of opinion on what can be given as a gift and what should be a normal reaction and attitude to gift-giving.
7. B. S. Zharov. Islex as a Unique Six-Language Electronic Dictionary of Icelandic
In Iceland, the presentation of ISLEX — a six-language electronic dictionary of the Icelandic language — has been held. As Icelandic belongs to minor languages, it is impossible to make paper dictionaries. So, an electronic version has been developed. The electronic form enables the dictionary to be easily improved and updated, if necessary. The ISLEX dictionary is accessible on the following web-sites: Icelandic (www.islex.hi.is), Danish (www.islex.da), Swedish (www.islex.se) and Norwegian in two languages (www.islex.no). The Faroes language site is going to be launched in 2012. Each web-site can connect to the other language versions by user request. The dictionary consists of 50,000 Icelandic words.
8. N. G. Zaitseva Vepsian Spiritual Space in the Focus of Corpus Linguistics and Linguistic Analysis of Folklore (The Case of Vepsian Laments)
The paper describes some aspects of the spiritual space of Vepsian laments from the linguistic point of view. Vepsian is a new-written language. The language of folklore provides supplementary facts on the history of some linguistic categories, figures and forms. It also throws light upon several problems of etymology and historical dialectology from a different perspective.
9. V. P. Zakharov, I. V. Azarova. Basic Parameters of the Special Text Corpora
The paper deals with the basic parameters of text corpora constructed for particular linguistic tasks. The data types of special texts are scored and described through

- the perspective of corpus peculiarity in contrast to national or universal corpora. These basic parameters of a special corpus are as follows: (1) the quantitative specification depending on text topics, polarity, structure classes, etc; (2) the text homogeneity in relation to its length, authorship, authenticity, etc; (3) the corpus annotation in connection with potential data type specification; (4) the elaborated corpus software in respect to input and output texts flows.
10. E. V. Ivanova. Concept as Purpose and Means of Cognitive Analysis
The paper summarises the basic approaches to the notion of concept existing in modern linguistics and singles out the cognitheme as a unit of concept analysis and reconstruction. Cognithemes are divided into three groups: basic, inferred and interpretative. The characteristic features of each group are described. The concept is considered both the purpose and the means of cognitive analysis.
11. O. A. Kazakevich. Multilingualism in Taimyr and Yamal: Fragments of a Large Mosaic (Experience of Linguistic Expeditions)
In the article, we present some results and share experience of two linguistic expeditions organized in 2011 by the Laboratory for Computational Lexicography (Computer Research Centre, Lomonosov Moscow State University) with the financial support from Russian Foundation for Basic Research (Grant 11-06-10019, expedition to the villages of Potapovo and Khantaiskoye Ozero, Taimyr Municipal District, Krasnoyarsk Region) and Russian Foundation for the Humanities (Grant 11-04-18004, expedition to the village of Tolka and the trade station of Bystrinka, Pur District, Yamalo-Nenets Autonomous Area). We also dwell upon our approach to the fieldwork in the situation of language shift.
12. T. A. Kazakova. Tools of Translation Expertise
Assessment and expertise of translation make an important part not only of the practice but also of the theory. Yet the ideas mostly go down to counting lexical, grammatical and terminological mistakes. That is, they are basically linguistic, whereas translation puts forward both linguistic and non-linguistic problems. To measure the latter, we inevitably need non-linguistic tools, such as procedures of defining comparative confidence level or psychosemiotic prognosis. This attitude requires further investigation in the fields of logic, psychology and semiotics of translation, especially when we deal with informationally complicated texts, i. e. journalism or fiction. Here you can come across such a phenomenon as epistemic or aesthetic unreliability against a background of linguistic confidence.
13. V. B. Kasevich. Semantics and Phonetics: Signs, Figurae, Quarks
This paper is centered around important structural and functional similarities between semantics and phonetics. According to Hjelmslev, both semantics and phonetics operate with unidimensional (unilateral) figurae — such as semantic (thematic) roles in semantics and phonemes in phonetics. This makes semantics and phonetics different from all the other linguistic levels which typically operate with signs — bilateral units, such as morphemes or words. Both in semantics and phonetics one can observe very special constituents which are never found in isolation. In modern physics, similar particles are called quarks. Semantic class labels for groups of primitives are good candidates for quark-like units in semantics (cf. Quantifiers or Determiners in Anna Wierzbicka's lists of primitives). In phonetics, morae resemble quarks, since morae can be found only within syllables

they belong to. Both in semantics and phonetics we find primitives. In semantics, primitives are atomic and unanalysable entities, while all the meanings, lexical or grammatical, can be reducible to such semantic atoms. In phonetics, primitives are those language-independent vocoids and contoids that can be found in infants' babbling. It is hypothesised that language acquisition is largely dependent on the "meeting" of the two sets of primitives: sense primitives and sound primitives. A number of other non-trivial features shared by semantics and phonetics are discussed in the paper.

14. I. V. Lukjanets. Jean-Jacques Rousseau and the Death Penalty

The problem of death penalty is subject to hot arguments in philosophy, politics and literature. In the European literature, the interest to death penalty has got a new feature by the beginning of the 19th century: the state of mind of the condemned became the center of attention. The idea of Jean Jacques Rousseau was a new way of expanding artistic consciousness that turns the imaginary into real. It played a significant role in changing the description of death penalty. In The Social Contract Rousseau approves of death penalty for the enemy of the state. However, in his autobiographical books, which represent a literary variant of 'judicial proceedings', Rousseau gives his own experience, the work of mourning that plays the role of the last argument in rejection of violence.

15. S. T. Nefedov. Diachronic Interaction of Grammatical and Lexical Markers in German

The report deals with the expression of the predicate by means of verbal mood forms in evidential excerpts of the texts of the Old High German period. The conditionality of the choice of the conjunctive / indicative form is examined as depending on the semantics of the introducing verb of speech and context.

16. K. S. Overina. Early Chekhov's Prose: on the Question of Mass Texts' Narrative Constructions

The paper discusses the narrative features of Anton Chekhov's early prose. Mass literature texts represent a special type of a plot ('*syuzhet*'), which is a game dialog between a narrator and a reader. From this point of view, we can see (and reconstruct) the evolution of Chekhov's narrative system without excluding those texts which do not contain an actual story. This allows to find new aspects of connection between the early and late Chekhov's work.

17. D. V. Panchenko Dmitri. Troy and the Labyrinth

There is a strong association between the labyrinth and the so-called Troy towns of Northern Europe. Together with some other facts, it made Ernst Krause suggest that Troy and the labyrinth initially belonged to one common myth. The idea was voiced by Krause in the late 19th century, but his work was largely ignored. It can be shown, however, that his view was essentially correct. Among other things, an early association between Troy and the labyrinth can be confirmed by the connection established in Al-Biruni's India between the story of Sita (which can be said to be a version of the story of Helen of Troy) and the labyrinth.

18. E. R. Ponomarev. Grigoriy Gukovsky and Ideological Literary Criticism in USSR

The article examines the role of Grigoriy A. Gukovsky in the history of Russian literary criticism. He was one of the most important theorists of the 20th century and influenced the Soviet critical mainstream of the 1940–1980s. The author focuses on philological/ideological interaction in Gukovsky's works and on flexibility of his 'stadia' theory. The main ideas and the main terms of his critical theory fitted perfectly to the Stalin era, but their dynamism and flexibility stimulated successful posterior modification.

19. S. V. Ryabushkina. Declension of Russian Numerals: Standard and Usage

The article examines some active processes in the sphere of Russian numerals. The author links speech variations in numerals to the numerals' structure and morphological peculiarities of their components. In particular, the article points out different manifestations of the 'hundreds' as a component in complex numerals.

20. A. V. Sizikov. Functional Equivalence Theory by E. Nida and J. De Waard and its Influence on Russian and English Translations of the Bible

Modern Russian translations, regardless of their national rhetorical, literary and liturgical traditions, have been influenced by E. Nida and J. De Waard's functional equivalence theory and by some English translations based on this doctrine. As a result, some of these translations have not been widely accepted and even have been rejected by a great number of Russian readers. The article reflects on some linguistic and cultural reasons for this unacceptance. It argues that the use of word-oriented translation method could hardly be accepted for any language with developed literary tradition and well-read target group. The elements of the antique culture of the Bible replaced by comprehensive easy-to-understand concepts not only constitute a literary problem, but may also lead to adopting ideas alien to the biblical period as genuine ones, thus diminishing the role of the Holy Scripture as one of the core elements of our civilization.

21. E. S. Stepashkina. Phonosemantics of Occasional Word-Forms in Solzhenitsyn's Essays

The article examines the problem of phonosemantics in a prose text. The occasional word-forms gathered from a number of A. Solzhenitsyn's non-literary works are analysed. The phonosemantic approach to the material allows to look further into the word-formation and the semantics of the author's neologisms, and also to draw important conclusions on at least some features of his 'world-modelling' in a journalistic context.

22. T. S. Taimanova. Joan of Arc as "Locus Memoriae" of the Russian Poetry

Joan of Arc is a unique image in Western European history that became an archetype in Slavic mentality, entering the Russian literary tradition, where it has emerged quite frequently over the last two centuries. The article analyses this image as reflected in the Silver Age poetry, some samples of Soviet poetry, Bard songs and Internet-published poetry.

Speaking in Jung's terms, a collective vision of Joan has helped Russian poets to activate some paradigms of this archetype in the readers' minds, so Joan's story

continues to develop. Russian poets do not consider Joan of Arc a specifically French cultural phenomenon: they appropriate and inscribe it into their own national historical context. Thus, the French 'site of memory' — Joan of Arc — has also become Russian.

23. E. S. Tikhonova, F. M. Mitliansky. Temporal Adverbials in the "Livonian Rhymed Chronicle"

The paper considers temporal adverbials in the Livonian Rhymed Chronicle and in the Middle High German epics *Nibelungenlied* and *Parzival*. Different groups of semantic relations expressed by temporal adverbials are also taken into consideration. The texts involved show both similarities and discrepancies in usage and in the set of temporal adverbials in certain groups of semantic relations. The temporal organisation of the Chronicle proves that it was written as an imitation of medieval epics.

24. K. A. Filippov. Notes on Aesthetics of the German Historical and Grammatical Discourse of the 18th Century

The German historical and grammatical discourse of the 18th century is characterised by two trends. These include the general trend of the European science and culture (the domination of reason in natural and social studies) as well as the diversity of aesthetic viewpoints between different German scholars (the leading role of personal touch while describing natural phenomena). The approaches of Leibnitz, Wolff, Gottsched, and Adelung perfectly fit the definition of the German Enlightenment as 'the Age of Reason' (*Jahrhundert der Vernunft*) and as 'the Century of Taste' (*Jahrhundert des Geschmacks*).

25. E. A. Philonov. N. V. Gogol's Narrative System: History and Prospects of Study

The paper represents an attempt to use the analysis of Gogol's narration studies tradition as a clue for finding out the evolution of academic description of narration principles: the requirements of this description at certain evolution stages of one or another literary theory, the categories which turned out to be actualised, and so on. Besides, the article reveals the gaps existing in scholars' vision of Gogol's narrative system today and suggests the ways of further study on this issue.

26. S. L. Fokin. "Dogs" by Charles Baudelaire: Preliminary Remarks

The article deals with the form and meaning of *Dogs*, the poem in prose which is part of the last book of Charles Baudelaire's *Spleen of Paris*. The writer skillfully creates a new poetic form. He experiments with the elements of literary tradition and applies them, on the one hand, in a completely new understanding of social and political reality of the French mid-century, and on the other hand, in an absolutely original literary psychological type of a person.

27. O. A. Cherepanova. Ismail Sreznevsky and the Slavic Renaissance of the 18th—19th Centuries: Sreznevsky's Travel Letters from Slavic Countries (1839—1842)

The article analyses how the Renaissance of the middle 19th century in the Western and Southern Slavic cultures is described in Ismail Sreznevsky's travel letters sent from these countries. The letters show that the idea of unity of the Slavic

peoples was spreading among progressive intellectuals, who realised the need to retain national cultures and to develop literary languages in the Slavic countries. The article examines the differences in the opinions on the historical development and destiny of Slavdom shared by the representatives of various Slavic peoples. The article reveals both cultural and historical significance of the multiple descriptions of scientific and personal contacts of Sreznevsky with outstanding personalities of the Slavic Renaissance: Šafařík, Kopitar, Hanka, Karadžić, etc.

28. Z. K. Shanova. Bulgarian in Sreznevsky's Archives

Archival documents, letters and other materials stored in the Archives of the Russian Academy of Sciences illustrate a keen interest of I. I. Sreznevsky to the Bulgarian language. The archival documents also include papers that Sreznevsky was preparing for publication — a lot of proverbs, sayings, songs, lists of words as well as remarks and comments. The archive contains students' works with Sreznevsky's comments. It also contains letters and other materials.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
Г. Н. Акимова ЕЩЕ РАЗ ОБ АБЗАЦАХ.....	5
К. В. Бабаев ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ТИПОЛОГИИ СУППЛЕТИВИЗМА.....	10
О. В. Васильева О НАРЕЧИЯХ В СЛОВАРЕ ОБИХОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ. (СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ).....	17
С. В. Власов ОТБОР СЛОВ И ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РАЗЛИЧНЫХ ИЗДАНИЯХ СЛОВАРЯ ПЬЕРА РИШЛЕ (1680–1769) И В ПЕРВЫХ ИЗДАНИЯХ СЛОВАРЯ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ (1694–1798).....	23
А. Г. Гродецкая ГЕРОИНЯ В КОНЦЕ РОМАНА: РУССО, ГОНЧАРОВ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.....	30
В. Е. Добровольская РОЗЫ И КОНФЕТЫ ИЛИ КОЛЬЕ И МЕХА: ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАРКАМИ (ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ТРАДИЦИИ).....	40
Б. С. Жаров УНИКАЛЬНЫЙ ОБЩЕСКАНДИНАВСКИЙ СЛОВАРНЫЙ ПРОЕКТ ISLEX – ШЕСТИЯЗЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ ИСЛАНДСКОГО ЯЗЫКА . 48	
Н. Г. Зайцева ВЕПССКАЯ ДУХОВНОСТЬ В ФОКУСЕ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКИ(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕПССКИХ ПРИЧИТАНИЙ)....	54
В. П. Захаров, И. В. Азарова БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРПУСОВ ТЕКСТОВ.....	62
Е. В. Иванова КОНЦЕПТ – ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА.....	71
О. А. Казакевич МНОГОЯЗЫЧИЕ ТАЙМЫРА И ЯМАЛА: ФРАГМЕНТЫ БОЛЬШОЙ МОЗАИКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ НИВЦ МГУ 2011 Г.).....	75

СОДЕРЖАНИЕ	237
Т. А. Казакова ИНСТРУМЕНТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРЕВОДА.....	91
В. Б. Касевич ФОНЕТИКА И СЕМАНТИКА: ЗНАКИ, ФИГУРЫ, КВАРКИ.....	96
Лукьянец И. В. ЖАН-ЖАК РУССО И ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ.....	103
В. М. Мокиенко БИБЛЕИЗМЫ КАК ИСТОЧНИК ЕВРОПЕИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПАРЕМИОЛОГИИ.....	111
С. Т. Нефёдов ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ДИАХРОНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.....	118
К. С. Оверина РАННИЙ ЧЕХОВ: К ВОПРОСУ О СЮЖЕТНОСТИ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	124
Д. В. Панченко ТРОЯ И ЛАБИРИНТ.....	132
Е. Р. Пономарев Г. А. ГУКОВСКИЙ И СОВЕТСКОЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.....	140
С. В. Рябушкина СКЛОНЕНИЕ РУССКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ: НОРМА И УЗУС.....	148
А. В. Сизиков ТЕОРИЯ Ю. НАЙДЫ И Я. ДЕ ВААРДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ.....	155
Е. С. Степашкина ФОНОСЕМАНТИКА ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА.....	163
Т. С. Тайманова ЖАННА Д'АРК КАК «МЕСТО ПАМЯТИ» РУССКОЙ ПОЭЗИИ.....	170
Е. С. Тихонова, Ф. М. Митлянский ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ В «СТАРШЕЙ ЛИВОНСКОЙ РИФМОВАННОЙ ХРОНИКЕ».....	180
К. А. Филиппов ЗАМЕТКИ ОБ ЭСТЕТИКЕ НЕМЕЦКОГО ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVIII В.....	185
Е. А. Филонов ПОВЕСТВОВАНИЕ Н. В. ГОГОЛЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ.....	197

С. Л. Фокин «СОБАКИ» ШАРЛЯ БОДЛЕРА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)	205
Черепанова О. А. И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ И СЛАВЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ XVIII–XIX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ «ПУТЕВЫХ ПИСЕМ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО ИЗ СЛАВЯНСКИХ СТРАН 1839–1842 ГГ.»).....	212
З. К. Шанова БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК В АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО	221
SUMMARY	229

Автор рисунка и графического оформления обложки —
С. В. Голубков